

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Костромской государственный университет

Ю. В. Лебедев, А. Н. Романова

ЛИТЕРАТУРА КОСТРОМСКОГО КРАЯ

Вторая половина XIX века

Учебное пособие

Кострома
КГУ
2018

УДК 82(470.317)
ББК 83.3(2Рос-4Кос)5я73-1
ЛЗЗ

Рекомендовано редакционно-издательским советом
Костромского государственного университета

Рецензенты:

И. С. Юхнова, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры русской литературы ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского»;

кафедра иностранных и русского языков Военной академии
РХБ защиты им. С. К. Тимошенко (зав. кафедрой кандидат
педагогических наук, доцент Е. В. Лигновская)

Лебедев, Ю. В.

ЛЗЗ Литература Костромского края: Вторая половина XIX века :
учеб. пособие / Ю. В. Лебедев, А. Н. Романова. – Кострома :
Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – 301 с.

ISBN 978-5-8285-0942-3

Учебное пособие знакомит с биографией и творчеством писате-
лей и критиков, связанных с костромской землей.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по на-
правлениям «Филология» (профиль «Отечественная филология»),
«История», «Педагогическое образование» (профили «Русский язык»,
«Литература», «История»), при изучении дисциплин «Литература
Костромского края», «Литература Костромского края XIX века».
Может использоваться в качестве дополнительной литературы
при освоении дисциплин «История отечественной (русской) ли-
тературы», «Пушкин и поэты его эпохи», а также для проведения
занятий или организации индивидуальной работы по литературно-
му краеведению.

УДК 82(470.317)

ББК 83.3(2Рос-4Кос)5я73-1

© Ю. В. Лебедев, предисловие, тексты глав
о писателях и критиках, заключение, 2018

© А. Н. Романова, глава о Н. А. Чаеве,
методическое сопровождение, 2018

© Б. М. Козлов, глава о М. А. Протопопове, 2018

© Костромской государственной университет, 2018

ISBN 978-5-8285-0942-3

Предисловие

«...В творениях подлинных художников – и самых больших и более скромных по своему значению – мы безошибочно распознаём приметы их малой родины, – писал А. Т. Твардовский в статье «О родине большой и малой». – Они принесли с собой в литературу свои донские, орловско-курские, тульские, приднепровские, волжские и за-волжские, уральские и сибирские родные места. Они утвердили в нашем читательском представлении особый облик этих мест и краёв, цвета и запахи их лесов и полей, их вёсны и зимы, жары и метели, отголоски их исторических судеб, отзвуки их песен, своеобразную прелесть иного местного словечка, звучащего отнюдь не в разладе с законами великого языка»¹.

Колыбелью многих писательских дарований, вошедших в историю русской литературы XIX – начала XX века, явился Костромской край. П. А. Катенин и А. Ф. Писемский, Ю. В. Жадовская и С. В. Максимов были связаны с ним не только своим рождением, не только детскими и юношескими годами, но и последующей жизненной и творческой судьбой. Москвич А. Н. Островский и ярославец Н. А. Некрасов обрели в костромских краях свою вторую родину в период творческой зрелости. Чем притягивала их к себе костромская земля, какие стороны местной, провинциальной жизни питали их творческую фантазию, формировали их индивидуальный писательский облик?

Л. Н. Толстой сформулировал однажды тайный закон жизни и литературы: «Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее». Чем глубже погружались русские писатели в местный материал, тем шире раздвигался перед ними занавес провинциальной сцены: сквозь местное, частное, индивидуальное более зорко и красочно просматривалось общее. Они писали о костромских, ярославских,

¹ Твардовский А. О литературе. – М., 1973. – С. 45–46.

галичских, чухломских, буйских приметах так, что в каждом месте у них проступала вся Россия. Через малое точнее понималось большое, единство оживало не в стёртых, усреднённых образах, а в живом многообразии своих индивидуальных проявлений. Известно, что именно любовь и привязанность к малой родине питает любовь к Родине большой. По точным словам академика Д. С. Лихачева, «без корней в родной местности человек уподобляется степной травке перекасти-поле». А наш замечательный писатель Валентин Распутин говорил: «Без Родины человек – духовный оборвыш, любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону».

Так называемые второстепенные писатели не только дилетантски повторяли мотивы классиков, но нередко прокладывали новые пути в литературе. «Бедна литература, не блистающая именами гениальными; но не богата и литература, в которой всё – или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы», – писал В. Г. Белинский¹. Русская литература XIX века богата своими вершинами: рядом с Л. Н. Толстым, например, по известному выражению В. И. Ленина, во всей Европе поставить некого. Но, покорённые духовной мощью Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского, не забываем ли мы подчас о многочисленной плеяде писателей второго или третьего ряда, писателей по-своему интересных и талантливых? Их свет действительно меркнет в лучах славы наших классиков. Но без «второстепенных» у нас не было бы и гениев: гениальность не вырастает на пустом месте, для её рождения, роста и становления необходима богатая и плодородная культурная почва.

Мы часто и с нарастающей тревогой говорим в последнее время о проблемах экологического равновесия. Понятие это из сферы биологии всё более решительно перемещается

¹ Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. – Т. 8. – М., 1955. – С. 379.

в область культурологии и даже истории литературы. Национальная литература – живой организм, внутри которого действует сложная и ещё не познанная нами система взаимосвязей, взаимовлияний, взаимозависимостей. Не будем же уподобляться героям известной басни И. А. Крылова «Листы и корни». Любуясь ветвистой кроной нашей отечественной классики, не забудем и о корнях, которые её питают, о том наследии, которое мы должны беречь и возрождать. «У нас есть огромная литература „второстепенных“, которую мы совсем не знаем и которая может дать чувству и мысли значительно больше того, что дают сейчас», – говорил М. Горький, который постоянно напоминал нам ещё и о другом: «...поле наблюдений старых, великих мастеров слова было страшно ограничено, и жизнь огромной страны, богатейшей разнообразным человеческим материалом, не отразилась в книгах классиков с той полнотой, с которой могла бы отразиться»¹. Литература «второстепенных» более или менее успешно восполняла оставленный классиками пробел.

В эпоху торжества классического романа, в период исключительного расцвета литературы как особой формы общественного сознания, нужны были люди, которые собирали на глазах у общества пёструю мозаику народной жизни, ничего в ней не усекая. Верность жизненному факту стояла на первом плане в творческой работе «второстепенных» писателей и по-своему отвечала насущным потребностям времени.

Демократический дух 1860-х годов проявился в этом безграничном доверии к жизни, которая казалась богаче любых, даже самых дерзновенных художественных вымыслов. В жизни бьётся неистощимый источник прекрасного, к которому должно обращаться искусство в поисках живой воды художественного творчества. Объективность красоты и недостаточность искусства («суррогат», по определению Чернышевского) – только на основании двух этих истин, считал Салтыков-Щедрин, возможно плодотворное

¹ Горький М. Беседы с молодыми. – М., 1980. – С. 208.

развитие современной литературы. Интересно, что даже поэты «чистого искусства» по-своему чувствовали этот поворот. А. А. Фет писал в 1868 году:

Кому венец: богине ль красоты
Иль в зеркале ее изображенью?
Поэт смущен, когда дивишься ты
Богатому его воображенью.

Не я, мой друг, а божий мир богат,
В пылинке он лелеет жизнь и множит,
И что один твой выражает взгляд,
Того поэт пересказать не может.

По тем же причинам Салтыков-Щедрин с особым вниманием относился к беллетристам-первопроходцам, исследователям новых, ещё не освоенных литературою явлений действительности. Писатели этого склада, по Щедрину, не претендовали на создание целостных художественных полотен, они ограничивались «отрывками, очерками и сценками». Но только так, по-видимому, и можно было подготовить почву для новых литературных форм, более широко и всесторонне обнимающих живое многообразие окружающего мира.

Алексей Феофилактович
ПИСЕМСКИЙ
(1821–1881)

В январе 1855 года в редакции некрасовского журнала «Современник» появился молодой писатель-костромич, который сразу же привлек к себе внимание петербургских литераторов. «Трудно себе и представить более полный, цельный тип чрезвычайно умного и вместе оригинального провинциала, чем тот, который явился в Петербург в образе молодого Писемского, с его крепкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими, наблюдательными глазами и ленивой походкой, – писал о первом впечатлении Павел Васильевич Анненков. – На всём существе его лежала печать какой-то усталости, приобретаемой в провинции... С первого взгляда на него рождалось убеждение, что он ни на волос не изменил обычной своей физиономии, не прикрасил себя никакой более или менее интересной и хорошо продуманной чертой, не наряжился морально, как это обыкновенно делают люди, впервые являющиеся перед незнакомыми лицами. Ясно делалось, что он вышел на улицы Петербурга точно таким, каким сел в экипаж, отправляясь из своего родного гнезда. Он сохранил всего себя, начиная с своего костромского акцента („Кабинет Панава поражают меня своим великолепием“, – говорил он после свидания с щеголеватым редактором „Современника“) и кончая насмешливыми выходками по поводу столичной утонченности жизни, языка и обращения. Всё было в нём откровенно и просто. Он производил впечатление какой-то диковинки посреди Петербурга, но диковинки не простой, мимо которой проходят, бросив на неё взгляд, а такой, которая останавливает и заставляет много и долго думать о себе. Нельзя было подметить

ничего вычитанного, затверженного на память, захваченного со стороны в его речах и мнениях. Все суждения принадлежали ему, природе его практического ума и не обнаруживали никакого родства с ученьями и верованиями, наиболее распространёнными между тогдашними образованными людьми... Вообще, порывшись немного в наиболее резких мнениях и идеях Писемского, которые мы обзывали сплошь парадоксами, всегда отыскивались зёрна и крохи какой-то давней, полуисчезнувшей культуры, сбережённой ещё кой-где в отрывках простым нашим народом. Самый юмор его, насмешливый тон речи, способность отыскивать быстро яркий эпитет для обозначения существенной нравственной черты в характере человека, который за ним и остаётся навсегда, и, наконец, слово, часто окрашенное циническим оттенком, сближало его с деревней и умственными привычками народа, в ней живущего... При виде Писемского... невольно возникала мысль у каждого, что перед ним стоит исторический великорусский мужик, прошедший через университет, усвоивший себе общечеловеческую цивилизацию и сохранивший многое, что отличало его до этого посвящения в европейскую науку. Можно легко представить себе, какой интерес представлял подобный тип в Петербурге».

П. В. Анненков, закоренелый западник, человек утончённой, но книжной культуры, столкнувшись с Писемским, неслучайно останавливался, много и долго думая... о себе! Ему ярче, чем кому-либо другому, бросались в глаза оригинальные черты Писемского – человека и художника, черты, которых сам мемуарист был лишён. Ту же самую «почвенную» цельность Писемского остро чувствовал и другой человек из западнического лагеря, Василий Петрович Боткин. В письме к Некрасову от 27 ноября 1855 года он писал: «Мир Ермила (ироническая кличка, данная Писемскому. – Ю. Л.) – курятник в сравнении с миром Тургенева; но Ермилу искренно верит в свой курятник и от этого дома в нём; а Тургенев живёт словно на квартире».

На первых порах Писемский оказался в редакции «Современника» человеком желанным и долгожданным. Ведь

именно в это время Некрасов закончил работу над поэмой «Саша». С горькой иронией говорил здесь Некрасов о людях, не лишенных таланта, но обладающих книжным знанием жизни:

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет:
Верить, не верить – ему всё равно,
Лишь бы доказано было умно!

Писемский привлек Некрасова как цельный тип вышедшего из глубин народной жизни провинциала.

1

Алексей Феофилактович Писемский родился 11 (23) марта 1821 года в селе Раменье Чухломского уезда Костромской губернии и по отцовской линии принадлежал к старинному роду бояр Писемских, издревле проживавших в приходе села Покровское на реке Письме в Буйском уезде Костромской губернии. Один из его предков Макарий Писемский, ученик преподобного Сергия Радонежского, удостоился быть причисленным к лику святых, и мощи его покоились не в Макарьевском на реке Унже монастыре, как ошибочно утверждал Писемский в своей автобиографии, а в храме Преображения Господня села Покровского на Письме. Другой пращур писателя, «дьяк Писемский», «был посылаем в качестве посла в Лондон Иоанном Грозным». Но при этом, в той же автобиографии, Писемский иронически замечал: «Вот и вся историческая слава моего рода», добавляя, что ближайшая его ветвь была совершенно захудалая. Дед писателя был безграмотным, ходил в лаптях и сам пахал землю. Отец тоже немало пережил на своём веку. «Пятнадцати лет определился он солдатом в войска, завоёвывающие Крым, делал персидскую кампанию». Лишь через 25 лет вышел в отставку и вернулся на родину в село Данилово Буйского уезда Костромской губернии. Именно от деда и отца, равно как и от других предков своих по отцовской линии, унаследовал А. Ф. Писемский твёрдость характера, коренной

народный ум, привычку воспринимать жизнь без всяких романтических прикрас и довольно крутой и своеобразный нрав.

Родня Писемского по матери была более культурной и образованной. Авдотья Алексеевна Шипова, «нервная, мечтательная, тонко-умная женщина», приходилась двоюродной сестрой другу Пушкина и Вяземского, директору Костромской гимназии и уездных училищ Юрию Никитичу Бартеневу – прототипу главного героя позднего романа Писемского «Масоны». Большое влияние на мальчика оказал и другой его двоюродный дядя по матери – Всеволод Никитич Бартевев, бывший флотский офицер, человек энциклопедических познаний. Духовный облик его нашёл отражение в романе Писемского «Люди сороковых годов» в образе Эспера Ивановича.

В семье Писемский рос любимым ребёнком, «каким-то божком для отца и матери да сверх того ещё для двух тёток», старых девиц Шиповых. «Так что между соседним дворянством говорили, – вспоминал Писемский, – что у меня не одна мать, а три». Усадьба девиц Шиповых располагалась в деревне Печуры Галичского уезда Костромской губернии. В чухломском Раменье да в галичских Печурах и протекали детские годы писателя. По случаю безвыездной деревенской жизни Алексей получил довольно беспорядочное домашнее образование: наставниками его были приходский дьякон и домашний учитель – «старичок, переезжавший несколько десятков лет от одного помещика к другому и переучивший, по крайней мере, поколения четыре» бедных дворян в округе.

Осенью 1834 года Писемского привезли в Кострому и определили во второй класс гимназии, где он и проучился шесть лет¹. Учился Писемский «понятливо и прилежно, но гораздо большую славу стяжал себе на актёрском поприще». В Костроме с помощью друзей-гимназистов он организовал любительский театр и с юношеским энтузиазмом

¹ О Костромской гимназии и её учителях см. в приложении очерк «Из истории Костромской гимназии».

отдался актёрскому искусству. Тогда же у Писемского пробудился и дар сочинительства: он написал романтические повести «Черкешенка» и «Чугунное кольцо», произведения слабые и, по-видимому, уничтоженные им впоследствии.

Большое влияние на гимназиста оказал учитель математики Никита Павлович Самойлович, которого в романе «Люди сороковых годов» Писемский вывел под именем Самсона Силыча Дрозденко. Это был провинциальный вольнодумец-демократ. Писемский часто бывал у него дома и ходил с ним на охоту в окрестные костромские леса, подступавшие в те времена к самому городу, слушал рассказы старшего наставника и непримиримого обличителя «преподлейшего костромского начальства» о злоупотреблениях чиновников, духовенства, о взяточничестве самого губернатора. Под влиянием учителя гимназист написал сочинение «Случайный человек», в котором обличал карьеризм и подхалимство инспектора гимназии, а однажды, когда проезжали мимо губернатор с жандармом, подговорил друзей открыть классное окно и на всю улицу крикнуть: «Воры! Воры!» Только благодаря заступничеству Н. П. Самойловича эти дерзкие шалости не закончились для Писемского исключением.

По окончании гимназии в 1840 году Писемский поступил на математический факультет Московского университета. Филологический был недоступен для будущего писателя по незнанию иностранных языков: сказывалось беспорядочное деревенское образование. Да и в Костромской гимназии древнегреческий язык, например, не изучался за неимением преподавателя. И всё же Писемский не жалел впоследствии о своём «выборе»: «Будучи фантазёром, – говорил он, – я, благодарю Бога, избрал математический факультет, который сразу же отрезвил меня и стал приучать говорить то, что сам ясно понимаешь».

В студенческие годы во время летних каникул Писемский наезжает в родные места. Неподалёку от Раменья в усадьбе Колотилово живёт известный русский поэт, современник Пушкина, Павел Александрович Катенин. Юный

Писемский часто навещает маститого литератора. Здесь он получает первые уроки настоящего актёрского мастерства и искусства декламации. Подчас между собеседниками завязываются споры, чаще всего по поводу Гоголя. Катенин, будучи на закате дней своих старовером в литературе, Гоголя не любил. Писемский же относился к нему с благоговением. Колоритный образ Катенина Писемский создаёт в романе «Люди сороковых годов» под именем Александра Ивановича Коптина.

В университете Писемский увлекается не математикой, а литературой и театром. В круг его чтения входят Пушкин и Гоголь, Белинский и Жорж Санд. Романами последней он зачитывается и с энтузиазмом принимает идеи женской эмансипации. Одновременно Писемский выступает в роли своеобразного пропагандиста своих кумиров. По городу ходит слух, что в Долгоруковском переулке, в меблированных комнатах «живёт какой-то студент Московского университета, который читает своим приятелям Гоголя и читает так, как никто ещё до того времени не читывал». Много лет спустя, когда Писемский приедет в Петербург, за ним моментально упрочится слава первоклассного чтеца. Она докатится даже до императорского дворца, и сам великий князь Константин Николаевич пожелает услышать автора «Очерков из крестьянского быта». По воспоминаниям современников, это было не чтение, а высокая сценическая игра; каждое лицо выходило как живое, со своим тоном, своим жестом, со своей индивидуальностью.

2

В 1844 году, по окончании университета, Писемский возвращается на родину и в 1845 году определяется чиновником в Костромскую палату государственных имуществ, но в октябре 1845 года переводится в Московскую палату. В Москве он тесно сближается с редакцией журнала «Москвитянин», завязывает дружбу с А. Н. Островским. Здесь завершается работа над первым романом «Боярщина», который высоко оценивают московские литераторы

и редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский. Ободрённый успехом, Писемский решает целиком отдаться литературному творчеству, уходит со службы и переезжает на жительство в г. Галич. Здесь в 1848 году Писемский женится на дочери основателя журнала «Отечественные записки», костромича Павла Петровича Свинына. Екатерине Павловне суждено сыграть добрую роль в литературной судьбе Писемского. Женщина терпеливая, чуткая, самоотверженная, она переписала за свою жизнь более двух третей всех его сочинений. А в трудные годы жизни, когда писательская слава изменила ему, на долю этой женщины пала нелёгкая миссия спасения мужа от мучительных переживаний и сомнений в своём литературном призвании.

Однако намерения Краевского напечатать в «Отечественных записках» роман «Боярщина» столкнулись с решительным цензурным запретом. Только небольшой рассказ Писемского «Нина» был опубликован в этом журнале. В 1848 году Писемский вынужден вновь поступить на государственную службу. Он определяется чиновником особых поручений при костромском губернаторе в качестве секретаря совещательного комитета по делам о раскольниках, а после перерыва в 1849 году – ассессором Костромского губернского правления. По роду своей службы он – странник, разъезжающий по градам и весям Костромской губернии со всякого рода поручениями и с бесконечными расследованиями. Тут проходит писатель суровую школу, исподволь накапливая материал для будущих произведений. Его окружают провинциальные скептики-печорины; его огорчают интриги, а точнее сплетни, как паутина липнущие ко всякому незаурядному человеку, живущему в провинции; его преследуют мелкие, но повседневные бесстыдства и беззакония; перед его глазами мир, где дух лишь теплится, а эгоистический инстинкт торжествует. Всё это удержит в цепкой писательской памяти будущий летописец провинциальной, губернской и уездной Руси.

Писемский участвует в культурной жизни Костромы, организует любительские спектакли вместе со своим земляком

и сослуживцем А. А. Потехиным. Об их игре в водевиле «Выдавали дочку замуж», сыгранном 14 января 1853 года, рецензент «Костромских губернских ведомостей» отзывался так: «Роль Кукушкина играл А. Ф. Писемский в особенности превосходно, он совершенно понимал свою роль и выдержал её до конца... А. А. Потехин был очень хорош в роли Антона Васильевича Буланова, отверженного любовника. Мы искренне смеялись комической встрече его с Иваном Яковлевичем Кукушкиным. Антон Васильевич был потешно оригинален как в своих манерах, разговоре, страстной любви и упрёках, которыми он осыпал Ивана Яковлевича, так и в своём костюме».

В драматической сцене «Тяжба» Н. В. Гоголя, представленной в тот же вечер, пальма первенства принадлежала Потехину: «А. А. Потехин в роли секретаря Пролётова был бесподобен, и едва ли самый искусный актёр мог бы лучше выполнить типическое лицо гоголевского чиновника». А вот Писемский в роли Бурдюкова хотя и был «очень хорош», но зрители «заметили в нём некоторую преувеличенность странности степного помещика».

Разыгранная в марте того же года «Женитьба» Н. В. Гоголя, участником которой являлся весь цвет костромской интеллигенции (А. Ф. Писемский, А. А. Потехин, граф А. Д. Толстой, М. И. Готовцева, Е. М. Писемская, Н. П. Коллюпанов и другие), также вызвала восхищенные отзывы: «...нельзя и опытному артисту вернее и лучше олицетворить этого нерешительного флегматика Подколёсина, каким представил его Писемский. Хлопотун Кочкарев (граф Толстой) был преуморителен, и с таким искусством смешил публику он и моряк Жевакин (А. А. Потехин) в первом действии, что вся публика разразилась единодушным гомерическим хохотом».

Литературную известность Писемскому приносит в эти годы повесть «Тюфяк» (1850). Сюжеты этой повести, а также романов «Боярщина» (1858), «Богатый жених» (1851), повестей «М-г Батманов» (1852), рассказов «Комик» (1851), «Фанфарон» (1854), «Старая барыня» (1857) он берёт из жизни

среднего и мелкопоместного костромского дворянства. Его подход решительно отличается от Тургенева, Л. Толстого и Гончарова. Вместо поэтизации жизни дворянской усадьбы он является разрушителем поэзии «дворянских гнёзд»: ни настоящей любви, ни тёплого семейного родства, ни возвышенной дружбы – низменная проза жизни, будничной и неприглядной. Писемский намеренно снижает до уровня житейской пошлости традиционных в литературе «героев времени», «лишних людей» (Бахтиаров в «Тюфяке» – опошлившийся Печорин, Эльчанинов в «Боярщине» – сниженный рудинский тип). Неслучайно Горький назвал Писемского «умным скептиком, всю жизнь издевавшимся над дворянином».

Годы службы Писемского в Костроме отмечены событием, которое останется в памяти многих поколений костромичей. Губернатором Костромы в 1852 году назначается В. Н. Муравьёв – представитель той молодой администрации, которая в конце «мрачного семилетия» начинала, по словам Писемского, «пробиваться сквозь толстую кору прежних подьяческих плутней». Именно ему костромичи обязаны знаменитой «Муравьёвкой» – одним из самых живописных уголков города. Этот склон крутой горы над Волгой был изрезан ямами и оврагами, куда сваливали мусор и где бродили коровы и рылись свиньи. Муравьёв заставил фабрикантов и купцов внести значительные пожертвования на общественные нужды и привёл в приличный вид местность близ губернаторского дворца.

Муравьёв прослужил в Костроме недолго, около года. Он представил в Петербург полную картину злоупотреблений со стороны местных властей, вымогательства и взяточничества. Но у крупных чиновников города нашлись влиятельные родственники и покровители в Петербурге. Губернатор был оклеветан и сослан в Петрозаводск.

Отзвук «муравьёвской» истории есть в самом значительном романе Писемского «Тысяча душ». По следам Муравьёва идёт в этом романе главный герой, губернатор Калинович. Как и Муравьёва, Калиновича ждёт неудача.

Всесильная бюрократия выталкивает неугодного ей человека. Вместе с тем, в образе Калиновича есть и автобиографические черты. Молодой чиновник, только что закончивший Московский университет, по-видимому, горячо поддерживал губернатора, который проводил «бесстрастную идею государства» и давал отпор «всем сословным и частным домогательствам». «Только одни университетские и перевозноят его, – ворчат в городе враги Калиновича, – а прочие служащие стоном от него стонут». Писемский принадлежал не к «прочим», а именно к «университетским».

Не исключено, что история с Муравьёвым заронила в душу писателя сомнения в возможности добиться чего-нибудь путём честной службы. Эти сомнения укрепляло непосредственное общение Писемского с народом. Он являлся теперь перед костромским мужиком как государственное лицо и на собственном опыте убеждался, как трудно уживаются друг с другом чиновничий долг и элементарная человечность. Ему пришлось скрепя сердце ломать молельни раскольников сначала в селе Урени, а потом в деревне Гаврилково. С болью расскажет об этих эпизодах своей биографии Писемский в отдельных рассказах и особенно в романе «Люди сороковых годов».

С уходом Муравьёва резко обрывается его служебная карьера. Ещё в декабре 1853 года дела Писемского шли исправно. Ему предлагали в Костроме редактирование неофициальной части «Губернских ведомостей». Тогда же его повысили в чине, произвели в титулярные советники. Но, вернувшись из кратковременной поездки в Петербург, Писемский понял, что его служебной деятельности в Костроме пришёл конец. Он уходит в отставку и едет в деревню.

Здесь, в чухломской глуши, «в захолустной деревушке, в тёмном и холодном флигелишке», созревают замыслы лучших произведений Писемского. А между тем интерес к его творчеству растёт. Имя его становится известным в литературном мире. Завязывается переписка с Панаевым и Некрасовым. «Современник» публикует в начале 1850-х годов его роман «Богатый жених», комедию «Раздел», рассказы

«Леший» и «Фанфарон». В них поднимается ещё не освоенный литературою жизненный пласт: бьёт в глаза русская мещанская жизнь. Писемского сравнивают с Гоголем. Но в то же время замечают, что даже смех у него иной. Он грубоват, и грубоват именно потому, что более демократичен. П. В. Анненков, сравнивая юмор Писемского с весёлостью римских комедий, замечал, тем не менее, что он напоминает «наши простонародные переделки разных площадных шуток».

За чиновником Писемским укрепляется слава литератора, и жизнь в стороне от большого света начинает тяготить его. Да и время наступает другое: приближается «либеральная весна». Приходит и для Писемского пора, когда, по выражению Тургенева, «счастливых тянет в даль». В конце 1854 года он появляется в Петербурге, начинает сотрудничать с редакцией «Современника», печатает лучшие свои произведения: «Очерки из крестьянского быта», роман «Тысяча душ» и драму «Горькая судьбина».

3

Трезвый скептицизм, недоверие к высоким словам, грубоватый и солоноватый юмор, точное и бесстрастное изображение жизни без желания поучать читателя – эти черты писательского таланта Писемского определяют его неповторимый облик в кругу русских писателей-классиков. Н. С. Лесков высоко оценивал Писемского как уникального знатока русской провинциальной жизни, но в то же время поражался односторонностью его писательского дара, сконцентрированного на изображении лишь тёмных её сторон. С нескрываемой иронией над мнительностью и скептицизмом Писемского, Лесков так писал о нём:

«При мне в сорок восьмой раз умирал один большой русский писатель. Он и теперь живёт, как жил после сорока семи своих прежних кончин, наблюдавшихся другими людьми и при другой обстановке.

При мне он лежал, одинок, во всю ширь необъятного дивана и приготовлялся диктовать мне своё завещание, но вместо того начал браниться.

Я могу без застенчивости рассказать, как это было и к каким повело последствиям.

Смерть писателю угрожала по вине театрально-литературного комитета, который в эту пору бестрепетною рукою убивал его пьесу. Ни в одной аптеке не могло быть никакого лекарства против мучительных болей, причинённых этим авторскому здоровью.

– Душа уязвлена и все кишки попутались в утробе, – говорил страдалец, глядя на потолок гостиничного номера, и потом, переводя их на меня, он неожиданно прикрикнул:

– Что же ты молчишь, будто чёрт знает чем рот набил. Гадость какая у вас, питерцев, на сердце: никогда вы человеку утешения не скажете; хоть сейчас на ваших глазах испускай дух.

Я был первый раз при кончине этого замечательного человека и, не поняв его предсмертной истомы, сказал ему:

– Чем мне вас утешить? Скажу разве одно, что всем будет чрезвычайно прискорбно, если театрально-литературный комитет своим суровым определением прекратит драгоценную жизнь вашу, но...

– Ты недурно начал, – перебил писатель, – продолжай, пожалуйста, говорить, а я, может быть, усну.

– Извольте, – отвечал я, – итак, уверены ли вы, что вы теперь умираете?

– Уверен ли? Говорю тебе, что помираю!

– Прекрасно, – отвечаю, – но обдумали ли вы хорошенько: стоит ли это огорчение того, чтобы вы кончились?

– Разумеется, стоит; это стоит тысячу рублей, – просто-наконец умирающий.

– Да, к сожалению, – отвечал я, – пьеса едва ли принесла бы вам более тысячи рублей и потому...

Но умирающий не дал мне окончить: он быстро приподнялся с дивана и вскричал:

– Это ещё что за гнусное рассуждение! Подари мне, пожалуйста, тысячу рублей и тогда рассуждай как знаешь.

– Да я, – говорю, – почему же обязан платить за чужой грех?

– А я за что должен терять?

– За то, что вы, зная наши театральные порядки, описали в своей пьесе всех титулованных лиц и всех их представили одно другого хуже и пошлее.

– Да-а; так вот каково ваше утешение. По-вашему небось всё надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости.

– Это у вас болезнь зрения.

– Может быть, – отвечал, совсем обозлясь, умирающий, – но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу, и за то суще мне Господь Бог и поможет теперь от тебя отворотиться к стене и заснуть со спокойной совестью, а завтра уехать, презирая всю мою родину и твои утешения.

И молитва страдальца была услышана: он „сущё“ прекрасно выпался и на другой день я проводил его на станцию; но зато самым мною овладело от его слов лютое беспокойство.

„Как, – думал я, – неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто всё доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, – одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трёх праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одною дрянью, которая живёт в моей и в твоей душе, мой читатель?“ Мне это было ужасно и несносно, и пошёл я искать праведных...»

Однако в преддверии великих реформ «наблюдательский реализм» Писемского оказался востребованным. Опубликованные в 1856 году «Очерки из крестьянского быта» («Питерщик», «Леший», «Батька», «Плотничья артель») принесли ему славу одного из лучших писателей России. Первый из них – «Питерщик» – создан на материале чухломских впечатлений, связанных с усадьбой Раменье, а заключительный – «Плотничья артель» – сохранил следы печурских наблюдений, где располагалась усадьба тётушек писателя. Само разделение профессий в очерках

жизненно, достоверно: чухломские маляры в «Питершике», галичские плотники в «Плотничьей артели».

В рассказе Петра, непокорного печурского крестьянина, упоминаются сёла и деревни нынешнего Островского района Костромской области, воспроизводятся язык и нравы крестьянства этой местности: «Бывало и наше времечко, бывало, можа так, что молодицы в Семёновском-лапотном на базаре из-за Петрушки шлыками дирались...» Это тот самый базар в Семёновском, который полвека спустя писал Б. М. Кустодиев в своей картине. «В Дьякове, голова, была у меня главная притона... день-то деньской, вестимо, на работе, так ночью, братец ты мой, по этой хрюминской пустыне и лупишь. Теперь, голова, днём идёшь, так боишься, чтобы на зверя не наскочить, а в те поры ни страху, ни устали!» Между Печурами и Дьяковым до недавнего времени действительно шумели леса – глухие и непроходимые. Отмечено Писемским и процветавшее в этом углу Костромского края народное колдовство. «Колдун, батюшка, у нас был в деревне Печурах... <...> ...Старик был мудрый, это что говорить! Что ведь народу к нему ездило всякого: и простого, и купечества, и господ – другой тоже с болезью, другой с порчей этой... И кто бы теперь к нему ни пришёл, сейчас ставь штоф вина, а то и разговаривать не станет: лом был такой пить, что на удивленье только!»

С редким художественным мастерством создаёт Писемский живые народные характеры, пользуясь искусством речевой индивидуализации, почти не прибегая к авторским описаниям, предпочитая форму сказа. В «Очерках из народного быта» обретают завершённую литературную форму богатые жизненные впечатления Писемского, его костромской опыт. Писатель встретил в Костромской губернии особого мужика – умного, хитрого, изворотливого, умеющего постоять за себя, знающего себе цену. Положение крестьян северных оброчных губерний отличалось от южных, барщинных, не только развитием отходничества. Оброчная система давала крестьянскому миру большую самостоятельность и независимость от воли помещика.

Как писал историк русского крестьянства И. И. Игнатович, помещики нечернозёмных губерний доверяли крестьянскому миру раскладку оброчной суммы и другие вопросы внутреннего самоуправления. Община «охраняла личность крестьянина от произвола помещика. Отдельная личность здесь могла скрыться за мир».

Одним из первых в литературе Писемский показал драматические последствия социального расслоения внутри крестьянской общины и крестьянской артели, создавая колоритный образ мироеда Пузича, вызвавшего возмущение и гнев независимого и строптивого приверженца правды, плотника Петра. А. М. Горький, высоко ценивший талант Писемского, вспоминая о своих жизненных университетах, писал: «Изо всех книжных мужиков мне наиболее понравился Пётр из „Плотничьей артели“: захотелось прочесть этот рассказ моим друзьям, и я принёс книгу на ярмарку». Прослушав «Плотничью артель», молодой рабочий Фома после долгого молчания сказал: «Правильно Пётр убил подрядчика-то».

Критика сразу же увидела в Писемском «гласного из народа», схожего с ним «как по уму и таланту, так и по нравственному содержанию». «Очерки из крестьянского быта» подкупали читателей не только искусным воспроизведением северно-русского народного языка. Вместе с Некрасовым писатель впервые ввёл в литературу характерный тип ярославско-костромского мужика, промысловика-отходника с независимым складом ума, с обострённым чувством собственного достоинства. От Некрасова и Писемского, собственно, и пошло знаменитое «начало перемены» в изображении народной жизни, о котором значительно позднее заговорил Чернышевский, опираясь на рассказы из народного быта Николая Успенского. Суровая правда «без всяких прикрас» в подходе к освещению народной темы у Писемского предвосхищала литературу о народе, созданную позднее разночинцами-шестидесяниками.

В 1856 году по заданию Морского министерства Писемский отправляется в литературно-этнографическую

экспедицию на Нижнюю Волгу, в Астрахань. Появляется цикл «Путевые очерки» («Астрахань», «Бирючья коса», «Баку», «Ток-Карагандинский полуостров и Тюленьи острова», «Татары», «Астраханские армяне», «Калмыки»). По возвращении из экспедиции писатель уходит в отставку со службы в Департаменте уделов и решает целиком посвятить себя литературному творчеству.

В начале 1860-х годов горячо обсуждался вопрос о возможности существования драмы на почве русского народного быта. В романе Н. С. Лескова «Некуда» один из героев утверждал, что у русского народа «...нет своей драмы, да и быть не может: у него есть уголовные дела, но уж никак не драма». – «А я вам докажу, – запальчиво возражал ему другой, – что она есть, и она у каждого народа своя, со своим складом. Возьмите „Горькую судьбину“ Писемского и „Грозу“ Островского».

Именно Писемский вслед за А. Н. Потехиным открыл «Горькой судьбиной» новую страницу в истории русского драматического искусства. Он показал, что сильные характеры, трагические страсти существуют не только в культурном слое общества, но и в крестьянском быту. И, как всегда, фактической основой пьесы Писемского оказалась костромская жизнь: дела, разбиравшиеся в Чухломском уездном суде. Как показал краевед-галичанин В. В. Касторский, это были два случая, которые произошли в усадьбе Селиваново Чухломского уезда.

«Горькая судьбина» захватывает эпохальный конфликт трагического накала – распад традиционных социальных связей в русской деревне и рождение в процессе этого распада сильного народного характера, грозовой, бунтующей народной души. В центре драмы – волевой и независимый характер крепостного мужика-отходника Анания Яковлева, который уже не хочет мириться с помещичьей властью. Возвращаясь в деревню с отхожего промысла, герой узнаёт об измене жены, полюбившей барина и прижившей от него ребёнка. Ананий находит в себе силы простить Лизавету и покрыть её грех. Но в душу его закрадываются сомнения.

Он чувствует, что Лизавета полюбила барина не как господина, не по принуждению, а как человека. И это обстоятельство вдвойне оскорбляет его.

Необычен в драме и характер помещика Чеглова-Соковина, деликатного и слабого, сомневающегося в своём праве распоряжаться судьбою крестьян, готового забыть о социальном неравенстве и решить спор с Ананием в «честном поединке». Но это лишь усугубляет драматизм ситуации. Ананий не понимает такого барина, не верит в его искренность, подозревает в его странном поведении очередную господскую хитрость, а дворянин тщетно пытается перевести свои отношения с Ананием в русло общественного равенства и чисто человеческих отношений. И барин, и мужик переросли духовно крепостнические порядки, унижающие достоинство человека. Но инерция крепостных отношений настолько велика, что конфликт между героями, вопреки их воле и личным желаниям, постоянно сползает в традиционное русло, ожесточая участников драмы и подталкивая действие к трагической развязке. Провоцируют катастрофу и окружающие героев люди (бурмистр Калистрат, уездный предводитель дворянства, деревенские соседи), которые судят и оценивают поведение героев в духе традиционной сословной морали. На сцену выступает, следовательно, известный строй жизни, как стихийная сила, независимая от личностей. Пытаясь опереться на «закон», на освящённое патриархальной нравственностью право главы семьи, Ананий втайне надеется, что его Лизавета образумится и, может быть, полюбит его. Но Лизавета тоже принадлежит к числу «новых» крестьянских характеров. Отданная по старому обычаю за нелюбимого человека, она не переносит своего подневольного существования, рождающего в ней глухую ненависть к Ананию, и «образумиться» не может.

В припадке отчаяния и ревности Ананий теряет контроль над собой и совершает бессмысленное убийство ребёнка. В следующей затем сцене раскаяния душевно прозревает Лизавета, которая, наконец, поняла, сколь глубоко

любил её муж. Ананий Яковлев, совершивший преступление, как православный христианин, приходит к покаянию, к готовности страданием искупить свою вину. И. А. Гончаров писал об этой драме П. В. Анненкову: «Силы и природы пропасть: сцены между бабами, разговор мужиков – всё это так живо и верно, что лучше из этого быта ничего не было». Нравственное торжество остаётся в драме Писемского за крестьянским героем, личностью сильной и в любви, и в бунте, и в покаянии.

«Горькая судьбина» была закончена 19 августа 1859 года и опубликована в ноябрьском номере журнала «Библиотека для чтения». Одновременно с «Грозой» А. Н. Островского ей была присуждена большая Уваровская премия как выдающемуся произведению отечественного драматургического искусства. Но разрешение на театральную постановку Писемский с трудом получил лишь в 1863 году: «Горькая судьбина» допускалась только на сцены столичных императорских театров. В репертуары провинциальных театров доступ ей был закрыт вплоть до революции 1905 года.

К драматургии Писемский обращался на протяжении всего творчества: «Ипохондрик» (1852), «Раздел» (1853), драматическая диалогия «Бывшие соколы» (1864) и «Птенцы последнего слёта» (1865), политическая драма «Бойцы и выжидатели» (1864), исторические драмы «Самоуправцы» (1865), «Поручик Гладков» (1867), «Милославские и Нарышкины» (1867), обличение буржуазного хищничества в пьесах 1870-х годов «Ваал» (1873), «Хищники» (1873), «Просвещённое время» (1875), «Финансовый гений» (1876).

Итогом первого периода творчества Писемского является его роман «Тысяча душ» (1858), в котором нашли богатое отражение впечатления государственной службы писателя в Костроме, многие события и реалии костромской жизни конца 1840 – начала 1850-х годов. В главном герое романа Калиновиче, совершающем стремительную чиновничью карьеру и не брезгующем ради неё никакими нравственными запретами, писатель показал «убыль сердца» и прагматизм человека нового времени. «И поверьте мне, –

говорит в романе герой, выражающий авторскую точку зрения, – бесплодно проживает ваше поколение, потому что оно окончательно утратило романтизм... Я с ужасом смотрю на современную молодёжь... что же, наконец, составляет для них смысл в жизни? Деньги и разврат!»

Роман имел шумный успех и был переведён на европейские языки ещё при жизни писателя. В творчестве Писемского он знаменовал поворот от критики романтического идеализма – к обличению буржуазного деячества. «Сначала я обличал глупость, предрассудочность, невежество, смеялся над детским романтизмом и пустозвонными фразами, боролся против крепостного права, преследовал чиновничьи злоупотребления, обрисовал цветки нашего нигилизма... и в конце концов принялся за сильнейшего, может быть, врага человеческого, за *Ваала* и за поклонение *Золотому тельцу*...»

После публикации «Очерков из народного быта», драмы «Горькая судьбина» и романа «Тысяча душ» имя Писемского «было окружено почётом и всеобщим интересом, – вспоминал один из его современников, – на страницах самых строгих журналов оно блистало рядом с именем Тургенева, и критики затруднялись решить, какое из них звезда первой и второй величины. Но это были мимолётные и невозвратные дни. Немногие годы популярности и почётной известности скоро и бесследно потонули в потоке тягостных лет вражды, насмешек и даже презрения».

4

В 1861 году в литературной судьбе Писемского случился драматический перелом. К этому времени в русском обществе наметилось чёткое идейное размежевание, и началась открытая общественная борьба. От писателя потребовался выбор позиции, подкреплённый не только непосредственным знанием жизни, но и всем многообразием философских, эстетических, идеологических теорий, всем богатством культурного развития. Писемский же, по точному наблюдению одного из старых исследователей его

творчества, «принёс с собой в столицу настроение чутко недоверчивого провинциала, не желающего пристать к какой-либо определённой группе, а пытливо и себе на уме подмечающего слабости и односторонности таких групп».

Писемский явил в Петербурге «цельный тип русского человека и писателя» – «здравый практический смысл в противовес теориям и даже нередко научным идеям, могучее национальное чувство, проникнутое стихийным недоверием и подчас даже враждой к произведениям и результатам чужой культуры». Этот тип – «...прямое наследство московской Руси. <...> Протопоп Аввакум не только один из замечательнейших воителей раскола, он типичнейший русский человек старой Москвы. И аввакумовская натура, её национальный склад не мог, разумеется, выветриться под какими бы то ни было внешними влияниями: иначе дешёво бы стоило вообще русское племя! Эта натура пережила и петровскую реформу, и всевозможные европейские наслоения в русском обществе, живёт она до сих пор. Только из области религии и житейских отношений она перешла в художественную литературу и светскую мысль».

В условиях открытой общественной борьбы и противостояния взгляд провинциального скептика на борьбу столичных «умников» стал нетерпим как для «левых», так и для «правых» сил в русском обществе, с ним уже не хотели мириться, а Писемский, как чаще всего бывает в таких случаях с людьми его склада, шёл напролом, навстречу трудной своей судьбе.

Именно теперь он взял на себя рискованное бремя – стал редактором журнала «Библиотека для чтения». И, когда в декабрьской книжке этого журнала он напечатал в 1861 году злополучный фельетон за подписью «Старая фельетонная кляча Никита Безрылов», в обществе поднялась целая буря. На первый взгляд, фельетон достаточно безобиден. Никита Безрылов посмеялся в нём над вводимым в воскресных школах обращением с учениками на «вы», коснулся курьёзных последствий женской эмансипации, высмеял модные тогда литературные вечера,

не пощадив, кстати, и себя самого в числе их участников, сделал иронические выпады в адрес журналов «Искра» и «Современник». Но пошутил он явно не к месту и не ко времени. Этого-то «безрыловского» шутовства ему и не простили современные «прогрессисты». С оскорбительной бранью выступил журнал «Искра», «Искру» поддержал «Современник»... Редактор «Искры» В. С. Курочкин вызывал писателя на дуэль... Обескураженный Писемский уезжает за границу, безуспешно ищет понимания и защиты от «желчевиков» у Герцена, с которым встречается в Лондоне.

К этому времени случается ещё одно событие, окончательно подорвавшее его литературную репутацию. Писатель, знавший характер русского мужика из первых рук, считал умозрительными и утопическими надежды революционеров-демократов на крестьянскую революцию. Ход реформы 1861 года ещё более укрепил его в правоте своих воззрений. В письме от 24 марта 1861 года он сообщал Тургеневу: «...хочу уж отправиться в деревню составлять в своём именишке и в имении тётки уставные грамоты. Не знаю, как в деревне, но здесь народ принял объявление о свободе самым равнодушным образом: я это знал наперёд, тех нравственных привилегий, которые он тут получил, он ещё не понимает и не оценивает, а что в материальном отношении его положение весьма мало улучшилось, а в других местах ещё ухудшилось, – это он видит хорошо».

В июле 1861 года Писемский обращался к Тургеневу в Париж уже из Печур: «Более месяца, как я в деревне, поехал отдохнуть, успокоиться, поработать, а между тем... отовсюду окружающий вас крестьянский вопрос, по милости которого из русского человека так и лезут разного рода таящиеся в нём мерзости, как-то: тупость, мелкое своекорыстие, подлое вольничанье, когда узду несколько поотпустили, а с другой – злая власть, но уже беззубая власть – словом, каждый день самые отвратительные и возмутительные сцены».

Визит Писемского в Печуры и Раменье летом 1861 года явился важной вехой в его творческой биографии. Здесь,

судя по письмам к Тургеневу, он впервые на собственном опыте ощутил драматические последствия первых шагов реформы «сверху». Крестьянские эпизоды романа «Взбаламученное море» (1863) создавались по следам костромских – печурских и раменских – впечатлений. Любопытны тут и биографические параллели. Главный герой романа, дворянин Бакланов, отправляется из Петербурга в провинциальную глушь, в имение тётки, подписывать уставные грамоты: «Почтенная девица сия, как только был получен первый манифест об освобождении крестьян, захирела и померла: „Я родилась и умру госпожой своих людей!“ – были почти последние её слова перед смертью».

В романе даётся широкая панорама русской жизни 1850–60-х годов от столиц до провинциальных глубин. Верный принципам своего реализма, Писемский не стремится поучать читателей: «...мы имеем совершенно иную (чтобы не сказать: высшую) цель и желаем гораздо большего: пусть будущий историк со вниманием и доверием прочтёт наше сказание: мы представляем ему верную, хотя и не полную картину нравов нашего времени, и если в ней не отразилась вся Россия, то зато тщательно собрана вся её ложь». Скептический взгляд Писемского на ход и результаты великой реформы связан с осознанием незрелости русского общества, «не привыкшего к самомышлению»: «после рабского повиновения властям» – такое же рабское, «насильственное и безотчётное подчинение модным идейкам».

Главный герой, дворянин и либерал Бакланов, – «представитель того разряда людей, которые до 1855 года замирали от восторга в итальянской опере и считали, что это высшая точка человеческого назначения их на земле, а потом сейчас же стали, с увлечением и верою школьников, читать потихоньку „Колокол“. Внутри, в душе у этих господ... никакого самоделания, но зато натираться чем вам угодно снаружи – величайшая способность!»

Впервые в русской литературе, предвосхищая «Бесов» Достоевского, Писемский показывает генетическую связь русского либерализма с нигилизмом, «отцов» с «детьми».

Либерал Варегин говорит о нигилистах: «...они плоть от плоти нашей, кость от костей наших. То, что мы делали крадучись, чему тихонько симпатизировали, они возвели в принцип, в систему; это наши собственные семена, только распутившиеся в букет».

Крестьянские эпизоды романа призваны подчеркнуть всю иллюзорность «революционных доктринёров» и «либеральных фразёров» в их суждениях о революционных социалистических инстинктах русского мужика. Писемский, по словам П. В. Анненкова, «...не оказывал ни малейшего признака сентиментальных отношений к народу, какие окрашивали тогда все беседы о предстоящей реформе...», «...был совершенно свободен от розовых надежд, которые возлагали на освобождение крестьянского населения, не доверял обещаниям множества благ, имеющих произойти от одного „свободного труда“, и не приходил в восторг при мысли, что с эмансипацией прибывает на Руси несколько миллионов полноправных граждан и собственников».

В главе «Бунт» крестьяне отказываются подчиняться новым господам: «Госпожа померла, значит, мы и вольные; другой господин жив – властуй, а умер – тоже ослободаются... Молодые пускай сами себе наживают. Как же ты иначе-то волю-то сделаешь?» Затем происходит подавление «бунта» воинской командой: «Солдаты сомкнулись, человек двадцать мужиков остались у них в цепи. Один молодой парень хотел было выскочить из неё, солдат ткнул ему прикладом в лицо... „Ну, черти, дьяволы! Становитесь на колени!“ – вскрикнул старик и сам стал на колени, за ним стали несколько мужиков».

«А ведь есть господа, – говорит мировой посредник Варегин, – которые радуются этой бестолочи... Готовы даже подстрекать на неё народ... Движение здорового общественного организма в этом видят... Не подлость ли, я вас спрашиваю, кровью этих детей омыwać свои безумные фантазии!..»

Подобно Тургеневу, Писемский считал, что русская жизнь в пореформенное время вступила в долгую полосу

разложения и внутреннего брожения: «Всё это ещё не устоялось и бродит!.. Не мы виноваты, что в быту нашем много грубости и чувственности, что так называемая образованная толпа привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не делать, или делать вздор, что, не цена и не прислушиваясь к нашей главной народной силе, *здравому смыслу*, она кидается на первый фосфорический свет, где бы и откуда бы ни мелькнул он, и детски верит, что в нём вся сила и спасение!»

Призывая читателей к здравому смыслу, Писемский стремился предостеречь русское общество от опрометчивых шагов и резких движений. Реформа, по его мнению, лишь приоткрыла путь к долговременному и неспешному развитию, к терпеливому созидательному труду всех сословий русского общества на благо родной земли.

Роман «Взбаламученное море» – незаурядное произведение русской классической прозы – не получил должной оценки, к нему относились с предубеждением, так как одновременно с широкой панорамой русской жизни за несколько десятилетий, с правдивым освещением существенных сторон народного быта, Писемский пародийно изображал русскую революционную эмиграцию и столичных «нигилистов». Именно эта сторона романа, опубликованного в журнале Каткова «Русский вестник» в 1863 году, вызвала гневное осуждение революционно настроенной молодёжи России. Авторитет Писемского как человека и писателя был окончательно поколеблен в среде русских читателей.

Судьба Писемского не является исключительной: многих захлестнул тогда бурный поток общественной жизни 1860-х годов. Н. С. Лесков, художник ещё более одарённый и самобытный, испытал то же самое. Да что там Лесков! И. С. Тургенев после выхода в свет «Отцов и детей» пережил столь тяжёлую драму разрыва с читателями, что даже хотел навсегда оставить литературное творчество. Однако сейчас настанет время для беспристрастной оценки этих писателей, оценки спокойной и объективной. Характерно, что И. С. Тургенев и писатели его круга высоко оценили этот

роман Писемского за широту эпического охвата русской жизни от столиц до провинциальных глубин, за верную передачу драматических процессов в русском обществе первых лет пореформенного периода. Мотивы «Взбаламученного моря» Тургенев широко использовал в своём романе «Дым» (1867).

5

Огорчённый неудачами, Писемский оставляет редактирование журнала «Библиотека для чтения», навсегда покидает Петербург и переезжает в Москву. В цикле рассказов «Русские лгуны» (1865) писатель так формулирует свой замысел: «Прислушиваясь со вниманием к тем темам, на которые известная страна в известную эпоху лжёт и фантазирует, почти безошибочно можно определить степень умственного, нравственного и даже политического развития этой страны». Но, столкнувшись с цензурными препятствиями, писатель не сумел реализовать этот самобытный и дерзкий замысел до конца.

В романе «Люди сороковых годов» (Заря. 1869. № 1–9) писатель раскрывает историю жизни «обыкновенного» человека, сформированного «замечательным десятилетием» 1840-х годов. Роман автобиографичен вплоть до мельчайших деталей и подробностей. В нём нашли отражение детские и юношеские годы писателя, время учёбы в Костромской гимназии и Московском университете, служба в Костроме. Судьба героя раскрывается на широком фоне общественной жизни столиц и провинции.

Так, в главах романа «Люди сороковых годов» получили отражение драматические события, случившиеся в Костроме. 22 ноября 1847 года «Костромские губернские ведомости» сообщали: «В первой половине сентября Провидению угодно было попустить на наш губернский город тяжкое испытание – четыре пожара один за другим и в лучшей части города. Первый, самый ужаснейший, случился в половине третьего ночи с 5-го на 6-е число на Александровской улице, позади смежных дворов мещан Энгерта

и Литова, откуда огонь, при бывшем тогда сильнейшем юго-восточном ветре с вихрем, перелетел поперек трёх улиц – Марьинской, Павловской и Еленинской», с которой «пламя перешло на Богоявленскую». К рассвету 6 сентября «все здания, стоявшие под ветром, были объаты пламенем, а часов в 7 утра загорелся Богоявленский монастырь и столь быстро, что бывший там народ и монашествующие едва успели спастись через отверстие, пробитое в каменной стене жителями и чинами гарнизонного батальона». Затем пламя переметнулось на прилегающую с северо-запада к монастырю Власьевскую улицу и истребило все дома между Рождественскою церковью и улицами Пятницкою, Царевскою и Спасскою. «Всего на этом пространстве погибло в пламени 118 зданий».

Одновременно с пожаром на Александровской улице, за версту от неё, на самом конце города, вспыхнуло здание полотняной фабрики и сгорело до основания. Не успели костромичи опомниться от губительного опустошения, как 9 сентября вечером полыхнуло на Покровской улице. А 10-го занялось на Кинешемской... Порывистый юго-восточный ветер перекинул пламя на Александровскую, Мариинскую и Павловскую улицы. Сгорело 66 зданий частных и общественных. Наконец, 11 сентября, в 6 утра, на рассвете, показался огонь на Смоленской улице в сеннике купцов Вавиловых.

Город был объят страхом и ужасом. Началась паника. Протоиерей кафедрального Успенского собора Василий Горский так описал состояние костромичей в эти трагические дни: «„Кто устроит нас по месяцам прежних дней, в которых Бог, милуя, хранил нас?!“ – восклицали мы, бьюще в перси свои, когда огненная стихия, разлившись быстрою рекою по стогнам града нашего, превращала мирные кровы наши в персть и в пепел; когда расвирепевшее пламя, смешавшись с бурным вихрем, поглощало всё, к чему прикасалось: когда дым жупельный и зной тлетворный запирали самое дыхание наше; когда сон и сладкая дремота, последняя отрада злополучных, оставили, бежали нас;

когда ужас настоящего и страх будущего хладную землю общим ложем, а звездное небо общим сделали покровом для всех... „Кто устроит нас по месяцам прежних дней!“ – восклицали мы с горькими слезами, с тяжкими вздохами и даже с воплями крепкими».

Сам характер пожаров, методично занимавшихся изо дня в день в разных местах города, наводил на мысль о злоумышленных поджогах. Потрясённые костромичи, по словам анонимного автора, «кинулись на брошенную кем-то в народе мысль, будто пожары были следствием заговора поляков и произведены находящимися в здешнем крае их соотечественниками. Такое мнение стало общим в городе».

По распоряжению губернатора взяли под стражу всех проживающих в Костроме польских уроженцев. Мужчин, женщин и детей целыми семействами заключали в городскую тюрьму. Чтобы дать выход народному гневу, их периодически водили по городу под конвоем солдат с обнажённым оружием для демонстрации жителям Костромы в качестве страшных злоумышленников.

Началось следствие. Подозрение в злоумышленных поджогах, по доносу горничной, пало на врача Костромской городской больницы М. И. Ходоровича, который одновременно был штатным доктором дворянского гимназического пансиона. Ходоровича костромичи могли бы считать старожилом. Прослужив здесь 28 лет, дослужившись до чина надворного советника, он, казалось бы, совершенно обрусел и детей своих воспитывал в православии. Безукоризненной честностью Ходорович приобрёл уважение горожан. А во время свирепствовавшей в 1830 году холеры своими врачебными знаниями получил от костромичей всеобщую признательность.

Но... «любит человек падение праведника и позор его!» И сам Ходорович, и всё его семейство подверглись тяжкому обвинению, публичному поношению и позору. По свидетельству историка Костромской гимназии Коробицына, не только гимназисты, но и все их учителя и воспитатели были единодушны в мнении, что причиной пожаров

явилась месть давних врагов России Костроме, родине Ивана Сусанина, погубившего польский отряд и спасшего в начале XVII века юного царя Михаила Романова.

Испуганные обыватели в панике вывозили оставшееся имущество, бросали даже уцелевшие дома и проводили ночи в открытом поле за городом в ожидании новых поджогов. Дворяне разъезжались спешно по своим поместьям. Занятия в гимназии, в уездном училище, а также в духовной семинарии прекратились, учащиеся были распущены по домам на неопределённый срок.

Как же сложилась судьба впадших в немилость и пострадавших поляков? Уже 22 ноября 1847 года «Костромские губернские ведомости» сообщали: «Всеавгустейший монарх наш, в высокой мудрости одинаково справедливый ко всем верным своим подданным, при первом же известии о происшествиях в Костроме всемилостивейше повелеть изволил: лиц из польских уроженцев, взятых под стражу, немедленно освободить; а по получении достоверного сведения об истязаниях, деланных при производстве бывшим начальником губернии допросов, его императорское величество, отозвав гражданского губернатора, действительного статского советника Григорьева, как единственного в том виновника, в Петербург, высочайше повелеть изволил: предать его военному суду при Санкт-Петербургском Ордонанс-Гаузе».

Порядок в выгоревшей дотла Костроме наводил назначенный самим Николаем I новый управляющий Костромской губернией. Это был внук Суворова, генерал-адъютант, князь италийский, граф Суворов-Рымникский, с разрешения которого и была опубликована в «Костромских губернских ведомостях» цитируемая нами статья.

В полемике с революционерами и либералами-западниками главный герой романа Вихров так формулирует свой взгляд на Россию: «Гений нашего народа... выразился... в необыкновенно *здравом уме* – и вследствие этого в *сильной устойчивости*; в нас нет ни французской галантерейности, ни глубокомыслия немецкого, ни предприимчивости английской, но мы очень *благоразумны* и *рассудительны*: нас

ничем нельзя очень порадовать, но зато ничем и не запугаешь. Мы строим наше государство медленно, но из хорошего материала; удерживаем только настоящее, и всё ложное и фальшивое выкидываем. Что наш аристократизм и демократизм совершенно миражные всё явления, в этом сомневаться нечего; сколько вот я ни ездил по России и ни прислушивался к коренным и любимым понятиям народа, по моему мнению, в ней не должно быть никакого деления на сословия – и она должна быть, если можно так выразиться, по преимуществу, государством хоровым, где каждый бы пел во весь свой полный, естественный голос, и в совокупности выходило бы всё это согласно... Этому свойству русского народа мы видим беспрестанное подтверждение в жизни: у нас есть хоровые песни, хоровые пляски, хоровые гулянья... У нас нет, например, единичных хороших голосов, но зато у нас хор русской оперы, я думаю, лучший в мире. <...> Ты смотри: через всю нашу историю у нас не только что нет резко и долго стоявших на виду личностей, но даже партии, долго властвующей; как которая заберёт очень уж силу и начнёт самовластвовать, так народ и отвернётся от неё, потому что *всякий пой в свой голос и других не перекрикувай!*»

В 1870-е годы в идеалах революционной партии Писемский по-прежнему видит нечто выморочное и в русских условиях обречённое на гибель. Такова Елена Жиглинская, главная героиня романа «В водовороте» (1871), девушка, субъективно сильная, честная, остро воспринимающая социальные беды, но бесплодно-разрушительная в своём нигилизме, да ещё и обвиняющая в своей беспочвенности Россию, которую она глубоко ненавидит.

Князь Григоров, типичный русский либерал, переживший страстное увлечение не только Еленой, но и её идеалами, в финале романа бросает героине упрёк: «Я родился на свет, облагодетельствованный настоящим порядком вещей, но я из этого порядка не извлёк для себя никакой личной выгоды: я не служил, я крестов и чинов никаких от правительства не получал, состояния себе не скапливал, а напротив – делил его и буду ещё делить между многими,

как умею... Но чтобы космополитом окончательным сделаться и восторгаться тем, как разные западные господа придут и будут душить и губить моё отечество, это... извините!.. Я, не стыдясь и не скрываясь, говорю: „Я – русский человек с головы до ног, и никто не смеет во мне тронуть этого чувства моего: я его не принесу в жертву ни для каких высших благ человечества!“». Трагический финал романа – смерть Елены, самоубийство Григорова – призван показать, по мнению автора, беспочвенность и бесплодность как нигилизма, так и российского либерализма.

Роман «В водоворот» принадлежит к числу наиболее удачных в художественном отношении произведений Писемского, отмеченных строгостью композиционной формы, тонким психологизмом в разработке любовной драмы героев. «Не мне бы писать Вам похвальные листы и давать „книги в руки“, но по нетерпечности своей не могу не крикнуть Вам, что Вы богатырь! – восторженно откликнулся на роман Н. С. Лесков. – Помимо мастерства, Вы никогда не достигали такой силы в работе. Это всё из матёрой бронзы; этому всему века не будет!»

Постепенно в центре внимания Писемского оказывается не средний человек, а окрылённый романтик, вступающий в неравную борьбу с обществом за свой идеал, сталкивающийся с непреодолимыми нравами века сего, века наживы, корысти, бесстыдства и бездуховности. В романе «Мещане» (1877) главный герой, дворянин Бегушев, восклицает: «Бога на землю!.. Путь сойдёт снова Христос и обновит души, а иначе в человеке всё порядочное исчахнет и издохнет от смрада ваших материальных благ». Бегушев убеждён, что современные «дрянные люди суть продукт капитала, самой пагубной силы настоящего времени; что существовавшее некогда рыцарство по своему деспотизму ничто в сравнении с капиталом».

В романе представлена удручающая картина падения нравов в русском обществе эпохи первоначального накопления. Особо подчёркивается разрушительная роль продажной журналистики, «всё разъедающей и всё опош-

ляющей»: «она загрызла искусства», «она поразила науку, стремясь к мерзейшей популярности; она пугает правительство, сбивает с толку дипломатию». Общество дельцов извратило всё, даже саму религию: оно «признаёт религию только с формальной и утилитарной стороны, а это... хуже даже, чем безверие нигилистов: те, по крайней мере, веруют в самый принцип безверия».

«Чтение „Мещан“, – откликнулся на роман Тургенев, – доставило мне много удовольствия – хотя, конечно, поставить этот роман на одну высоту с „Тысячью душ“, „Взбаламученным морем“ и другими вашими крупными вещами нельзя; но вы сохранили ту силу, жизненность и правдивость таланта, которые особенно свойственны вам и составляют вашу литературную физиономию. Виден мастер, хоть и несколько усталый, думая о котором, всё ещё хочется повторить: „Вы, нынешние, нут-ка!“».

Замысел последнего романа «Масоны» (1880) возник из оппозиции писателя к современности, к власти «денежного мешка». О времени 1820–30-х годов он писал: «... а всё-таки это время было лучше нашего: оно было и умнее, и честнее, и, пожалуй, образованнее». «Время, взятое мною, весьма любопытно. Я масонов лично знал ещё в моей юности и знал их, конечно, с чисто внешней стороны, а теперь, войдя в их внутренний мир, убеждаюсь, что по большей части это были весьма просвещённые и честные люди и в нравственном отношении стоявшие гораздо выше так называемых тогда вольтерьянцев, которые были просто грубые развратники».

Не только личные воспоминания о Ю. Н. Бартенева и его окружении послужили Писемскому основой для этого романа. Писатель изучал материалы о русском масонстве, появившиеся в свет в 1860–70-е годы. В романе дана краткая история масонства, не без авторской иронии описаны основные его обряды, но в центре внимания писателя оказалось другое: общественная деятельность русских масонов начала XIX века и национальное своеобразие их учения.

Главный герой Марфин говорит: «Я называю русскими мартинистами тех, кои, будучи православными, исповедуют мистицизм, и не по Бему, а по правилам и житию отцов нашей церкви, по правилам аскетов». Именно связь с основателями нашего пустынножительства Нилом Сорским и заволжскими старцами приводила масонов первого поколения к проповеди близких русскому православному сознанию идей нестяжательства, «умного делания», оберегала от ухода в бесплодный мистицизм и открывала перед некоторыми из них путь возвращения в лоно православной церковности.

Вместе с тем, Писемский не идеализирует масонство как общественное явление и не скрывает, что в облики масонском скрывались и космополитизм, и карьеризм, и равнодушие к судьбам народа и отечества. Марфин и Сверстов изображаются в романе как исключения, как совестливое масонское меньшинство. А рядом с ними – масоны стяжатели и карьеристы, вроде губернского предводителя Крапчика, или равнодушные к злу и неправде мистики вроде князя Голицына, директора института слепых Пилецкого, московского почт-директора Булгакова (в романе Углаков).

Измученный одинокой и бессильной борьбой против презренного торгашества, Марфин с горестью предсказывает: «...у нас не Христос выгонит из храма мытарей, а мытари выгонят рыбарей, что масонство на долгие годы должно умереть, и воссияет во всём своём величии откупщическая и кабацкая сила». «Правительство у нас подобных людей не преследует», и одна надежда остаётся у героев романа: они «сами потонут в омуте собственной мерзости».

«Масоны» оказались последним романом писателя. 19 января 1875 года на заседании Общества любителей российской словесности проходило чествование Писемского в связи с 25-летием его литературной деятельности. В речи, произнесённой на этом юбилейном празднике, он дал следующую характеристику своего творческого наследия: «Сознавая всю слабость и недостаточность моих трудов,

я считаю себя вправе сказать только то, что я никогда в них не становился ни под чьё чужое знамя. Худо ли, хорошо ли, но я всегда писал то, что думал и чувствовал. Единственной путеводной звездой во всех трудах моих было желание сказать стране моей, по крайнему разумению, хотя, может быть, и несколько суровую, но всё-таки правду про неё самоё».

Сочинения А. Ф. Писемского

Полное собрание сочинений: в 24 т. – Пб.; М., 1895–1896.

Полное собрание сочинений: в 8 т. – 3-е изд. – СПб., 1910–1911.

Собрание сочинений: в 9 т. / вступ. ст. М. П. Ерёмкина. – М., 1959.

Письма / подгот. текста и коммент. М. К. Клемана и А. П. Могилянского. – М.; Л., 1936.

Литература о творчестве А. Ф. Писемского

Дружинин А. В. «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского / А. В. Дружинин // Библиотека для чтения. – 1857. – № 1.

Чернышевский Н. Г. «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского / Н. Г. Чернышевский // Современник. – 1857. – № 4.

Григорьев А. А. Реализм и идеализм в нашей литературе (по поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева) / А. А. Григорьев // Светоч. – 1861. – № 4.

Шелгунов Н. В. Люди сороковых годов / Н. В. Шелгунов // Дело. – 1869. – № 9–12.

Скабичевский А. М. Писемский, его жизнь и литературная деятельность / А. М. Скабичевский. – Пб., 1894.

Иванов И. И. Писемский / И. И. Иванов. – Пб., 1898.

Евнин Ф. И. А. Ф. Писемский / Ф. И. Евнин. – М., 1945.

Пруцков Н. И. Русский роман 40–50-х годов / Н. И. Пруцков // История русского романа. – М.; Л., 1962. – Т. 1.

Лотман Л. М. Писемский-романист / Л. М. Лотман // История русского романа. – М.; Л., 1964. – Т. 2.

Касторский В. В. Писатели-костромичи / В. В. Касторский. – Кострома, 1958.

Пустовойт П. Г. Писемский в истории русского романа / П. Г. Пустовойт. – М., 1969.

Видуэцкая И. П. А. Ф. Писемский / И. П. Видуэцкая // Развитие реализма в русской литературе. – М., 1973. – Т. 2. – Кн. 1.

Плеханов С. Н. Писемский / С. Н. Плеханов. – М., 1988. – (ЖЗЛ).

Анненский Л. А. Три еретика: Об А. Ф. Писемском, П. И. Мельникове, Н. С. Лескове / Л. А. Анненский. – М., 1988.

Могилянский А. П. Писемский: жизнь и творчество / А. П. Могилянский. – Л., 1991.

Лебедев Ю. В. Алексей Феофилактович Писемский. Жизнь. Творчество. Литературная судьба / Ю. В. Лебедев // Лебедев Ю. В. В середине века: ист.-лит. очерки / Ю. В. Лебедев. – М., 1988.

Бочков В. Н. «Скажи, которая Татьяна?»: лит.-краевед. очерки / В. Н. Бочков. – М., 1989.

Ермолаева Н. Л. О своеобразии драматургии А. Н. Островского и А. Ф. Писемского (проблема трагического) / Н. Л. Ермолаева // А. Н. Островский в новом тысячелетии. – Кострома, 2003.

Ермолаева Н. Л. О психологической драме в позднем творчестве А. Н. Островского и А. Ф. Писемского / Н. Л. Ермолаева // Щельковские чтения – 2003: А. Н. Островский в современном мире. – Кострома, 2004.

Ермолаева Н. Л. Жанр драматической хроники в творчестве А. Н. Островского и А. Ф. Писемского / Н. Л. Ермолаева // Щельковские чтения – 2004: Творческое наследие и личность А. Н. Островского: бытие во времени. – Кострома, 2004.

Ермолаева Н. Л. А. Н. Островский и А. Ф. Писемский / Н. Л. Ермолаева // А. Н. Островский: Материалы и исследования. – Шуя, 2006.

Рекомендации по работе с материалом учебного пособия

1. Составьте план раздела о Писемском, озаглавив под-разделы, выделенные авторами пособия, при необходимости разбейте их на отдельные параграфы.

2. Используя материал статьи, составьте таблицу по творчеству Писемского:

Период жизни писателя	Основные произведения	Ведущие мотивы, идеи

3. Ответьте на вопросы:

Какие особенности характера, поведения, мироощущения А. Ф. Писемского выделяли его среди писателей-современников?

Как отразился жизненный опыт Писемского-чиновника в его прозаических и драматических сочинениях? (На примере 2–3 произведений).

Почему первый период творчества Писемского был одобрительно воспринят демократической критикой и почему менялось отношение к произведениям писателя в демократическом лагере?

В чем проявилось критическое восприятие Писемским крестьянской реформы 1861 года? Чем оно было обусловлено?

Какие характерные явления русской действительности отразил Писемский в своих романах 1860–70-х годов?

Почему в романе «Масоны» писатель обращается к пушкинской эпохе? Какие уроки извлекает из художественного исследования этого времени?

В чем проявилась связь творчества Писемского с «гоголевской школой» в русской литературе?

Какие принципы реализма как литературного направления ярче всего воплотились в прозе и драматургии А. Ф. Писемского?

Почему некоторые литературоведы считают Писемского представителем натурализма в литературе?

Задания для самостоятельной работы

1. Сопоставьте «Очерки из крестьянского быта» Писемского и «Записки охотника» И. С. Тургенева.

2. Докажите на примере романов 1860–70-х годов, что в оценке «передовых» идейных течений русской общественной жизни Писемский часто оказывается близок к Лескову и Достоевскому.

3. Сопоставьте приведенные ниже суждения критиков XIX века о драме «Горькая судьбина» Писемского, дайте им оценку.

А. М. Скабичевский, 1894 год

Крестьяне Писемского, подобно крестьянам романа Золя, являются дикарями, живущими непосредственной жизнью животных влечений, причём, как у всех дикарей, самые высокие душевные движения соединяются в них со скотским зверством и часто одно незаметно переходит в другое.

То же самое видим мы и в «Горькой судьбине» Писемского. Прежде всего, изложим со слов Анненкова историю этой комедии. Основа её не была выдумана художником. Писемский столкнулся с изображённым в ней происшествием в 1848 году, будучи ещё чиновником особых поручений при костромском губернаторе. Он держал в руках подлинное дело точно такого же содержания и в качестве следователя, командированного губернатором, сам принимал участие в его разборе. <...>

На первый взгляд может показаться, что в «Горькой судьбине» народ в лице Анания с его цельной, непосредственной натурой и непоколебимо твёрдыми взглядами на жизнь и на людей чрезмерно превознесён по сравнению с барами, представителем которых является помещик Чеглов, любивший жену Анания, Лизавету. Но эта иллюзия происходит лишь оттого, что помещик выведен в комедии в слишком уж безобразном виде. <...>

Понятно, что по сравнению с таким киселеобразным ничтожеством, каким представляется Чеглов, Ананий может показаться богатырём и в физическом, и в нрав-

ственном отношении. Но взгляните вы в этого самого Анания помимо всяких сравнений, и вы увидите, что вся его высокая нравственность – нравственность деревенского кулака, готового превратиться со временем в самодура в духе Кита Китыча.

Женясь на Лизавете, он нарочно берёт бесприданницу, чтобы она ему была по гроб предана из благодарности, а о любви её к нему и не допытывается на том основании, что и «все мужики женятся не по особливому какому расположению, а всё-таки, коли в церкви Божьей повенчаны, значит, надо жить по закону». По приезде из Питера он степенно и резонно рассказывает обо всех виденных им в столице диковинках. Вы обнаруживаете в нём человека бывалого и словно тронутого несколько цивилизацией. А между тем в нём сидит зверь, и стоило ему услышать о том, что жена изменила ему и прижила с барином ребёнка, зверь этот проснулся, и, обратившись в необузданного дикаря, Ананий первым делом избил жену до полусмерти. Затем он успокоился; с одной стороны, человеческие чувства, а с другой – практические соображения взяли в нём перевес. Он сообразил, что в крестьянском быту под барской властью такие случаи нередки и не могут быть причиной семейного позора, и был готов не только простить жену, но и признать своим ребёнка её. «По крайней мере, – говорит он, – для чужих глаз сделать надо, что ничего как бы этого не было; ребёнок, значит, мой, и ты мне пока жена честная».

Когда же Ананий узнаёт, что жена не поневоле сошлась с барином, а по любви и готова даже бежать к нему от мужа, в нём опять просыпается зверь и дикарь; он бросается к жене и убивает её ребёнка в порыве необузданной ярости, а потом снова приходит в себя, является на место преступления и отдаётся властям.

Из этого всего вы можете видеть, в какой степени и в «Горькой судьбине» Писемский оставался верен своему взгляду на простой народ как на оступивших и озверевших дикарей, которые, приходя в скотское бешенство, дрались, как звери, или со своим братом, или с женой и беспрестанно попадали за то на каторгу.

И. И. Иванов, 1898 год

Ананий Яковлев – единственная фигура во всей русской народнической литературе, поистине эпическая, грандиозная, своего рода король Лир мужицкого царства. У него и речь отменная, простая, народная – с каким-то неуловимым оттенком своеобразной силы и важности, в трагические моменты – она становится необычайно внушительной, почти величественной. Так может говорить человек, всецело проникнутый сознанием своей личности, успевший испытать свою мощь и ум и стать на исключительную высоту сравнительно с другими. Это впечатление сопровождает все сцены, где является Ананий: с женой, с деревенским пьяницей, с баринном, с властями.

Анания совершенно, по-видимому, не коснулись рабские влияния крепостного состояния, у него нет и намёка на бессознательную покорность, он решительно не способен на унижения, барин ему не рисуется в особом свете привилегированных прав на него как крепостного. Ананий, среди общего самоотречения и бесправия, дорос до понятия о своём «честном имени», о своём праве; за них он готов пойти на поселенье, не продаст их ни за какие деньги, отважится на какую угодно борьбу и с каким угодно противником...

Каким чудом мог родиться, вырасти и даже достигнуть благосостояния подобный человек там, где от бурмистра до последнего мужика все господскую волю считают законом, страх перед гневом барина полагают выше всякой нравственности и справедливости, о чести же, честном имени – ни один из односельчан Ананя не имеет даже самого смутного представления? Даже больше. Бурмистра, как истого выученика рабской школы, приводит в ярость малейший проблеск свободы и человеческого достоинства именно у мужика. Он, в столкновениях с Ананием, не столько старается заслужить пред баринном, сколько с исконным хамским инстинктом борется за свои интересы, за своё рабское самолюбие. Ананий, весь как он есть, живой укор ему, бурмистру, его подневольной жизни и постыдному самоуничижению.

4. Выпишите из указанных в пособии современных изданий высказывания литературоведов и критиков о «Горькой судьбине» Писемского. Объясните, почему Л. М. Лотман называла «Горькую судьбину», одной из лучших русских пьес о крестьянстве.

5. Подготовьте план-конспект урока в 10-м классе по очеркам Писемского «Питерщик» или «Плотничья артель».

6. Разработайте систему уроков (3–4 ч) по изучению творчества Писемского в 10-м классе.

Темы докладов, рефератов, исследовательских работ

1. Идейное движение в России второй половины XIX века и литературная репутация А. Ф. Писемского.

2. Нигилисты и нигилистки в изображении Писемского.

3. Крестьянские характеры в произведениях Писемского разных жанров.

4. А. Ф. Писемский как публицист и критик.

5. Социальные конфликты в драматургии Писемского.

Задания для организации проектной деятельности

1. Составьте программу научных чтений, посвященных А. Ф. Писемскому. Распространите информацию среди учителей, школьников, студентов. Проведите научные чтения.

2. Разработайте проект тематического сайта «Писемский», предварительно изучив образцы сайтов, посвященных русским и зарубежным писателям, например: Уильям Шекспир. – Режим доступа: <http://www.w-shakespeare.ru/index.html>; Лев Толстой. – Режим доступа: <http://tolstoy.ru>; Ф. М. Достоевский: электрон. науч. изд. / Петрозаводский ун-т., каф. рус. лит. и журналистики. – Режим доступа: <http://philolog.petrus.ru/fmdost/index.htm>.

Юлия Валериановна
ЖАДОВСКАЯ
(1824–1883)

Как большие реки иссякают без лесных родничков и мелких речек, так и большая литература не может существовать без писателей скромного литературного дарования. В плеяде одарённых писателей и поэтов середины XIX столетия есть свой голос у поэтессы Ю. В. Жадовской. Первые ощущения Родины, России у многих русских людей ещё окрашены эмоциональным колоритом знаменитой «Нивы»:

Нива, моя нива!
Нива золотая!
Зреешь ты на солнце,
Колос наливая...

Жизнь и творчество Юлии Жадовской неотделимы от ярославско-костромского края. Буй – Кострома – Ярославль – Буй – такова «география» жизненного пути поэтессы. В этой «географии» есть закономерности, на первый взгляд кажущиеся случайными. Из провинциальной уездной Руси – в губернскую, причем по восходящей: сначала в костромскую, потом в ярославскую. Есть возможность покинуть и Ярославль ради Москвы и Петербурга, возможность, дважды увенчавшаяся поэтическим успехом. И вдруг – неожиданное возвращение по старой дороге на родную буйскую землю, где прошли детские годы. Причём обратный путь – это путь самопожертвования вплоть до отречения от поэтического творчества: ведь последний сборник стихов Жадовской был встречен сочувственной статьёй Н. А. Добролюбова. А вслед за Добролюбовым о сборнике высоко отозвался Д. И. Писарев. Такое могло вскружить голову талантам куда более значительным. С Жадовской

этого не случилось. В зените поэтических сил она решительно отказалась писать стихи, а вскоре и прозу. Какая сила «отзывала» Жадовскую в сторону от большого света, от славы, успеха, открывающихся там? На память приходят тургеневские девушки, Лиза Калитина с её неожиданным уходом от мирских соблазнов в монастырь. Вспоминается тургеневский Лаврецкий с его желанием «пахать землю», уйти с головой в деревенскую тишину, на самое дно этой глубокой реки. В жизни Жадовской – печать судьбы целого поколения людей XIX столетия, людей острой совестливости, высокой нравственной культуры.

1

Ю. В. Жадовская родилась 29 июня (11 июля) 1824 года в селе Субботино Любимского уезда Ярославской губернии, в имении отца. Она принадлежала к древнему, но к началу XIX века оскудевшему дворянскому роду. Отец её, Валериан Никандрович Жадовский, воспитанник Морского кадетского корпуса, служил во флоте, а затем, выйдя в отставку, был сначала чиновником особых поручений при ярославском губернаторе, потом председателем ярославской гражданской палаты. Мать поэтессы, Александра Ивановна Готовцева, воспитанница Смольного института, показала блестящие успехи и была записана на почётной золотой доске. Она приходилась родной сестрой костромичке Анне Ивановне Готовцевой, женщине весьма образованной и поэтически одарённой, печатавшей стихи в журналах «Московский телеграф», «Сын отечества», «Галатее». Писательским дарованием не обделена была и старшая сестра Готовцевых, Мария Ивановна.

Судьба жестоко отнеслась к Юлии ещё до её появления на свет. На третьем месяце беременности Александра Ивановна оступилась, сходя с лестницы, и девочка родилась с серьёзными физическими недостатками: без левой руки и лишь с тремя пальцами на правой. Мать мужественно перенесла беду, горячо полюбив бедную девочку. Несчастливая в супружестве, она отдавала ребёнку лучшие силы души.

Но жизнь Юлии складывалась по пословице: «горе по горю, беды по бедам». Не успев окрепнуть, она лишилась матери, скончавшейся в возрасте 22 лет от скоротечной чахотки. Александра Ивановна, почувствовав, что дни её сочтены, сама привезла свою дочь на воспитание к матери, Настасье Петровне Готовцевой, в усадьбу Панфилово Буйского уезда Костромской губернии и спустя несколько месяцев умерла.

Детские годы Юлии Жадовской прошли в деревенской глуши. Впоследствии она называла родной край «обетованной землей», в которой на закате дней вновь привела её судьба устроиться и поселиться. «С террасы вид открывается на множество сёл и деревень, на целое море изумрудной озими. Вблизи пролегает проселочная дорога, оживляемая по временам протяжной песней крестьянина да стуком телеги... Влево виднеется усадьба Латухина, а далее открытое, широкое пространство, убегающее за туманом, и тёмная кайма леса», – вот отзвуки панфиловских впечатлений в романе Жадовской «Женская история». Они неоднократно возникают и в стихах:

И часто Надя в дом пустой ходила,
В нём комната одна ей полюбилась.
Чудесный вид из окон открывался:
Синела даль, белел уездный город,
И на местах гористых, там и сям,
Раскиданы и сёла и деревни...

Бабушка Юлии Валериановны принадлежала к числу патриархальных дворянок доброго старого времени. Быт и нравы её родового поместья были пропитаны народной культурой и народной нравственностью. «У старушки Готовцевой, – писал первый биограф Ю. В. Жадовской П. В. Быков, – был недюжинный ум, хотя и простой, бесхитростный, однако трезвый; она много читала, много видела на своём веку и, насколько могла, старалась быть полезной своей внучке, окружив её чисто материнскими заботами. Женщина высоконравственная, религиозная, она воспитывала внучку по-своему, что называется „в страхе Божиим“,

не стесняла, но вместе с тем зорко следила за каждым её шагом». Долгими зимними сумерками, вспоминала Юлия Жадовская, «она сажала меня перед собой на стол, спустила ноги мои к себе на колени, и, погладив меня по голове, начинала рассказывать». Русские народные сказки тут перемежались сказками из «Тысячи и одной ночи». «С этих пор явилась у меня странная потребность рассказывать мысленно самой себе сказки, созданные моим же собственным воображением. Сперва это были сказки, после – целые романы. Бывало по целым часам хожу я задумчиво взад и вперёд по комнате, и если бы был при мне какой-нибудь опытный наблюдатель, то верно бы удивился, увидев на детском лице моём то слезы, то радость, то ужас, то испуг».

Среди сказок бабушки навсегда запомнилась Юлии одна, в которой было что-то пророческое, оказавшееся близким её собственной судьбе.

«Я осуждена витать между небом и землёй, – признавалась Жадовская в 1851 году своему другу и наставнику Ю. Н. Бартеневу. – Вы говорите, что в письмах моих всё мирские мыльные пузырьки. Может быть, я и сама не иное что, как мирской мыльный пузырь. <...> Вспомнила я сказку: из всех сказок, слышанных мною в детстве, она ярче всех осталась у меня в памяти. Мне теперь показалось, что есть в ней нечто, близкое мыльным пузырькам.

У одних супругов не было детей. Вот и дали они Богу обет посвятить первого ребёнка и удалить его от мира совершенно. Услышал их Бог. Родилась у них дочь. Вместе с радостью для матери явилась и забота, как воспитать дочь, как уберечь её от мирского влечения, от всех обаяний жизни и соблазнов юности. Придумали, наконец, воспитывать её в тёмной комнате; никто не смел ей говорить, что за стенами есть свет, простор, есть зелёные луга, шумящие деревья, душистые цветы. Растёт дитя не по годам... Однажды, когда оно умывалось, няня нечаянно приоткрыла дверь её комнаты. Луч света брызнул в щель, девушка увидела в воде свой образ... „Как! – вскричала она, – есть свет, есть мир, а я живу впотьмах – вон отсюда, из этой

душной комнаты!..“ Нянька и так, и сяк, – нет, пленница и слушать ничего не хочет. Доложили родителям. Те подумали – и решили показать ей свет белый, но запереть её в монастырь. Так и сделали. С жадностью ловило по дороге в монастырь свежее, полное жизни создание впечатления мира. Упивалось природой и простором. И грустно, тяжело ей было ступить за порог уединённой кельи... Потекла жизнь её тихо, однообразно. Напрасно обливала она слезами каменные плиты – мир не сходил ей в душу – молитва была страстна и порывиста. Однажды, когда она при свете лампы молилась в тишине ночи, явился к ней ангел. „Сестра! – сказал он ей, – иди отсюда, иди к ограде монастыря, там сложи у камня свою монашескую одежду и надень тут же лежащее мирское одеяние; одевшись, ступай в мир, испытай горе и радости – и через 7 лет, когда тебе заметят, что у тебя крест назади, являйся к тому же камню; где бы ты ни была, какие бы обстоятельства ни окружали тебя, ты должна будешь всё оставить и возвратиться сюда. Согласна ли ты? Если согласна, то иди, ты не погресишь, ворота монастырские для тебя откроются“. Она согласилась. Вышла, пошла в большой город, поселилась у одной старушки и, когда продавала свою работу, полюбила одному знатному человеку, который женился на ней. И вот она окружена семьёй, она забыла о сроке, она – вся преданность своему мирскому назначению. Однажды, в ясный летний вечер, сидела она с семейством в саду. Солнце великолепно закатилось, вечерний аромат струился из каждого цветка, тихо склонялись зелёные ветки деревьев, соловей заливался чудными песнями. Все притихли. „Маменька! – сказал вдруг старший сын, стоявший за её стулом, – маменька! Назади у вас крест...“ Тихо вздрогнула мать и поникла головой... потом встала и простилась с мужем и детьми, вышла из сада и исчезла из глаз у них. Ангел ожидал её у заветного камня. Принял от неё мирскую одежду и вручил ей монашескую рясу. Безропотно приняла она этот дар и пошла к сёстрам. Когда она стала с ними здороваться и расспрашивать о тех, которых не нашла, – они очень изумились. „Как! – говорили они, – да ты

не отлучалась от нас. Мы всегда тебя видели за службой и за трапезой...“ Тут поняла она, что ангел служил за неё... И тепло, усердно обратилась к Богу. Молилась и за близких сердцу, находя в молитве непостижимую силу и отраду...»

В усадьбе бабушки от покойного деда осталась большая библиотека, в которой были книги французских просветителей и популярная на исходе XVIII века мистическая литература. Особое впечатление произвели на Жадовскую произведения немецкого мистика Карла Эккартсгаузена: «Бог есть любовь чистейшая», «Христос между людьми», «Важнейшие иероглифы человеческого сердца», «Ключ к таинствам природы». Девочка уже в раннем возрасте обнаружила незаурядные способности. С шести, а по другим сведениям даже с трёх лет она прекрасно читала. Сложнее было с навыками письма: мешал врожденный физический недостаток. На первых порах бабушка писала ей буквы то на песке, то на оконном стекле, но маленькая Юлия и здесь легко освоилась. По воспоминаниям современников, не было почти работы, кроме вязания, которую бы она не сумела сделать своими тремя пальчиками.

Большое воздействие на впечатлительную, не по летам развитую девочку оказывали картины жизни и быта дворян-однодворцев и крепостных крестьян. «Говорят, – писала Жадовская, – бедных дворян чёрт в корзине нёс, да, проходя по нашей стороне, запнулся за кочку и рассыпал». Жили такие однодворцы целыми деревнями в простых крестьянских избах. «Каждая изба разделялась на две половины: на чёрную и на белую. В чёрной обитали подвластные крепостные семьи, впрочем, и сами владельцы проводили тут большую часть дня; белая содержалась в чистоте и служила парадным отделом для приёма гостей в воскресные и именинные дни». Собирались эти липовые дворяне «по чередам» на вечерние чаепития, судили-рядили деревенские новости, перемывали друг другу косточки. А расставаясь, заводили разговор о колдунах и порчах.

Обычаи и обряды деревенской старины стали колыбелью таланта Ю. В. Жадовской. Буйские и солигаличские

леса, речки и деревеньки, песни, плачи и причитания, пейзажи северной природы – всё запомнилось и всё вошло в её мирозерцание. В рукописной тетради «Сочинения в прозе» (Кострома, 1840) она писала: «Недалеко от нашей деревни находится село, которое мне более нравится по образу жизни его обитателей. Они не имеют хлебопашества, но главное их занятие состоит в покосе травы и собирании хмелю. У них бывает даже род праздника в то время, когда они собираются на свои необозримые луга... Собираение хмелю осенью – также не менее занимательно: их хмельники напоминают виноградники». А в очерке «Проводы Масленицы в уездах Буйском и Солигаличском» Жадовская вспоминала: «Каждая деревня, каждое село считают для себя необходимым всякий год сжигать масленицу, в последний день её. И вот как это бывает: поселяне заранее сносят в поле дрова, солому и прочее и складывают всё это в костёр. Приготавливают также несколько длинных шестов с навязанными на конце их пучками соломы, – в эти пучки кладут горючие вещества, отчего они трещат и вспыхивают, как ракеты. Наступает последний день Масленицы, и каждый с нетерпением ждёт вечера. И вот когда совсем стемнеет, каждая деревня зажигает свой костёр. Огонь бросает странный свет и тени на снег. Зрелище это живописно. Вообразите в тёмный зимний вечер, около 9 часов, в окружных полях вдруг загорится несколько огромных костров, которые осветят перед вами множество деревень, разбросанных в близком одна от другой расстоянии. Жители каждой из этих деревень толпятся вокруг своего костра, пляшут, поют весёлые песни, бегают около него с зажжёнными на шестах пучками соломы в полной уверенности, что костёр их горит и красивее и светлее других. Удальцы перепрыгивают через костёр. Шум, говор, смех. К полуночи все расходятся по домам, оставляя на месте веселья груды пепла и потухающие уголья...» Ранние поэтические опыты Ю. В. Жадовской, написанные в жанре «русских песен» А. В. Кольцова, хранят следы глубокого знания устного народного творчества.

Детские годы Юлии Жадовской открывают тайну особого склада души и характера русского просвещённого человека XIX столетия, тайну самобытности нашей классической литературы. Знакомясь с биографией Жадовской, приходишь к родникам, которые нашу культуру питали, которые определяли её неповторимое национальное лицо. Это особенно остро чувствовали иностранцы. Друг И. С. Тургенева, немецкий писатель Пауль Гейзе, видел его «в интимной близости русского человека к родной почве, к природе», «в редкостном слиянии светского человека с простым крестьянским укладом души», уже невозможном для просвещённого человека Запада. Этот синтез высокой европейской образованности с народно-крестьянской душевной цельностью давала русскому писателю деревенская дворянская усадьба. Буйские детские впечатления питают лучшие страницы поэзии и прозы Юлии Жадовской.

Раннему душевному созреванию Жадовской способствовал и её врождённый недостаток. Девочка чувствовала себя неловко в кругу ровесников и друзей, часто предпочитала уединение. «Напрасно думают, – писала она, – что уединение успокаивает и умиряет душу; ничто так не волнует её... Чем меньше шуму извне, тем слышнее внутренний голос. Пробуждаются, встают и волнуются вечно заманчивые – потому что вечно безответные – вопросы о тайнах жизни и сердца; налетают мечты, приходят – незванные гости – надежды; загорается душа верою в счастье и жаждою любви».

Но затворницей Ю. В. Жадовская никогда не была. Двоюродная сестра её вспоминала: «Наружность Жадовской была очень симпатична... Она была среднего роста, тонка и чрезвычайно грациозна в молодости, несмотря на свой недостаток. Цвет лица у неё был очень нежный; длинные, густые, мягкие, как шёлк, волосы орехового цвета опускались ниже колен. Глаза тёмно-серые, задумчивые и грустные; ноги были замечательно хороши и гибки. Характер её был чрезвычайно ровный, весёлый и даже резвый от природы; со временем горе и тяжелая жизнь уничтожили

в ней живость и шаловливость; но никогда никто не видел её мрачной и унылой; она так умела скрывать свои физические и душевные страдания, что даже самые близкие люди едва замечали их... Соображая всю её жизнь, приходишь к заключению, что она была глубоко несчастная женщина, и удивляешься, как до самой смерти она могла сохранить такую ясность духа, такую ровность характера».

«Жадовская, – отмечает исследователь её творчества В. А. Благово, – действительно обладала мягким характером. Она никому – „ни дальним и ни близким“ – не хотела и не сделала ни малейшего зла, первая забывала обиды и никогда не напоминала о них. В высшей степени благородная натура, Жадовская меньше всего заботилась о личном благе. Все свои душевные силы и волю она направляла на то, чтобы сохранить спокойствие и скрыть своё горе. В повести Жадовской „Сила прошедшего“ главная героиня носит имя Юлии. Если даже признать именное сходство случайным, то психологическая характеристика литературного образа соответствует личности Жадовской в полной мере: „При врождённой мечтательности, Юлия обладала быстрым, восприимчивым умом. Она принадлежала к числу тех созданий, которые рано выходят из детства, рано начинают понимать жизнь, верно угадывают её, по врождённому, всепроницающему инстинкту. Пламенная, восторженная в душе, она всегда умела казаться солидною, умела примиряться с жизнью и заставить любить себя всех, кто её знал вблизи: в ней преобладал какой-то природный такт, заставлявший её приноравливаться к людским понятиям, преобладало также чувство особенной, врождённой доброты к людям, по которому она легко извиняла другим слабости, которых не прощала себе. И горе, и радость глубоко западали ей в душу; раз допущенная привязанность не скоро выходила из неё. При жизни отца она полюбила молодого человека, за которого старик, по разным дельным и не дельным причинам, не хотел отдать её“.

Эти два портрета нисколько не противоречат, а органически дополняют друг друга. Облик Жадовской молодых

лет приближается к женским образам, созданным в русской литературе Гончаровым и Тургеневым». Именно глубокая национальная укоренённость определила своеобразие поэтического таланта Ю. В. Жадовской.

2

Когда девочке исполнилось восемь лет, бабушка, несмотря на всю свою привязанность к внучке, решила расстаться с ней и увезла на обучение в Кострому к своей дочери Анне Ивановне Корниловой (Готовцевой) (1800–1871), которая деятельно принялась за образование своей племянницы. Обладая незаурядными педагогическими способностями, она сама преподавала ей языки, географию, историю. Под её руководством девочка начала писать в Костроме прозу и стихи.

В доме Корниловых на бывшей Ильинской улице (ныне ул. Чайковского, д. 11) произошла встреча юной Жадовской с Юрием Никитичем Бартеневым, тоже оказавшим большое влияние на становление её поэтического таланта. «Да не удивит вас моя привязанность, – писала Ю. В. Жадовская Ю. Н. Бартеневу в марте 1852 года. – Много лет тому назад меня вырвали из тёплого и мирного уголка, где я жила с моей старушкой бабушкой, окружённая привязанностью самой искренней, ласками самыми нежными. Меня привезли в губернский город, который казался мне тогда столицей, в дом, который по моим понятиям был очень великолепен и огромен. Мне было 8 лет; в семействе Корниловых не было мне равных; все были заняты своими интересами, то есть выездами и балами. Я терялась в этом мире, столь новом и столь чуждом для меня. В сердце у меня стало образовываться какое-то тёмное, тяжёлое чувство, нечто вроде тоски по родине. Я плакала потихоньку, потому что участие, возбуждаемое моими слезами, было мне плохим утешением, делало меня только скрытнее. Однажды я осталась одна в доме; мне было грустнее обыкновенного; мрачный, зимний день глядел в окна. В гостиную вошёл гость, незнакомый мне. Обратясь ко мне с вопросом о тётке, он устремил на меня

проницательный, ласково-серьёзный взор – и всё существо моё оживилось и затрепетало под влиянием этого взора... С того дня в детском мире моём засияла новая звезда, зазвучали речи сладкие, дотоле неведомые мне, озарившие моё сердце каким-то благодатным светом, живительной теплотой. С увлечением читала я маленькие книжки, которые дарил мне этот добрый гений, Юрий Никитич Бартенев, и тоска моя стихала, и в глубине души заводился зародыш нравственной силы».

Именно здесь, в Костроме, появились первые литературные опыты Ю. В. Жадовской – рукописная тетрадь произведений в прозе, переводы Гёте, Шиллера, оригинальные стихи. Тогда и отец вспомнил, что ему пора заняться образованием дочери: он поместил Юлию в частный костромской пансион Прево де Люмьен. Жадовская оказалась в нём самой способной и знающей девочкой. Преподаватель русской словесности Александр Фёдорович Окатов, кандидат Московского университета, где он учился вместе с В. Г. Белинским и К. С. Аксаковым, убедился, что Жадовская превосходно владеет русским языком и что преподавать грамматику ей излишне. Не мудрствуя лукаво, он предложил ей штудировать «Чтения по словесности» И. И. Давыдова. Эту книгу Окатов почитал особо, так как в неё вошла глава, сочинённая в студенческие годы им самим. Вскоре и тётке, и самой воспитаннице стала очевидной бессмысленность пансионского обучения. По некоторым сведениям, и пансион к этому времени закрылся. Тогда отец решил взять дочь к себе домой, в Ярославль. Это случилось, по-видимому, в 1839 или в 1840 году.

3

Для продолжения образования дочери Валериан Никандрович пригласил на домашние уроки молодого учителя Ярославской гимназии Петра Мироновича Перевлесского (1815–1871), впоследствии известного учёного, профессора Александровского лицея, автора популярных учебных книг «Русское стихосложение», «Грамматика старославянского

языка», «Практическая русская грамматика», издателя сочинений М. В. Ломоносова, А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского. Перевлесский увлечённо развивал в своей воспитаннице художественный талант. Первый успех ждал Юлию Валериановну в 1841 году, когда в журнале «Москвитянин» было опубликовано её письмо о приезде в Ярославль императора Николая I. Затем, в 1843 году, здесь появились её заметки о проводах масленицы в Буйском и Солигаличском уездах и первые стихи «Лучший перл таится...» и «Много капель светлых...», а в 1844 году – «Водяной». Вместе с Жадовской печатает этнографические заметки в «Москвитяине» и сам Перевлесский.

В течение трёх лет он посещает в роли учителя дом Жадовских. Дружба молодых людей незаметно для них самих перерастает в сердечную привязанность. Узнав о таланте дочери, отец, жертвуя скромными доходами, выписывает для Юлии всё, что выходит в литературе значительного, вывозит дочь в Москву и Петербург для установления связей с литературными кругами столиц. Талант Юлии является его утешением и гордостью, удовлетворением тщеславных чувств. Но он и в мыслях не допускает, чтобы его дочь, родовитая дворянка, подающая надежды поэтесса, могла влюбиться в бывшего семинариста, сына ярославского дьякона.

В романе «В стороне от большого света» Жадовская правдиво показала характер отца: «Дух неудержимого противоречия царствовал в душе этого человека; он противоречил всем и каждому; противоречил даже самому себе, если слышал собственные свои мнения в устах других... В домашней жизни он создал себе железный трон, и воля его близких, нравственная самостоятельность их личности разбивались об этот трон. Он преследовал их даже в самых намерениях, он подозревал, угадывал эти намерения... и громил, душил, давил их своими грозными, раздражающими сентенциями...»

Здесь-то и постигает Юлию жизненный удар, от которого она не оправится до последних дней своих. Отец категорически отказывает молодым в благословении на

брак. Ни слезы, ни страдания дочери не могут укротить его деспотизм:

Оскорбят тебя люди жестоко,
Опозорят святыню души;
Будешь, друг мой, страдать одиноко.
Лить горячие слезы в тиши...

Одна из героинь Ю. В. Жадовской говорит: «Можно любить и два раза в жизни, всё зависит от того, сколько сил унесёт первая страсть. Оборвите весной почки с дерева, оно пустит новые, сделайте это позднее, в нём уже не будет сил распуститься». У Жадовской такие силы нашлись, но распустились они не в жизни, а в поэзии.

«Оплакивание первой любви, так безжалостно задушенной в самом ярком её расцвете, занимает наиболее видное место среди этих песен женской неволи, – писал в своё время литературный критик А. М. Скабичевский. – Стоит только представить себе девушку, похоронившую безвозвратно своё молодое счастье и влачащую долгие и бесконечные годы однообразной жизни под игом сурового и ворчливого старика, без всякой надежды впереди. Стоит представить себе её среди ночной тишины и бессонницы, когда с особенной яркостью воскресают все дорогие воспоминания, – чтобы понять мрачный трагизм таких хотя бы обращений к своему заснувшему сердцу:

Ну, слушай же – ещё воспоминанье, –
И если от него ты не проснёшься –
Тогда уж спи, тогда уж вечно спи!..
Ты помнишь ли тяжёлый час разлуки,
Разлуки с тем, кого так безгранично,
Доверчиво, восторженно любило.
Чьё имя было для тебя святыней,
О ком и мысль казалась молитвой?
Ты помнишь ли последнее свиданье
В печальной комнатке, где всё так бедно,
Где по стенам лоскутьями обои
Висели; где всё украшеньё было

В углу с блестящей ризою икона,
Да перед ней хрустальная лампада?
Ты помнишь ли, как весь он был взволнован.
Как он мечтал о том заветном счастье,
Которому не сбыться суждено?
Ты помнишь ли, как он, мужчина, плакал?
Ах, с той поры на бедную меня
Обрушилось так много, много горя, –
Забвенье, холод, боль, пренебрежение,
Глубокое, немое оскорбление,
На дно души упавшее как камень
Тяжёлый, – всё изведано глубоко!»

И, однако, главным достоинством лирики Жадовской является не социальная тема, а глубокий психологический анализ, поэтическое проникновение в тайны влюблённой женской души. Тематическая палитра её лирики гораздо богаче определения «песни женской неволи», которое за ней закрепила критика. Сложнее, по-видимому, оказалась и та любовная драма, которая определила основной мотив её поэзии. Ведь и лирика, и личные воспоминания Юлии Жадовской говорят не только о внешних препятствиях (запрет отца), но и о внутреннем драматизме её любовного романа с Перевлесским.

Вот что писала об этом Ю. В. Жадовская в письме к Ю. Н. Бартеневу от 6 октября 1850 года: «Однажды в жизни моей набежала на меня страсть; но не опрокинула, не уничтожила меня, хоть и больно помяла. Я встретила её борьбой, упорной и смелой, долго боясь, не мираж ли это молодого сердца. После посильного испытания я душой ей предалась. Весь мир исчез для меня, все думы, все помышления сосредоточились на одном человеке... Так шли целые годы. Но пришлось мне наконец испытать и уверяться, тоже целыми годами, – в том, что есть самого тяжёлого и безотрадного в любви: ошибки в человеке и забвении... Глаза мои открывались медленно, а судьба будила меня. Я проснулась и чуть не умерла в первые минуты тоски и разочарования... Но в отчаяние не пришла. Нет! Я не хотела так дёшево

отдать мои душевные способности. Пусть лучшие мечты и надежды разбиты, пусть разбито и сердце... но я умела ещё отыскать в жизни много такого, для чего стоило жить. Сердечное ослепление спало, я гляжу на многое глазами истины, которой жаждет душа моя, и действительности, которую уважаю. Я понимаю теперь, что человек, умирающий на соломе, без куска хлеба, несчастлив не меньше обманувшейся в своих лучших надеждах женщины. Вот отчего, мой друг, я кажусь иногда сухой и холодной, более сподручной подругой ума, нежели сердца. Рано я почувствовала, что сердцу моему не надо давать воли – иначе и ему, и мне придётся плохо, как пришлось бы человеку, который бы, правя бешеным конём, загляделся и выпустил вожжи... Вот почему я привыкла быть всегда настороже, приводить всякое, даже мимолётное ощущение в полное сознание и сбрасывать с души все эффектные, сентиментальные погремушки». Вот откуда идёт ощущение внутреннего драматизма человеческих чувств и переживаний, свойственное лирике Жадовской. В стихотворении «Лучший перл таится...» она говорит о том, что всё прекрасное в человеке рождается в сильных душевных потрясениях:

Надо сильно чувству
Душу потрясти,
Чтоб она, в восторге,
Выразила мысль.

По-видимому, и сам Перевлесский не проявил должной настойчивости и душевной силы, сыграв типичную для молодых людей эпохи Онегиных и Печориных роль «лишнего человека» и усугубив страдания влюблённой в него девушки. Об этом есть намёк в цитированном Скабичевским стихотворении «Пробуждение сердца». Жадовская пишет здесь:

Послушай же, теперь ещё тебе припомню
И грустное, и мрачное мгновенье:
Был зимний день; бледнея, догорал

Последний луч печального заката,
А он, тот странный, жалкий человек,
Со страстью на словах, с бессилием в поступках,
Молил меня о взгляде, об улыбке...

В стихах «Ты скоро меня позабудешь...» Жадовская обнажает глубокий контраст между чувством любящей девушки и увлечением избранника её сердца. Его любовь обыкновенна, как у большинства светских молодых людей, способных менять предметы своих увлечений. И лирическая героиня находит в себе силы не только простить за это легковверного юношу, но и пожелать ему от своего щедро любящего сердца счастья и любви к другой девушке:

Ты новые лица увидишь
И новых друзей изберешь;
Ты новые чувства узнаешь
И, может быть, счастье найдёшь.

Ни укора, ни упрёка из уст героини не раздаётся. Во имя самоотверженной любви она оставляет собственные страдания невысказанными, запертыми в глубине души:

И как я люблю и страдаю –
Узнает могила одна!

Такого драматизма любовных переживаний в начале 1840-х годов не знала русская поэзия. Открытия Тютчева и Некрасова на этом пути ещё впереди. Поэтесса проникает в сокровенные тайники женской души. Она показывает, например, что любовь может продолжаться и тогда, когда непосредственные отношения между любящими давно прервались. Любимого нет, а чувство живо: оно не только сохраняет по-прежнему свою власть над душой, но ещё и развивается, видоизменяется, растёт. Таковы, например, стихи Жадовской «Я всё ещё его, безумная, люблю!..», ставшие популярным романсом на музыку А. С. Даргомыжского. Это не воспоминания о былом чувстве, а продолжающая жить любовь с новыми взлётами

и падениями, способными то сжимать грудь тоской, то дарить мгновения тихой отрады:

Я всё ещё его, безумная, люблю!
При имени его душа моя трепещет;
Тоска по-прежнему сжимает грудь мою,
И взор горячею слезой невольно блещет.
Я всё ещё его, безумная, люблю!
Отрада тихая мне душу проникает,
И радость ясная на сердце низлетает,
Когда я за него Создателя молю.

Бывают странные сближения. Триумф этого романа, навсегда прославившего имя Ю. В. Жадовской, связан с Полиной Виардо, которая исполнила его, обращаясь к И. С. Тургеневу, в Москве, весной 1853 года. Это было очень тревожное время в жизни Тургенева. Высочайшей волей он был сослан тогда в Спасское-Лутовиново без права выезда за пределы Орловской губернии. С января 1853 года Полина Виардо гастролирует в России, но Тургенев узнает об этом из газет. «Признаюсь, хотя без малейшего упрёка, что я предпочёл бы узнать всё это от вас самой. Но вы живёте в вихре, отнимающем у вас время, – и лишь бы только вы не забыли обо мне, мне больше ничего не нужно». В марте, когда гастроли продолжаются в Москве, Тургенев не выдерживает и с фальшивым паспортом, в купеческом костюме, отчаянно рискуя, отправляется в Москву.

«Это было в конце марта, перед Благовещением, вскоре после того, как я в первый раз тебя увидел, и, ещё не подзревая, чем ты станешь для меня, уже носил тебя в сердце – безмолвно и тайно. Мне пришлось переезжать одну из главных рек России. Лед ещё не тронулся на ней, но как будто вспух и потемнел; четвертый день стояла оттепель. Снег таял кругом – дружно, но тихо; везде сочилась вода; в рыхлом воздухе бродил беззвучный ветер. Один и тот же, ровный, молочный цвет обливал землю и небо; тумана не было – но не было и света; ни один предмет не выделял-

ся на общей белизне; всё казалось и близким, и неясным. Оставив свою кибитку далеко позади, я быстро шёл по льду речному – и, кроме глухого стука собственных шагов, не слышал ничего; я шёл, со всех сторон охваченный первым млением и веянием ранней весны... И понемногу, прибавляясь с каждым шагом, с каждым движением вперёд, понималась и росла во мне какая-то радостная, непонятная тревога... Она увлекала, она торопила меня – и так сильны были её порывы, что я остановился наконец в изумлении и вопросительно посмотрел вокруг, как бы желая отыскать внешнюю причину моего восторженного состояния. Всё было тихо, бело, сонно; но я поднял глаза: высоко в небе неслись станицей перелётные птицы... „Весна! Здравствуй, весна! – закричал я громким голосом, – здравствуй, жизнь, и любовь, и счастье!“ – и в то же мгновенье, с сладостно потрясающей силой, подобно цветку кактуса, внезапно вспыхнул во мне твой образ – вспыхнул и стал, очаровательно яркий и прекрасный, – и я понял, что я люблю тебя, тебя одну, что я весь полон тобою...»

Полина Виардо ответила на любовный порыв Тургенева романсом на стихи Жадовской, исполненным ею порусски. Это пение настолько потрясло тогда публику, что даже далекий от круга Тургенева поэт В. Г. Бенедиктов не выдержал и посвятил свершившемуся событию восторженные стихи:

Безумная

(После пения Виардо-Гарсии)

Ты сердца моего и слёз и крови просишь,
Певица дивная! – О, пощади, молю.
Грудь разрывается, когда ты произносишь:
«Я всё ещё его, безумная, люблю».
«Я всё ещё» – едва лишь три ты эти слова
Взяла и вылила их на душу мою, –
Я всё предугадал, – душа моя готова
Уже заранее к последнему «люблю».
Ещё не сказано «люблю», – а уж стократно

Перегорел вопрос в груди моей: «Кого?»
И ты ответствуешь: «Его». Тут всё понятно,
Не нужно имени, – о да, его, его!
«Я всё ещё его...» Кружится ум раздумьем...
Мутятся мысли... Я жду слова – и ловлю:
«Безумная» – да, да! – И я твоим безумьем
Подавлен, потрясён... И, наконец, – «люблю».
«Люблю». С тобой весь мир, природа, область Бога
Слились в глубокое, безумное «люблю».
О, повтори «люблю»... Нет, дайдохнуть немного!
Нет, не хочу дышать – лишь повтори, молю.
И вот «Я всё ещё», – вновь начал райский голос.
И вот опять – «его» – я вздох в груди давлую...
«Безумная» – дрожу... Мне страшно... дыбом волос.
«Люблю» – хоть умереть от этого «люблю».

В стихах Жадовской любовь предстаёт как чувство динамичное, сложное, развивающееся. В «Признании», например, лирическая героиня пытается сперва скрывать свои чувства, сдерживать их свободное проявление, испытывая и стыд и страх. Но вот наступает момент, когда эта сдержанность становится невыносимой: падают все преграды, рассудок уступает место страстному порыву. В другом стихотворении «Прощай» – закат любовных отношений с горькой разлукой впереди. Удивляет здесь мужество, душевная сила героини, достойно принимающей жизненный удар. Она не жалуется, не плачет, не тешит себя никакими надеждами и иллюзиями. Не требуя участия к себе, она желает счастливой жизни для любимого: и «всех прелестей бытия», и «блеска земного счастья», и новой любви. В лирике Жадовской покоряет читателя нравственный облик героини, её способность подняться над собой, над своим горем, одолеть свой эгоизм могучей силой самоотвержения. И, словно в награду за это мужество, живое чувство любви вспыхивает вновь при звуках песни, при весеннем пробуждении природы («Сила звуков», «Ты всюду предо мной»).

В. А. Благово обратил внимание на глубокие национальные корни поэзии Ю. В. Жадовской. «Лирический

образ девушки, созданный Жадовской, созвучен женским образам народной лирики и песен Кольцова». В стихотворении «Всё бы я сидела да глядела», например, «мы встречаемся с характерным для русской песни приёмом „ступенчатого сужения образа“: более высокое и далёкое небо, затем поле и дальний лес и, наконец, сам человек. Но дело в том, что „конечным“ образом является тоска, нечто беспредметное и никак несравнимое с конкретным небом, полем и лесом. Поэтому весьма кстати и пришлось сравнение „будто камень“, оно помогает „зримо“ представить тяжесть переживаний. Этому способствует и дальнейшая метафоричность образов („весна расцвела“, „любовь светила“, „душа трепетала“). Такому подробному и вместе с тем цельному построению отвечает и стилистико-образная система песни. Каждая часть является вполне законченным речевым периодом, начинающимся „Всё бы я...“, с прерывающимся „цепным стихом“. В первой части после разрыва „цепи“ идёт единоначатие строк, как бы ритмически продолжающее её. Затем свободное повторение последних слов строки создает ассоциативно-цепочную связь („поле“ – „там вдали“, „лес дремучий“ – „а в лесу“, „ветер“ – „ветер“). И, наконец, для сохранения заданного музыкального повтора глаголы одной формы („трепетала“, „расцвела“, „светила“) завершают композицию. В каждой части мы видим непохожие одна на другую ритмические единицы, но они тесно связаны между собой, точно так же, как и начала частей. „Всё бы я теперь сидела да глядела“ является рефреном песни, имеющим свой видоизменённый вариант – „Век бы целый на него я глядела!“ Мы встречаемся с гибким и тонким употреблением художественных средств народной поэтики, цельной и законченной картиной психологического состояния».

Устойчивая связь любовной лирики Жадовской с народно-песенной традицией привлекла внимание М. Глинки и А. Даргомыжского: она и породила особую популярность созданных ими романсов.

В 1851 году Перевлесского перевели из Ярославля в Петербург. Весной 1858 года Жадовская встретила

с ним уже в столице – и в последний раз. Перевлесский стал теперь известным профессором Александровского (бывшего Царскосельского) лицея. В «Сыне Отечества» Жадовская опубликовала стихи, раскрывающие неизбывный драматизм этой встречи:

После долгой, тяжёлой разлуки,
При последнем печальном свиданье
Не сказала я другу ни слова
О моём безутешном страданье;
Ни о том, сколько вынесла горя.
Ни о том, сколько слёз пролила я.
Как безрадостно целые годы
Понапрасну его всё ждала я.
Нет, лишь только его увидала,
Обо всём, обо всём позабыла;
Не могла одного лишь забыть я –
Что его беспредельно любила...

По-видимому, к середине 1840-х годов относится портрет Ю. В. Жадовской, выполненный художником Н. А. Лавровым. Самое поразительное в этом портрете – глаза, грустные, задумчивые. Кажется, что девушка прячет от людей себя, свою обиду, свою неизжитую боль. По словам В. А. Благово, «художник сумел передать романтическую приподнятость её души и надломленность её судьбы, мягкость характера и личную беспомощность, силу ума, пылкость природы и неизлечимую болезнь, что в народе зовется тоской. Этот портрет соответствовал романтическому изображению лирической героини в поэзии Жадовской и чудесному описанию молодой Жадовской, данному в воспоминаниях Н. Федоровой».

В повести Жадовской «Непринятая жертва», написанной в 1847 году, рассказывается о любви дворянской девушки к талантливому живописцу из мещан, который пишет её портрет. Суровый и деспотичный дядюшка, в доме которого живет героиня, узнает об этом, когда художник отказывается принять деньги за портрет. Эрова – такова фамилия

художника в повести – позорно изгоняют из дома, девушка, готовая на любую жертву, пишет ему записку. Но рассудок останавливает Эрова от решительного шага, жертва героини остается непринятой. Трудно во всей этой истории отделить правду от вымысла. Возможно, вся она – плод фантазии Жадовской, которая во всех своих произведениях повторяла в разных вариациях один и тот же ранивший её душу в юности конфликт.

В трудные годы личных несчастий и неудач Ю. В. Жадовская предпринимает ещё одну попытку зацепиться за ускользающую от неё жизнь. В девятнадцатилетнем возрасте, по согласию отца, она берёт на воспитание осиротевшую восьмилетнюю двоюродную сестру, дочь дяди, Петра Ивановича Готовцева. «Юлия Валериановна посвятила мне всю жизнь свою, – вспоминала с благодарностью Настасья Петровна, – а после смерти моей матери вполне заменила мне её». Любопытно, что Жадовская в воспитании девочки проявила блестящие педагогические и артистические способности. «Метода её образования была очень оригинальна: она заключалась в игре, которая росла вместе со мной, – писала Н. П. Федорова. – Сюжет этой игры был очень простой: две сестры воспитывались у сурового опекуна, у них была гувернантка, к ним приходили учителя. Всех – и учителей, и гувернантку, и опекуна, и старшую сестру – представляла сама Юлия Валериановна, обладавшая при этом замечательным сценическим талантом». Сохранился любопытный документ – дневник Настеньки Готовцевой (в замужестве Фёдоровой) с пометами её «учителя, гувернантки и опекуна».

4

В 1846 году Жадовская решила на издание первого сборника своих стихотворений. К этому подталкивали её и литературные друзья, тогда уже многочисленные. Отец отправил поэтессу в Москву, некоторое время она жила в Петербурге. Её письменно приветствовал известный тогда поэт Эдуард Иванович Губер, предлагая свои советы

и помощь, если она решится напечатать свои произведения отдельной книжкой. Принимал участие в судьбе Жадовской и Михаил Павлович Вронченко, переводчик Гете и Байрона. Он привязался к талантливой девушке и до смерти своей был её руководителем. Одно время Жадовская снимала квартиру у М. В. Петрашевского и была знакома с поэтом-петрашевцем А. И. Пальмом.

В первый поэтический сборник, вышедший в свет в апреле – мае 1846 года, Жадовская тщательно отобрала 58 стихотворений и композиционно выстроила их как лирический дневник. Этот сборник явился итогом первого этапа творчества поэтессы 1840–1845 годов. Значительную часть его составили «русские песни», созданные в 1840–1844 годах, в подражание А. В. Кольцову («Звёзды», «Я люблю смотреть...», «Ветер», «Соловей», «Ночь», «Водяной», «Русалка», «В сумерки», «Бывало прежде...»). Вторую жанровую группу сборника составили «думы» – поэтические декларации («Лучший перл таится...», «Много капель светлых...»), философские размышления о людях и мире («Жизнь и море», «Цветок»), раздумья о смене поколений («Две сестры», «Дитя», «Ребёнку»), религиозные стихи – «Стремление», «Молитва» (Молю Тебя, Создатель мой...), «Молитва» («К Тебе, Всемогущий...»), «Искушение», «Молитва» («Мира Заступница, Мать всепетая!...»), «Ангел Хранитель», «Жажда небесного», «Совет». К «думам» примыкают стихи о природе – «Приближающаяся туча», «Возврат весны», «Вечер и утро», «Вечер», «Бабушкин сад». Но ключевую, скрепляющую роль в композиции сборника выполняет любовная лирика – «Возврат весны», «Мне грустно; осеннее небо угрюмо...», «Ты скоро меня позабудешь...», «Сожаление», «Теперь не то...», «К***», «Я плачу», «Что так неожиданно...», «Короткая повесть», «Я всё ещё его, безумная, люблю!...», «Любовь», «Полуразгаданный вопрос». «Любовь усыплю я, пока ещё время холодной рукою...» и др.

Сборник 1846 года обратил на себя внимание многих русских критиков. В. Г. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» посвятил его разбору несколько страниц. Его отзыв был суровым: Белинский объявил

тогда войну романтизму, боготворил прозу и считал, что дни русской поэзии сочтены («роман всё убил и всё поглотил»). Отметив в стихах Жадовской «чего-то вроде поэтического таланта», Белинский упрекал поэтессу в романтической мечтательности. «Жаль только, что источник вдохновения этого таланта не жизнь, а мечта, и что поэтому он не имеет никакого отношения к жизни и беден поэзией. Это, впрочем, выходит из отношений г-жи Жадовской к обществу, как женщины. Вот стихотворение, которое вполне объясняет это положение:

Меня гнетёт тоски недуг;
Мне скучно в этом мире, друг;
Мне надоели сплетни, вздор –
Мужчин ничтожный разговор.
Смешной, нелепый женщин толк.
Их выписные бархат, шёлк,
Ума и сердца пустота
И накладная красота.
Мирских сует я не терплю,
Но божий мир душой люблю,
Но вечно будут милы мне –
И звёзд мерцанье в вышине,
И шум развесистых дерёв,
И зелень бархатных лугов,
И вод прозрачная струя,
И в роще песни соловья.

Нужно слишком много смелости и героизма, чтобы женщина, таким образом отстранённая или отстранившаяся от общества, не заключилась в ограниченный круг мечтаний, но ринулась бы в жизнь для борьбы с нею, если не для наслаждения, которого возможности не видит в ней. Г-жа Жадовская предпочла этому трудному шагу безмятежное смотрение на небо и звёзды. Почти в каждом своём стихотворении не спускает она глаз с неба и звёзд, но нового ничего там не заметила. Это не то, что Леверье, который открыл там планету Нептун, до него никем не знаемую.

Левверье больше поэт, чем г-жа Жадовская, хоть он и не пишет стихов. Охотно согласимся с теми, кто найдёт наше сближение неуместным или натянутым; но всё-таки скажем, что смотреть на небо и не видеть в нем ничего, кроме общих фраз, с рифмами или без рифм, – плохая поэзия!»

Примечателен вызов Белинского Жадовской: «Нужно много смелости и героизма, чтобы женщина... не заключилась в ограниченный круг мечтаний, но ринулась бы в жизнь для борьбы с нею...». Увы! Героизмом и решительностью в том смысле, в каком ожидал их от «эмансипированной» русской женщины Белинский (вспомним его упрек пушкинской Татьяне в статье о романе «Евгений Онегин»!), Жадовская не обладала. Сказалось здесь и русское патриархальное воспитание, и личные, известные нам, но неизвестные Белинскому, причины.

Высокую оценку сборнику дал другой талантливый критик конца 1840-х годов – Валериан Майков. Он впервые почувствовал и оценил по достоинству то, что выгодно отличало поэтические опыты Жадовской от эпигонских романтических стихов, заполнявших в 40-е годы страницы поэтических сборников и журналов. В стихах Жадовской его привлекла «чистая непосредственность». Содержание сборника «Стихотворения», по его мнению, «вполне выражает собою общий характер и общественное положение женщины и потому заслуживает уже полного внимания людей мыслящих, независимо от таланта нового поэта. Темой всех её стихотворений служит внутренняя борьба женщины, которой душа развита природой и образованием, со всем тем, что противодействует этому развитию и что не может с ним ужиться. Это полная, хотя и краткая история женской души, исполненной стремления к нормальным условиям жизни, но встречающей на каждом шагу противоречия и преграды своему стремлению не в одних внешних обстоятельствах, но и в собственных недоразумениях, колебаниях и самообольщениях. <...> Стихотворения г-жи Жадовской прежде всего поразили нас со стороны своего содержания тем, что все они как будто бы принадлежат к разным периодам развития поэта. Но скоро это самое

обстоятельство и дало нам в наших глазах большую занимательность: мы увидели перед собою живое изображение идеи развития женской натуры».

Друг Пушкина П. А. Плетнёв отозвался на выход в свет поэтического сборника Ю. В. Жадовской в статье, опубликованной в журнале «Современник» (1846. Т. 43): «Самое настроение поэзии сочинительницы обнаруживает самобытность её таланта. Она выразила стихами внутренний мир, свой мир женщины, чувствующей, мечтающей, любящей, надеющейся и верующей». И. С. Аксаков писал своим родным в декабре 1846 года из Калуги: «Я достал здесь себе стихотворения Жадовской и обрадовался им чрезвычайно. Так всё свежо, чисто грациозно... Право, в наше время, когда нет стихотворения без вопроса, мысли или цели, готов писать снова стихи к мотыльку, но для нас это невозможно и было бы искусственно, а для женского нетронутого сердца это ещё, слава Богу, так возможно; ей ещё доступна бескорыстная поэзия». Наконец, рецензент «Библиотеки для чтения» (1846. Т. 77) отметил, что в произведениях Ю. В. Жадовской «видно сильное дарование; везде проглядывает глубокое чувство или замечательная мысль; она пишет не по заказу, не от нечего делать, а по неодолимому влечению души, по глубокому поэтическому призванию». В прекрасном стихотворении («Лучший перл таится...») она «выразила мысль, что только сильное чувство должно увлекать и вдохновлять поэта... Местами видно, что поэт ещё не вполне подчинил себе форму, иногда стих упрямится, рифма не слушается мысли, – но это первые опыты, первые произведения, богатый задаток на будущее время».

5

Вплоть до начала 1860-х годов Жадовская не оставляет своей поэтической деятельности, периодически совершая выезды в Москву и Петербург. В Москве она общается с А. С. Хомяковым, М. Н. Загоскиным, Ф. Н. Глинкой, И. С. Аксаковым. Самое живое участие в её писательской судьбе принимает Ю. Н. Бартнев: он знакомит Жадовскую с издателем журнала «Москвитянин» М. П. Погодиным,

который охотно печатает её стихи. Желая представить читателям своего журнала личность постоянного и популярного автора, Погодин публикует на его страницах письмо Жадовской, адресованное Ю. Н. Бартеневу: «Вот я опять в Ярославле. После пятидневного томления ужаснейшей дороги, я захворала, потом говела и приобщалась, а теперь не успела оглянуться, как уже и праздник на дворе, и поздравление не будет некстати. Пусть письмо скажет вам за меня отрадное: Христос воскрес! Хорошо, если б оно сумело рассказать вам и все тёплые и нежные чувства, которыми полна душа моя, когда думает о вас и о вашей супруге. Да где!... Есть вещи и предметы, которые только профанируются словами...

Прошло около двух часов, как я написала эти строки. Всё это время я просидела без движения, поддавшись какому-то невольному раздумью. Мысли одолели меня. А беда, как мысль овладеет человеком. Что ни станет говорить, выходит путаница. Надо, чтоб человек владел мыслью, – тогда, что ни сольётся с языка или с пера, будет носить отпечаток ясности и силы душевной. Как не задуматься? И небо ясно, и солнце светит, да и дни так велики, так святы. В ушах звучат слова страдания и искупления. Скоро сменит их торжественная песнь воскресения, – а человек живёт по горло в грязи и тине страстей и заблуждений... Как будто не для него звучит эта песнь, не за него умер Искушитель! – Продумала я, и не кончу сегодня письма! Прощайте до завтра.

На другой день. С добрым утром, почтенный и дорогой друг мой! Утро сегодня ясно и весело; маленькая комнатка моя облита лучами солнца; зелень на окнах будто улыбается; цветки жасмина дышат ароматом. Мне кажется, что эти цветы, бледные и благоуханные, гармонируют с моею жизнью... Оттого я люблю их более других цветов. – Мне что-то особенно хочется получить от вас письмецо. На этот раз мне нечего послать вам из моих сочинений. Наш сборник [„Ярославский литературный сборник“ 1849] обобрал меня. – Повесть мою „Непринятая жертва“ я перепису для Вас, если вы пожелаете, в том виде, как она вышла

из-под пера моего. Мне отрадно знать, что вы читаете мои произведения. Я не сочиняю их, а выбрасываю на бумагу, потому что эти образы, эти мысли не дают мне покоя, преследуют и мучат меня до тех пор, пока я не отвяжусь от них, перенеся их на бумагу. Может быть, оттого и носят они печать той задушевной искренности, которая нравится многим. Ярославль. 1849. Марта 30».

Весной 1849 года Жадовская посещает в Петербурге мастерскую К. Брюллова и пишет об этой встрече восторженные стихи. В Ярославле она знакомится с сыном известного декабриста Е. И. Якушкиным, называя его «рыцарем без страха и упрека». В начале 1860-х годов Жадовская опекает начинающего поэта Л. Н. Трефолева. По его воспоминаниям, она заклинала юношу именем святой поэзии «изучать, как можно более изучать Белинского и Добролюбова». Она убеждала его, что, «кроме книжной, идеальной любви к народу, не мешает выразить её практически, хотя бы при помощи одной книги, самой лёгкой и вместе с тем самой трудной: русского букваря». В эти годы растут демократические симпатии поэтессы, её начинают волновать общественные вопросы, она приветствует в своих стихах гражданскую музу Н. А. Некрасова:

Стих твой звучит непритворным страданьем,
Словно из крови и слёз он восстал!
Полный ко благу могучим призваньем,
Многим глубоко он в сердце запал...

В письме к профессору И. Н. Шиллю от 14 июля 1858 года Жадовская замечает: «Нет, после Белинского критика наша не та. Он один умел хотя и резко, но верно обозначить достоинство того или другого произведения. Его сухая правда ценилась мною дорого». Белинскому она посвящает такие стихи:

Не твердил он мне льстивых речей,
Не смущал похвалою медовой,
Но запало мне в душу навек
Его резко-правдивое слово...

Именно теперь Жадовская находит выход из личного горя и одиночества. Крепнет в поэзии её лирический голос, сливаясь с голосом страдающего народа русского. Неутолённая любовь находит выход в сострадательном чувстве к малому и слабому, в ощущении своего единства с горькими судьбами простых людей. Чужая беда, чужое горе, чужая боль помогают Жадовской справиться со своими собственными душевными недугами. Появляются стихи «Всё бы я сидела да глядела», в которых личная драма сливается с драмой песенной, фольклорной героини. Наконец, личное горе как бы растворяется в скудной природе нашего сурового северного края, в драме жизни русского крестьянина:

Грустная картина!
Облаком густым
Вьётся из овина
За деревней дым...

В стихах Жадовской оживает христианская красота терпения, красота страдания, красота мужественного и святого крестного пути. «Грустная картина» появилась задолго до знаменитых стихов Тютчева «Эти бедные селенья». В отличие от Тютчева Жадовская не вводит в картину русской народной жизни лик удручённого крестной ношей Христа. Но образ Его «сквозит и тайно светит» в её стихах, поэтизирующих осенний север с его суровыми красками, скудной природой, бедными селеньями, трудной судьбой человека. Реалистические картины народной жизни перемежаются в поздней лирике с ёмкими поэтическими обобщениями.

«От живого, непосредственного показа жизни и труда крестьян Жадовская переходит к аллегорической форме повествования о той же самой жизни, – замечает В. А. Благово. – Как известно, русская поэзия часто использовала библейские сюжеты, и „Видение пророка Иезекииля“ Жадовской – по своему содержанию религиозное стихотворение, где рисуется страшная картина: мертвецы

в „широком поле“. Внешне „Видение пророка...“ не связано с народной темой, но соотносится с „Посевом“, с одной стороны, и с „Молитвой“ („О, Дух жизни, света и свободы!“) – с другой. Оно освещает главное событие народной жизни в середине 50-х гг. – Крымскую войну. Некрасов и в „Тихине“, и в поэме „Саша“ (в картине гибели леса, приобретающей здесь и аллегорический смысл) показал страшные жертвы, принесённые русским народом. Жадовская в картине воскрешения человеческих костей выразила думы о войне:

Божиим духом и Божией волей
Я приведён был в широкое поле, –
И на просторном, пустынном погосте
Груда на груде лежали там кости,
Кости людские, покрытые прахом!
И обошёл я всё поле со страхом...»

На той же христианской духовной основе вырастает знаменитая «Нива», в которой передаётся крестьянское отношение к земле-кормилице как к живому существу. Здесь и восхищение красотой созревающей нивы, и сострадательная любовь к ней от сознания её незащищённости. Одновременно это и стихи о ниве человеческой жизни, такой же беззащитной перед капризами сурового русского климата. Как нива в северных наших краях, в зоне «рискованного земледелия», всегда под угрозой гибели, так и жизнь человека слишком не защищена на холодных общественных российских ветрах. Именно сознание этой незащищённости и развивает в русском человеке любовь-жалость, любовь-сострадание. Когда слабы надежды на силы человеческие, на помощь приходит вера в силу Божию:

Нива, моя нива,
Нива золотая!
Зреешь ты на солнце,
Колос наливая,

По тебе от ветру, –
Словно в синем море, –
Волны так и ходят,
Ходят на просторе.
Над тобою с песней
Жаворонок вьётся;
Над тобой и туча
Грозно пронесётся.
Зреешь ты и спеешь,
Колос наливая, –
О людских заботах
Ничего не зная.
Унеси ты, ветер,
Тучу градовую;
Сбереги нам, Боже,
Ниву трудовую!..

«Отчего так долго тянется крестьянский вопрос и будет ли ему конец? – пишет Юлия Валериановна из Субботина. – Будет ли конец этой истоме, этому лихорадочному ожиданию бедных людей?» Обращаясь к царю, Жадовская настойчиво призывает его освободить крестьян:

Проснулась грозная и мстительная кара,
Приподнял голову подавленный народ;
Невежество последнего удара,
Бледнея и дрожа, в томленье смертном ждёт.
Ко благу торная проложится дорога,
И никому по ней идти заказа нет.
Затихнет грубых душ напрасная тревога.
Лучи свои прольёт науки яркий свет.
Властитель! не робей! решительной рукою
Сомненья призраки скорее отгони,
И к счастью дверь свободой золотою
Народу Твоему отважно распахни.
Благословят Тебя века и поколенья
Пред именем Твоим, чрез сотни лет, народ
В неложном и святом к Тебе благоволеньи
Потоки слёз восторженных прольёт.

Однако мечты о народном освобождении окрашиваются порою у Жадовской глубокими сомнениями, основанными на трезвом ощущении драматизма народного развития. Здесь мотивы музыки Жадовской перекликаются с надеждами и разуверениями Некрасова:

Говорят – придёт пора.
Будет легче человеку.
Много пользы и добра
Светит будущему веку.
Но до них нам не дожить,
И не зреть поры счастливой.
Горько дни свои влачить
И томиться терпеливо.

Летние месяцы Ю. В. Жадовская проводит, как правило, в стороне от «большого света», в деревенской глуши. Часто навещает она родные буйские места, усадьбу Панфилово. 3 сентября 1859 года она пишет своему знакомому, профессору Шиллю: «Из Солигалича я проехала в деревню дяди (отца воспитанницы Насти), усадьба его из ворот в ворота с усадьбой покойной моей бабушки, где я провела детство. Мы поместились в старом доме, где всё сохраняется в прежнем порядке: каждая вещь напоминает мне прошедшие, ясные, безмятежные годы. Мы совершали каждодневное путешествие к дяде, а ночью, при лунном свете или с фонарем во мраке, когда бывало облачно, отправлялись в старый дом... и... засиживались далеко за полночь на балконе, заслоненном со всех сторон стеной старых, тенистых деревьев. Особенно шумят эти липы и берёзы... Как-то глухо и грустно... Саду с лишком 70 лет, – его не чистят; одна берёза лежит на земле, – она отжила свой век. Я с особенным чувством подходила к ней – было что-то внушающее уважение в этой естественной смерти 70-летнего дерева, под которым проходило не одно поколение нашего рода, мечтала не одна молодая, горячая голова...». Всё чаще и чаще в стихах Юлии Жадовской

воскресают детские воспоминания. Шум столиц уже не манит к себе и не прельщает её:

А теперь, в столице,
Я томлюсь тоскою:
И по роще тёмной,
Пахнувшей смолою,
Где поутру хоры
Птичек раздавались,
И деревья с шумом
Медленно качались,
И по речке синей,
Что течет небрежно
И журчит струями
Вкрадчиво и нежно.

6

В 1858 году выходит второй сборник стихов Ю. В. Жадовской, встреченный сочувственными откликами демократической критики. «Нимало не задумываясь», Н. А. Добролюбов причисляет «эту книжку стихотворений к лучшим явлениям... поэтической литературы последнего времени». Он замечает не без основания, что стихи Жадовской «не отличаются отделкой», что «рифма часто изменяет ей», что «иногда выходят из-под её пера строфы незвучные, отзывающиеся прозой». Собственно искусства, если иметь в виду поэтическую искусность, мастерство, в них действительно мало. Но все эти недостатки поэтического дарования вполне искупаются, по Добролюбову, одним достоинством – задушевностью, полной искренностью чувства и спокойной простотою его выражения. С большим основанием, чем Некрасов, поэтесса могла адресовать себе его известные стихи:

Нет в тебе творящего искусства...
Но кипит в тебе живая кровь,
Торжествует мстительное чувство,
Догоря, теплится любовь...

Добролюбов замечает: «Жадовская так сдержанно говорит о своём горе и страданиях, так робко упоминает о них, как будто в самом деле боится разлить пред людьми эту чашу, которую должна она хранить. Так говорит она в одной пьесе:

Не зови меня бесстрастной
И холодной не зови,
У меня в душе есть много
И страданий, и любви.
Проходя перед толпою,
Сердце я хочу закрыть
Равнодушием наружным,
Чтоб себе не изменить.

Во многих пьесах высказывается это горькое, затаённое страданье, действующее на душу несравненно большее, чем разделённая печаль, но непонятное для человека нестрадавшего, которому нужно, чтобы поэт увлекал его силою и яркостью живого изображения, а не простым намёком. Таким образом, для многих останутся непонятны и чужды стихотворения г-жи Жадовской именно потому, что она не любит пространно описывать свои чувства. Так и в жизни не привлекают участия людей душевные страдания, прикрытые наружным спокойствием. Зато, если уж кто поймёт эти страдания, тот будет сочувствовать им несравненно больше, чем всякому многоречивому горю. Но редко, редко встречаются такие сочувствующие души, и особенно страдающий человек редко находит их. Кто чувствовал эту скорбь одиночества среди людей, тот оценит эти простые стихи г-жи Жадовской:

Куда сложить тяжёлый груз души?
Кому поведать скорбь, гнетущую мне сердце?
Вокруг меня людей знакомых много,
И многие меня бы стали слушать, –
Но где найду я тёплое участие?
Где душу обрету, с сочувствием отрадным,
Которая со мной все радости и горе
Понять и разделить могла бы непритворно?

Тяжело человеку с живой, любящей душой в этой людской пустыне, – среди неё вяло и медленно тянется жизнь, и можно понять ту грусть, которую полны эти стихи:

Я плачу всё о том, что сердце увядает,
Что леденит его холодный свет...
...Я плачу и о том, что скучною машиной
Между людей я тихо прохожу;
Я плачу и о том, что в мире ни единой
Родной души себе не нахожу.

Не подумайте, чтоб это была сентиментальность, желание выставить себя непонятою, непризнанною и т. п. Нет, в стихотворениях Жадовской видна действительная грусть, и, сколько мы можем догадываться по некоторым пьесам, грусть эта происходит из источника более глубокого, нежели какие-нибудь мечтательные или личные раздражения. Её сердце, её ум действительно наполнены горькими думами, которых не хочет или не умеет разделять современное общество. Её стремления, её требования слишком обширны и высоки, и не мудрено, что многие бегут от поэтического призыва души, страдающей не только за себя, но и за других и с увлечением говорящей:

Говорят, придёт пора,
Будет легче человеку.
Много пользы и добра
Светит будущему веку!..

Что им, этим толпам людей, холодных и расчётливых, до того будущего, которое принесёт много добра человеку! До того ли им!

Бесстрастны, суетны и вялы,
Без пользы для страны родной,
Они, лениво и устало,
Идут избитою тропой...
Для их души одна потреба –
Чтоб сытым быть, покойно спать...
Зато не даётся им от неба
Призваний высших благодать.

Это сознание пустоты и ничтожности окружающего света составляет уже не гремушку самолюбия, не каприз сердца, а действительное страдание, которое может понять всякий мыслящий человек. Прочтите хоть это стихотворение:

Нет, никогда поклонничеством низким
Я покровительства и славы не куплю,
И лести я ни дальним и ни близким
Из уст моих постыдно не пролью.
Пред тем, что я всегда глубоко презирала,
Пред чем порой дрожат достойные – увы!
Пред знатью гордою, пред роскошью нахала
Я не склоню свободной головы.
Пройду своим путём, хоть горестно, но честно,
Любя свою страну, любя родной народ,
И, может быть, к моей могиле неизвестной
Бедняк иль друг со вздохом подойдёт.
На то, что скажет он, на то, о чём помыслит,
Я, верно, отзовусь бессмертною душой...
Нет, верьте, лживый свет не знает и не смыслит,
Какое счастье быть всегда самим собой!

Скажите, сентиментальность ли это? Призрачные ли это страдания? Нет, ничего не может быть существеннее этого горя, которое приводит человека к поэтической мечте, что он найдёт, наконец, сочувствие – после смерти... Нет этого сочувствия при жизни, и нечего добиваться его от людей, нечего раскрывать им свои душевные раны. Надо удалить своё сердце от житейского шума, надо очистить себя от мелочей людских и остаться наедине с своей душой, с её воспоминаниями и горем, – вот к чему приходит поэт, хранящий святыню души своей. Он говорит:

Не святотатствуй, не грехи
Во храме собственной души.
Поверь, молиться невозможно
При кликах суетных и ложных
Пустых, ничтожных торгашей,

Средь пошлых сплетен и речей.
Очисти храм бичом познания,
Всю эту ветошь изгони,
Тогда, пред алтарем призвания,
С мольбой колена преклони...

Поэтическая душа верна своему решению: она не повергает своей тоски на суд людей. Она, улыбаясь, слушает пустой разговор, когда на сердце тяжело и грустно:

Как часто слушаю ничтожный разговор
С участием притворным я и ложным!
Вниманье полное изображает взор,
Но мысли далеко, и на сердце тревожно...
Как часто я смеюсь, тогда как из очей
Готовы слёзы жаркие катиться...

Много подобных горьких мыслей может таиться под наружным спокойствием, среди безумного светского веселья, где нет родной души, которая могла бы откликнуться на тайное, внутреннее горе. Всё в этом свете заставляет сердце сжиматься и скрывать свои раны, всё веет таким неприветным равнодушием. Что за дело людям, стремящимся по дороге веселья, до израненного путника, лежащего при пути?»

Обратим внимание, что Добролюбов подметил в поэзии Жадовской ярко выраженное качество, присущее русской классической литературе вообще, составляющее характерный признак её национального своеобразия. Это «стыдливость художественной формы», свойственная фактически всем нашим писателям-классикам и представляющая родовую черту нашего художественного сознания. Даже в пушкинской гармонии нет претензии на полную завершённость и совершенство. Чувство красоты и в его поэзии не довлеет себе, не стремится к эффекту и блеску, постоянно уравновешивается чувствами добра и правды.

На эту особенность русской поэзии чаще всего обращали внимание французы. И. С. Тургенев в речи по поводу открытия памятника Пушкину вспоминал: «Ваша поэзия, – сказал нам однажды Мериме, – ищет прежде всего

правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопчут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске... У Пушкина, – прибавлял он, – поэзия чудесным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы».

Безыскусную правдивость лирики Жадовской отметил Д. И. Писарев в рецензии, опубликованной в журнале «Рассвет» (1859. № 1): «Искренность чувства и тихая задушевная грусть придают стихотворениям Ю. Жадовской особенную трогательную прелесть; грусть эта ищет себе отражения в явлениях природы: и восход солнца, и летний вечер, и лёгкое облачко, и падающая звезда находят себе сочувствие в душе Ю. Жадовской и наводят на неё мрачные мысли; то тоскует она о несовершенствах жизни, то грустит собственным горем, то с печальной улыбкой вспоминает о невозвратимом прошедшем. И везде господствует глубокая затаённая грусть, которая выражается просто и безыскусственно. <...> Из стихотворений Ю. Жадовской приведём одно, в котором выражено поэтическое сочувствие к бедной, трудовой жизни поселянина:

Грустная картина!
Облаком густым
Вьется из овина
За деревней дым.
Незавидна местность:
Скудная земля,
Плоская окрестность,
Выжаты поля.
Всё как бы в тумане,
Всё как будто спит...
В худеньком кафтане
Мужичок стоит,
Головой качает –
Умолот плохой,
Думает-гадает:
Как-то быть зимой?

Так вся жизнь проходит
С горем пополам;
Там и смерть приходит,
С ней конец трудам.
Причастит больного
Деревенский поп,
Принесут сосновый
От соседа гроб,
Отпоют уныло...
И старуха мать
Долго над могилой
Будет причитать.

Каким тёплым, мягким сочувствием дышат эти простые, безыскусственные строки; это простой рассказ жизни поселянина – рассказ, вылившийся прямо из души поэта, не получивший в слове никаких прикрас, но зато проникнутый тихой, как бы робкою грустью и глубоким искренним чувством. В этих стихах нет ни претензии на эффект, ни желчи, ни сатирических выходов; в них отразилась мягкая, нежная душа женщины, которая понимает несовершенства жизни и причитает молча и безропотно».

7

Сборник 1858 года оказался лебединой песней Юлии Жадовской. Начиная с 1857 года, после выхода в свет романа «В стороне от большого света», поэтесса уходит в прозу. В 1861 году в первых номерах только что открытого журнала братьев Достоевских «Время» выходит второй роман Жадовской «Женская история», а несколько месяцев спустя – повесть «Отсталая». Центральным конфликтом романов и повестей писательницы является столкновение любящей девушки с предрассудками среды. В прозе Жадовской этот конфликт утратил трагический оттенок, свойственный ему в лирике. Центральная героиня её романов и повестей постепенно преодолевает прямую зависимость от предрассудков косной дворянской среды, отстаивая своё право на счастье. Так Жадовская прощалась с прошлым, с эпохой

своей неудавшейся юности, с надеждами встретить в жизни свободную и чистую любовь. «Прозаические произведения Жадовской значительно уступают её стихотворениям, – считал А. М. Скабичевский. – Та крайняя субъективность, которая составляет неотъемлемую принадлежность лирики, в романе и повести является недостатком. Мы ждём здесь характеров, типов, нравов и разочаровываемся, находя всюду одного только автора среди бледных и стереотипных персонажей».

В 1862 году Ю. В. Жадовская решается на брак с пожилым вдовцом, старым другом дома, доктором К. Б. Севером. С этого времени она всецело посвящает себя мужу и разбитому параличом отцу. Слабая и больная, она пять лет ухаживает за ним, как за ребёнком, и неутешно плачет, когда он умирает. Превыше всех горестных личных обид ставит Юлия Жадовская высокое чувство долга, святое чувство дочерней любви.

До сих пор считалось биографами, что вплоть до 1870 года Жадовская жила с семьёй в Ярославле. Но из её писем, из её публикаций в «Костромских губернских ведомостях» видно, что с 1863 года Север и Жадовская живут в Костроме. Здесь она занимается цветоводством, участвует в благотворительных спектаклях в пользу погоревшего театра, в организации литературных вечеров. Однако к 1868 году жизнь в Костроме перестает её удовлетворять. Одна из причин – стеснённое материальное положение: «Кострома, – писала Жадовская, – обильна старыми врачами, и Северу, не умеющему гнуть спину, трудно пробиваться».

Но главная причина отъезда в буйские края была другой: «О поездке в Панфилово ничего не было и продумано, а как-то... разговорились о Буге, она (близкая родственница Жадовской. – Ю. Л.) восхищалась воздухом и климатом буйским, а я вспоминала, как я, больная уже, всегда оживала в деревне, и сказала, что хорошо бы в деревню, в родной климат, что это было бы лучшим лекарством».

И вот после смерти отца в 1870 году Ю. В. Жадовская с мужем переезжает в Буй. Прощаясь с Костромой, она

пишет жене брата: «Друг мой Люба! Я уже на отлёте: сижу в пустом доме, – отправила лодку с людьми и вещами... Не хандрите, мои дорогие... Везде люди живут, а в Бую живут и порядочные люди. Там и вместе быть удобнее и поместительнее... Нет, голубчики, нам непременно надо соединиться в Бую». С 1870 по 1873 год Ю. В. Жадовская живет в Бую, на берегу реки Костромы. «Да, – сетует она, – скучно, что письма долго идут... Далёк и шум большого света... Зато лесом пахнет и река в двух шагах».

Наконец, в 1873 году осуществляется заветная мечта Ю. В. Жадовской: она приобретает в десяти верстах от Буя деревенскую усадьбу Толстикovo. «Господи ты, Боже мой, если бы вы знали, как здесь хорошо! Жаль, что поздно, в конце моей жизни, послан мне этот эдем, – не столько по красоте люблю его, а по тому сладкому чувству, которое он разливает в душе... Здесь чудные два балкона: южный и северный, первый – в сад, с последнего на три стороны кругом прелестные ландшафты и все наши луга и поля, как на блюдечке. Просто очарование!»

Последние годы жизни Юлии Валериановны подробно описаны в воспоминаниях её двоюродной сестры и воспитанницы Н. П. Фёдоровой, которая жила в Толстикове до самой смерти Жадовской. В своих воспоминаниях Фёдорова указывает, кстати, что повесть «Житьё-бытьё на Корёге» включена в собрание сочинений Жадовской ошибочно. Этот очерк был написан родной теткой Юлии Валериановны – Марией Ивановной Готовцевой – и исправлен Иваном Петровичем Корниловым (сыном Анны Ивановны Корниловой-Готовцевой). Любопытно, что брат Н. Фёдоровой Иосиф Петрович Готовцев, друг Юлии Валериановны, написал по поводу выхода в свет этой повести юмористические стихи под названием «Уведомление. По случаю статьи „Житьё-бытьё на Корёге“, сочиненной Марьей Ивановной Готовцевой»:

Что вы наделали, Марья Ивановна!
Мирную вы взволновали Корёгу.
Марья Сафроновна, Анна Степановна –
Все поднялись на военную ногу...

Остаток дней своих Жадовская провела в заботах о хозяйстве, в занятиях цветоводством. «Раз как-то, – вспоминает Н. П. Фёдорова, – в разговоре я сказала, что если переживу её, то брошу заниматься цветами. „Нет, в память мою не бросай цветов, – сказала она мне, – они мне дали силу пережить моё тяжелое горе (потерю мужа в 1881 году. – Ю. Л.), а для тебя они будут духовною связью со мной“». Незадолго перед смертью к Жадовской вернулись творческие силы. В 1883 году в Толстикове она написала найденные недавно исследователем её творчества В. А. Благово стихи:

Что это за чудо! Стихли все страданья, –
Свет невыразимый, и восторг, и радость.
Сладко, чудно, ясно полное сознание,
И потоком льётся в душу жизни сладость.
И к кому-то тихо тянутся объятья,
Целый мир готова в этот миг обнять я!..
Всем благословенье – никому проклятья!
Горьким и несчастным, страждущим и бедным
И науки жизни труженикам бледным, –
Всем забитым, жалким, угнетённым братьям –
Всем благословенье!..

28 июля (9 августа) 1883 года Ю. В. Жадовской не стало. «Погребена она, – писала Н. П. Фёдорова, – рядом со своим мужем в приходе Воскресенья, где каждогодно бывала Фроловская ярмарка... Церемония погребения совершалась в деревенской церкви, без лавровых венков, но гроб её был покрыт живыми цветами, взлелеянными ею самой, а вокруг лились непритворные слезы друзей, знакомых и простого народа, находившего в ней поддержку и помощь при каждой житейской невзгоде».

Сбылось тайное желание поэтессы. «Когда я умру, – писала Жадовская Ю. Н. Бартеневу, – я хочу, чтоб над моей могилой склонялись берёзы, и, озарённые весенним солнцем, молодые листы блестели и переливались золотом... Пусть в этой вечной, всеобъемлющей силе и красоте потонут все утраты, утихнет волнение и всё тёмное жизни озарится вечным светом».

Ушла Жадовская, но остались вечно жить её стихи. Многие композиторы (Варламов, Глинка, Даргомыжский и др.) обращались к её поэзии. Особенно популярными стали романсы Даргомыжского «Ты скоро меня позабудешь...» и «Я всё ещё его, безумная, люблю!..», исполняющиеся со сцены и до сих пор. Стихи Жадовской «Нива» и «Грустная картина» не оставят равнодушными и современного читателя: они стали фактом национального самосознания, органической частью русской поэтической культуры.

Сочинения Ю. В. Жадовской

Полное собрание сочинений: в 4 т. – Т. 1. – СПб., 1885.

Женская история: роман: в 3 ч. // *Время*. – 1861. – № 3, 4.

Отсталая: повесть // *Время*. – 1861. – № 12, отд. 1.

Письма Ю. В. Жадовской Ю. Н. Бартеневу // Щукинский сборник. – Вып. 4. – М., 1905. – С. 352–354.

[Стихотворения Ю. Жадовской] // *Русские поэтессы XIX века*. – М., 1979.

В стороне от большого света: роман: в 3 ч.; *Отсталая*: повесть. – М., 1993.

Стихотворения / вступ. ст., сост. и примеч. Ю. В. Лебедева. – Кострома, 2002.

[Стихотворения Ю. Жадовской] // «Прелестный дар, перо поэта...»: стихи А. Готовцевой и Ю. Жадовской / сост. Г. В. Корнилова, вступ. ст. Е. В. Сапрыгина. – Кострома, 2005.

Литература о творчестве Ю. В. Жадовской

Вяземский П. А. Сочинения: в 2 т. / П. А. Вяземский. – Т. 2. – М., 1982. – С. 130–134.

Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. / В. Г. Белинский. – Т. 8. – М., 1982. – С. 207–208.

Майков В. Н. Литературная критика / В. Н. Майков. – Л., 1985. – С. 264–268.

Плетнёв П. А. Стихотворения Юлии Жадовской / П. А. Плетнёв // *Современник*. – 1846. – Т. 43. – С. 231–232.

Добролюбов Н. А. Собрание сочинений: в 9 т. / Н. А. Добролюбов. – Т. 3. – М.; Л., 1962. – С. 133–147.

Писарев Д. И. Полное собрание сочинений: в 6 т. / Д. И. Писарев. – Т 1. – СПб., 1900. – Стлб. 4–6.

Скабичевский А. Песни о женской неволе / А. Скабичевский // Вестник Европы. – 1886. – № 1.

Фёдорова Н. Воспоминания о Ю. В. Жадовской / Н. Фёдорова // Исторический вестник. – 1887. – № 11.

Благово В. А. Поэзия и личность Ю. В. Жадовской / В. А. Благово. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1981.

Рекомендации по работе с материалом учебного пособия

1. Выпишите из статьи тезисы, наиболее точно, на ваш взгляд, характеризующие место Жадовской в литературном процессе середины XIX века.

2. Составьте хронологическую канву основных событий жизни Ю. В. Жадовской.

3. Ответьте устно или письменно на вопросы:

Кто из современников оказал влияние на становление творческой индивидуальности Ю. В. Жадовской?

Кто из критиков-современников положительно оценил дарование поэтессы? В чём именно каждый из критиков видел достоинства её творчества?

К какому периоду литературно-критической деятельности Белинского относится его знакомство с творчеством Жадовской? Как это отразилось в суждениях критика о стихотворениях поэтессы?

4. Подготовьте сообщение о биографии Ю. В. Жадовской, используя статью учебного пособия и указанные в списке литературы источники.

Задания для самостоятельной работы

1. Составьте план лекции о жизни и творчестве поэтессы для урока в 10-м классе. Подготовьте компьютерную презентацию .

2. Сопоставьте приведённые ниже высказывания критиков – современников поэтессы. Кто из них точнее охарактеризовал творческую индивидуальность Жадовской? Приведите собственные аргументы в пользу выбранной вами позиции.

В. Г. Белинский, 1847 год

Нужно слишком много смелости и героизма, чтобы женщина, таким образом отстранённая или отстранившаяся от общества, не заключилась в ограниченный круг мечтаний, но ринулась бы в жизнь для борьбы с нею, если не для наслаждения, которого возможности не видит в ней. Г-жа Жадовская предпочла этому трудному шагу безмятежное смотрение на небо и звёзды. Почти в каждом своём стихотворении не спускает она глаз с неба и звёзд, но нового ничего там не заметила.

А. М. Скабичевский, 1886 год

И в самом деле, в лице Жадовской, с её скромными произведениями, перед вами является весьма умная, талантливая и в то же время глубоко несчастная женщина. Вся жизнь её была задавлена и загублена самым грубым и бесчеловечным образом, и лишь ценой этого горького опыта под конец уже жизни она додумалась до первых элементарных понятий женской свободы, хотя бы только в выборе мужа. Таким образом, перед нами развёртывается картина постепенного, органического нарастания так называемого женского вопроса, и мы убеждаемся, что вопрос этот вовсе не явился сразу и ex abrupto¹, наваянный со стороны, а логически и неизбежно вытек из самой нашей жизни вместе с другими насущными вопросами 60-х годов.

3. Прочитайте роман Ю. В. Жадовской «В стороне от большого света». Охарактеризуйте главных героев произведения. Проследите, как создается образ Евгении, как меняется героиня на протяжении романа. Напишите рецензию на это произведение

4. Подготовьте сообщение о сборнике «Избранные стихотворения» Ю. Жадовской 1848 года: укажите основные

¹ ex abrupto – внезапно, сразу (лат.)

мотивы лирики Жадовской, отразившиеся в этом сборнике, покажите на примерах 1–2 стихотворений своеобразия звучания каждого мотива, выделите стихотворения, которые на ваш взгляд, можно назвать «программными» для этого периода творчества поэтессы, определяющие её жизненное и творческое кредо. Подготовьте выразительное чтение наизусть 2–3 стихотворений из сборника.

5. Подготовьте сообщение о сборнике «Стихотворения» Ю. Жадовской 1858 года: укажите основные мотивы лирики Жадовской, звучащие в этом сборнике, покажите на примерах 1–2 стихотворений, как меняются, эволюционируют мотивы, представленные в первом сборнике поэтессы. Подготовьте выразительное чтение наизусть 2–3 стихотворений из сборника.

6. Проанализируйте высказывание Е. А. Трушиной об эволюции любовной темы в лирике Ю. В. Жадовской¹. Приведите примеры стихотворений разных лет, подтверждающие её мнение.

Е. А. Трушина, 2004 год

Неразрывно с философской концепцией человека в лирике Жадовской оказывается связан мотив любви. Поэтесса считала, что, лишь пройдя через испытание истинной любовью, человек, во-первых, приближается в своих духовных исканиях к постижению истины; во-вторых, получает право именоваться человеком в полном смысле этого слова. Свою философию любви поэтесса изложила в строках многих стихотворений. Они написаны не столько непосредственно о любви, сколько о возможности через любовь, всеобъемлющую и жертвенную, приблизиться к высшему духовному совершенству. Любовь остаётся для Жадовской неизменной ценностью всегда, независимо ни от каких обстоятельств; любовь поддерживает её на исполненном горестей и лишений жизненном пути («Миг обновления», 1852).

Понимание любви в лирике Жадовской претерпевает эволюцию... Если на раннем этапе творчества любовь

¹ Трушина Е. А. Лирика Ю. В. Жадовской: Мировидение и поэтика: дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. – Пенза, 2004. – 253 с.

воспринималась прежде всего как любовь к мужчине (цикл стихотворений, посвященных П. М. Перевлесскому), то, пройдя через страдания несчастной любви, поэтесса начинает говорить о любви в первую очередь как о христианской ценности – всеобъемлющей любви ко всему человечеству («Не для того ищу я идеала...», 1853), к обретению которой ведёт весь путь духовных исканий.

Одним из основных положений в мировидении Жадовской является, на наш взгляд, не пассивное принятие жизни как она есть, а активная жизненная позиция ради достижения идеала (хотя многие критики неоднократно безосновательно упрекали поэтессу в безропотном взгляде на окружающий мир, отсутствии попыток что-либо изменить в нём). Подобная позиция в лирике Жадовской идёт от Лермонтова, в поэзии которого мотив действия выступает одним из ведущих. Путь духовного совершенствования, по мнению поэтессы, предполагает, прежде всего, постоянную работу над собой, деятельное состояние личности по изменению внешнего мира и себя («Борьба»).

Жадовская пытается найти смысл не только собственной жизни, но одновременно стремится указать истинный путь всем людям, которые, по её мнению, погрязли в грехах и зле. Поэтесса считала, что насильственными внешними переменами ничего нельзя изменить в жизни людей – каждый должен начинать с себя, измениться внутренне, понять необходимость духовного совершенствования («Не святотатствуй, не греши...», 1857), а без обращения к Богу, христианской морали духовное возрождение невозможно. Поэтесса хочет, чтобы все люди приобщились к счастливому сознанию смысла бытия.

В процессе мучительных духовных исканий Жадовская определяет для себя цель жизни согласно религиозно-нравственным ценностям. Она – в постоянном стремлении к любви и красоте, достижению духовной чистоты, в глубокой искренней вере, в сострадании, всепрощении, милосердии и любви к ближнему («Кто любил и верил страстно...», «Что это за чудо! Стихли все страданья...», 1883).

7. Составьте библиографию современных научных публикаций о творчестве Ю.В. Жадовской.

Темы докладов, исследовательских работ

1. Основные мотивы лирики Ю. В. Жадовской.
2. Автобиографические истоки прозы Ю. В. Жадовской.
3. Психологизм любовной лирики Ю. В. Жадовской.
4. Жадовская и писатели-славянофилы.

Задания для организации проектной деятельности

Создайте сценарий литературного вечера, посвященного Ю. В. Жадовской, для студентов или школьников. Подготовьте и проведите его. Создайте фотоотчет или подготовьте публикацию об этом мероприятии для студенческой (школьной) газеты.

Николай Александрович

Ч А Е В

(1824–1914)

Николай Александрович Чаев (настоящая фамилия Нечаев, отчество – Иванович) родился 8 мая (5 апреля) 1824 года в Нерехтском уезде Костромской губернии в купеческой семье. Он учился в том же Московском частном пансионе Л. И. Чермака, где получил первоначальное образование и Ф. М. Достоевский, а потом – в Костромской губернской гимназии. В 1850 году Чаев окончил юридический факультет Московского университета. С 1852 года он находился на государственной службе сначала в Риге, потом в Москве, в Московской дворцовой конторе. 30 октября 1867 года Чаев, знаток русской истории, археологии, палеографии, был утверждён помощником директора, а затем и хранителя Московской оружейной палаты.

И в литературном творчестве Н. А. Чаев стремился к документальной точности в воспроизведении быта и нравов эпохи. Он питал археологическую страсть к допетровской старине, к народным песням и обрядам. Но наследие прошлого вызывало у него отнюдь не холодный академический интерес. Вовсе не этнографическое любопытство, а чувство живой причастности к полнокровной и мощной стихии общенациональной жизни запечатлено в лирике Н. А. Чаева. Мотивы фольклорных песен, перифразированные народные пословицы, приметы народного быта в ней составляют естественную среду душевной жизни лирического героя. Так, в автобиографической поэме «Надя», рисуя идиллические картины деревенского детства, Чаев изображает девичий хоровод, с восхищением передает знакомые слова старинных песен. Пестрота народной пляски для него

сродни многоцветью родного пейзажа, голоса певич слияются с веяньем ветерка и журчанием речки.

...«По синю морюшку», – запели тихо скрипки, –
Пахнуло ландышем, берёзкой, цветом липки...
Так пахнет рощицей над тихою рекой,
Где девушки венки плетут в семик весной.
Берёзку, лентами увешав, завивают,
Кумятся и венки по речке вдоль пускают.
Лелеет те венки весенняя волна...
Звончее залилась, заплакала струна...
«Вдоль по морю», – вдали откликнулись шалуны,
«По морю», – голосок затейщицы-певуны
Завёл... «По морю вдоль», – пригрянул хоровод,
И к окнам со двора шарахнулся народ.
Хмелинкой, ленточкой, сквозь дверку боковую,
Тянулись девушки под песню хоровую
И, взявшись за руки, что цветики в венки,
Сплелися, красные, под песенку в кружок.
Горели личики, пестрели сарафаны,
Белели рукава, что росыньки туманны
Над пёстрым луговым, узорчатым ковром,
И русы косыньки за мраморным плечом,
Девичьей волюшки приметы дорогие –
Синели ленточки на чёлах, голубые;
От тех ли волек-лент ещё ярчей играл
Румянец девичий... Прадедний дом дрожал...

Для Н. А. Чаева облик русской деревни естественно овеян христианской духовностью. В отличие от Тютчева, подчеркнувшего драматическое несоответствие бедных и скудных русских селений сиянию неземного света, Чаев не ощущает подобного противоречия. В его стихотворении «Деревня» скромная реальность сельской жизни не выглядит убогой. Она наполнена мягкой теплотой и тихой радостью в каждой детали. Вся картина весеннего утра пронизана спокойным ожиданием медленно приближающейся весны, предчувствием пасхального чуда. Традиционное в молитвах сравнение Христа с солнцем, просиявшим миру,

приобретает в стихотворении Чаева психологическую конкретность, достоверность непосредственного ощущения. Робость весеннего вешнего луча сродни кротости Спасителя, души людей подобны прозябшим деревцам, тянущимся к теплу и свету.

В деревне

Страстная. Благовест. К заутрени звонят.
Иду тропинкою к ограде через сад.
Морозно. Ветерок, нет-нет, да и подует.
На роще за селом уж тетерев токует.
Весна, а утренник порядком приобрал,
Сковав ледком поток, что робко побежал,
Пригретый солнышком полуденной порою,
Соскучившись дремать под снежною корою.
По насту на грядах гуляют три грача,
Прозябли и они, ждут тёплого луча.
В деревне петухи там-сям заголосили.
На небе розовом уж трубы задымили.
Старушка тянется к погосту с подожком,
Ребята сонные бредут монастырём.
«Чертога» грустный глас навстречу плыл из храма,
Несомый на волнах тягучих фимиама...
Смиренный образ Твой к нам снова тихо шёл,
Под дальний перезвон соседних мирных сёл,
Полями нашими, просёлками, тропами.
Любовью встреченный, Ты скажешь: «Здесь Я, с вами»,
Но в сёла, где огни погашены любви,
«Не имать внити» Гость, зови иль не зови.
Идёт Он не карать, не грозным судиёю,
Идёт, что вешний луч над снежною землёю,
Чтоб кротко озарить, овеять теплотой,
Забытые людьми за суетой мирской,
Растенья, что к Нему в глуши утренивали¹
И света, как тепла весной берёзки, ждали.

1876

¹ Утренивать – рано вставать, пробуждаться и становиться на молитву на утренней заре.

Перу Н. А. Чаева принадлежат литературные произведения разных жанров: комедия «Знай наших» (1876), романы «Подспудные силы» и «Богатыри (из эпохи Павла I)», поэма «Надя» и сборник «Стихотворения Н. Чаева» (1896). Особое место в его наследии занимают пьесы на сюжеты из древней русской истории: комедия «Сват Фаддеич» (1864), исторические драмы «Димитрий Самозванец» (1866), «Свекровь» (1867), «Царь и Великий князь всея Руси Василий Иванович Шуйский» (1883), «Грозный царь Иван Васильевич» (1868).

Кризисное пореформенное время пробуждало в обществе интерес к истории. Значительных успехов достигла тогда русская историческая наука, развивавшаяся в двух направлениях. Сторонники государственной школы, шедшие за С. М. Соловьёвым, считали высшим выражением исторической жизни нации сильное государство. Учёные демократической ориентации, вслед за Н. И. Костомаровым, были противниками самодержавия и говорили о необходимости децентрализации, о решающей роли в русской истории антиправительственных народных движений и бунтов.

Историческая тема заняла одно из ведущих мест в русской литературе и особенно в отечественной драматургии. Пристальное внимание драматургов вызывали тогда две эпохи отечественной истории: конец XVI века, период царствования Ивана Грозного с его неограниченным самовластием, и начало XVII века – время мятежей и смут, нашествия иноземцев на Русь и патриотических народных движений. Образ царя Ивана Васильевича становится центром действия в пьесах Л. А. Мея «Псковитянка» (1859) и «Царская невеста» (1861); в драматической трилогии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868), «Царь Борис» (1870) и его романе «Князь Серебряный» (1863); драме А. Н. Островского «Василиса Мелентьева» (1867). Появились драматурги, целиком посвятившие своё творчество исторической теме. Например, Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836–1905) был автором исторических пьес «Мамаево побоище», «Слобода Неволья», «Фрол Скобеев», «Каширская старина».

Достойное место в русской исторической драматургии принадлежит незаслуженно забытому ныне Николаю Александровичу Чаеву, стороннику государственной школы в осмыслении хода отечественной истории. «В историческом отношении у Чаева все документировано с исключительной обстоятельностью, – констатирует исследователь истории русского театра С. С. Данилов. – Его пьеса пестрит архаизмами, диалектизмами, полонизмами, подчеркнута затрудненными синтаксическими формами, документальным использованием народной песни». Но, по мнению исследователя, в пьесах Чаева «нет сценического действия, ярких драматических характеров», это – «история в лицах, и только». Впрочем, может быть, определение «история в лицах» не является однозначно отрицательной характеристикой?

В исторических пьесах Чаева суждения о больших исторических событиях вложены в уста обычных людей – часто не названных даже по имени. В пьесе «Избрание на царство Царя Михаила Фёдоровича Романова», жанр которой автор определил как сказание в лицах, перед зрителем оживает то московская Красная площадь, то улица Костромы. О великом торжестве русской государственности, о победе над Смутой говорят купцы, паломники и ополченцы, торговки и нянюшки, боярские дети и стрельцы. В главную тему вторгаются реплики случайных прохожих, одни персонажи сменяются другими – мы словно сами становимся частью шумной и многолюдной толпы. Но пестрота лиц и характеров не мешает ощутить стремление всего народа к окончанию смуты, обретению мира. Готовность признать и собственную вину в общем бедствии, единство нравственных ориентиров собирает показанный Чаевым разноликий мир в нечто целое, единое. Это не толпа, готовая послушно и бессмысленно кричать, что подскажут воеводы. Расстояние между «вершителями» истории и её пассивными «свидетелями» у Чаева исчезает. Персонажи пьесы – соучастники, совершители исторического события. Каждая реплика в собравшейся на площади толпе – часть общенародного хора.

В речевую ткань пьесы драматург свободно вводит и народное просторечие, и цветистый фольклорный слог, и текст исторического документа – как разные, но взаимосвязанные речевые пласты. Чаев не боится, что язык современников Грозного и Годунова покажется потомкам «тяжеловесным» или вычурным. Сила и торжественность старинных речений соответствуют высоте тех нравственных истин, что в них заключены. Снижать их, приземлять, упрощать для современной публики драматург не стремится.

**Избрание на царство
Царя Михаила Фёдоровича Романова**

Сказание в лицах (фрагмент)

II

Кострома. 14 марта 1613 г.

Двор палат бояр Романовых; на втором плане, посередине, хоромы; из-за кровель видны местами главки колоколен, церквей, верхи монастырских строек. На дворе и на кровлях снег. Из труб валит дымок. Кучка народа стоит на площади двора.

2-й посадский

Ты из собора, что ль?

1-й посадский

Ништо. Теснота, не пробьёшься, приложиться хотел к Владимирской... не удалось.

2-й посадский

С Москвы крестным ходом много пришло... с Ростова, из-под Сергия, от всюду.

1-й посадский

И что святыни... Господи! Образа Владимирские, письма Петра митрополита, московских чудотворцев. Хоругви, кои здешние, а есть и из Москвы принесли. Наши костромичи встречать ходили; Фёдоровскую подымали. Из Ярославля тож пришли с московскими.

2-й посадский

Да отовсюду. Наши из Переяславля тоже пристали к ходу с иконами. А для чего этот крестный ход? Не знаешь ли?

4-й посадский

Толкуют разное. Монах какой-то рассказывал: царя будто бы выбрали. Грамоту и носят по городам с иконами.

2-й посадский

Царя обрать недолго, да ведь тоже какого выберешь; прещение царёво – львиный рев, роса – царёва милость.

Паломник

Да. Не будь святых молитвенников на Москве, Петра, Филиппа, Ионы, Феогноста, Сергия, князья наделали бы дела. Недаром молвится: «Москва на крови построена». Кто примирял князей, гнев сдерживал? Угодники святые. Слово-то кротко, да молитва могуче ругани.

Городовой стрелец

Пустое дело; когда собрались выбирать, зимою по малину. Ну, выберут. А что король литовский скажет? С Владиславом-то как быть. Его ведь звали; и король позволил на Москве быть государем сыну. Его куда же деть? Аль побоку?

Казак

Ну, побоку зачем? А в шею. Пора и честь знать ляхам, наругались над нами вдосталь, псы.

Горожанин

Ещё бы. Ведь они, как хрен, проклятые; я посадил на огороде два корешка всего. И что ж ты думаешь, мой хрен как учал пановать, весь огород заполонил. Где прежнее была капуста, свёкла, морковь, нонче хрен один; всех выжил, окаянный; так вот и ляхи; только их впусти.

Калужанин

Пора очнуться. На кой ляд нам вся эта иноземщина. Мы ещё Великим постом в Калуге порешили миром выбирать в цари своих родов.

Подьячий

Правда ли, обрали на Москве свово московска рода?

1-й посадский

Слух идёт.

Старик начётчик

Не слух, а правда: я сам на Москве к грамоте руку прикладывал и за себя, и за других, как мне не знать. И избран здешний, свой, отрок млад, сродник царя блаженной памяти Фёдора Иваныча, Михайло Романовых. Вон их хоромы; здесь живёт он с матушкой, инокиней Марфой Иоанновной. *(Толпа окружает горожанина.)* И со святынею с Москвы пришли на Кострому за ним; зовут его.

Подьячий

Единогласно, всей землёй выбран, слышь. Шостнадцати годков всего, а выбрали.

Городовой стрелец

Шостнадцати годков? Был же у выборных, знать, разум выбирать чуть не младенца, малолетка в цари. Мозгами видно пообносились. Они шутили: царством править – не орехи грызть.

Купец

Тебя жаль не спросились. А где ты ноне взросло-то сыщешь, прямика и честного? За скипетр-то да за державу браться надо чистыми руками. А у кого оне не запачканы? Ну-ка, скажи мне, по душе, без хитрости.

Калужанин

Что говорить, неправды много. А уберечься как? Не рукавицы надевать подьячему.

Купец

Вот то-то. Бог по великой своей милости может и указал обрать отрока непорочна, чистого.

Старик начётчик

Мудрили, слышно, выбирали и бывалых, из семибоярщины, своих приятелей, да знать земля-то поумнела, поразглядела своих радельщиков.

Купец

Путано мало ли в сумятицу. Четырнадцать, считай от Годуновых, годов страда была... Чего, чего не натерпелись от воров, да от раздоров бояр из Тушина, прах их возьми проклятых.

Старик начётчик

А королю нож вострый этот выбор. До Михаила-то, рассказывают, уж добиралися. Простец, крестьянин, слышь, из Домнина, их вотчина, завёл злодеев в лес, во выюгу. Его убили, знамо, вороги, ну и сами сгибли, псы.

Купец

Я слышал тоже. Здесь на дворе не распускают, молчат об этом. Боярыня-инокиня строго-настрого не велела говорить. Бойтся что ль. Вот это христианин: душу положил свою, спас брата, ближнего, ныне царя избранника. Бог награди его небесным царством. Недаром мать дрожит за сына, бойтся его на царство отпустить; пока, слышь, отказала выборным.

Старик начётчик

Это враньё. Нонче посольство править будут.

Посадский

В соборе?

Старик начётчик

Нет, в хорамах, рассказывают, здесь. Сюда придут.

Купец

Как не бояться матери. Гроза хоть стихла. А всё, не дай Бог, искра залетит с пожарища, и снова зарево займётся на всю Русь.

2-й посадский

Бог милостив. Не слышно ничего худого. Казачишки да сброд, отретье, беглые шалют кой-где. А кроме не слышать шатости.

Паломник

Не слышно, ты походи по городам, как мы вот, и послушай.

(Толпа обступает.)

Дива нет, что государыня боится за избранника, родного сына. И море разбушует, уставится и стихнет не вдруг. Вражда, нелюбие, зависть кой у кого кипят смолой в котле, в душе и в сердце. Кровь братняя на стогнах городов ещё не высохла. Давно ли церкви, Божии обители, пылали. В любой семье, почесть, утраты, слёзы... Не скоро быть травую зарастёт. А зависть? Кто-кто не ладил влезть на стол-то царский. Дым коромыслом шёл. Святых хоть выноси. Давно ль стояльщики, как Гермоген, столпы могучи, пали измены жертвами. Святого Духа дар неотъемлем у того, кому ниспослан, и его коснулись: помазанник Господень пострижен силой, отдан в плен врагам. Бог разум отнял, знать, у думцев. Сердце русское неужто не провешилось, не дрогнуло у них, не взговорило, когда прощались на рубеже родной земли с державным старцем узником? Отцы и братья. Все виноваты мы. Все до единого. И вот об этом крепко подумать надо всей земле. Ведь, аще не Господь воздвигнет дом, всеу трудится зиждущий.

Старик начётчик

Правдива речь. Зол чаша переполнилась. Грех наш велик.

Паломник

И милость Божия велика. Предела нету ей.

Купец

Земля недавно гибла, а вот, Бог дал, спаслась. А чем спаслась? Любовью. На клич любви святой земля восстала, как един борец, а безоружны были... Кто с вилами, с косой, да с топором крестьяне-то. А вздули ляха, Бог помог.

Паломник

Любовь да вера – всё. Народу верующу сердце и душа едина и по писанию.

Подьячий

Так, так. Да ноне где у нас вера-то, а и любовь?

Старик начётчик

Где? Да здесь, здесь... Не за любовь, что ль, умер человек, мужик из Домнина, Сусанин? Не за любовь он душу

положил, спасая ближнего? А вся земля чем, не любовью движима, ты скажешь, единогласно обрала кого? Не из великих мира, не из славных воевод, князей, а вот, поди, известна отрока Романовых Михаила. За что? Добро, страда- нья помня великие Романовых. Вот за что. <... >

Современники и дореволюционные ценители литературы считали Н. А. Чаева одним из наиболее интересных русских драматургов. П. В. Анненков полагал, что «...представители нового направления в исторической драме г. Чаев и гр. Толстой могут быть поставлены рядом с именами г. Островского и покойного Мея». Столь же высоко оценивал творчество Чаева А. М. Скабичевский.

Достоевский, познакомившись с ним в Москве, сообщал брату 20 марта 1864 года: «Здесь есть некто Чаев. Со славянофилами не согласен, но очень ими любим. Человек в высшей степени порядочный. Встречал его у Аксакова и у Ламовского¹. Он очень занимается историей русской. К удовольствию моему, я увидел, что мы совершенно согласны во взгляде на русскую историю. Слышал я и прежде, что он пишет драматические хроники в стихах из русской истории („Князь Александр Тверской“). Плещеев хвалил очень стихи. Теперь в „Дне“ (№ 11-й) объявлено о публичном чтении хроник Чаева с похвалою. Я поручил Плещееву предложить ему напечатать в „Эпохе“». 13–14 апреля 1864 года Достоевский снова обращался к брату: «О Чаеве я тебе писал уже раз и всё ждал ответа. <...> Аксаков в газете „День“ хвалил стихи. Чаев – человек образованный и смыслит русскую историю. Островский сказал, что драматизма нет, но что это хроника, а стихи прекрасные и есть удачные сцены. <...> Чаев сам хотел тебе писать. Человек он очень хороший. Но драму его прочти со вниманием...»

Вслед за этими письмами в журнале братьев Достоевских «Эпоха» появились пьесы Чаева – «Сват Фаддеич» (1864. № 11) и драма «Дмитрий Самозванец» (1865. № 1).

¹ Ламовский Александр Михайлович – товарищ Достоевского по пансиону Л. И. Чермака в Москве.

По мнению В. С. Нечаевой, произведения эти оказались близки направлению журнала как своим интересом к народной жизни, так и национально-патриотическим пафосом. Их публикация связана, по мнению исследовательницы, с желанием издателей четко обозначить свою патриотическую позицию в тот момент, когда в русском обществе актуальным был вопрос об отношении к очередному польскому мятежу. «В основу „Свата Фаддеича“ был положен распространённый сюжет об атамане разбойников, который, грабя богатых, помогает бедным, наказывает притеснителей народа, соединяет разлученных влюбленных. Станичники, крестьяне, кузнец, мельник, лесник, обрисованные с симпатией, противопоставлены „бурмистру графской вотчины“, который с исправником и солдатами ловят атамана, но терпят неудачу. В пьесе широко использованы северный фольклор и народный язык... <...> ...В „Дмитрии Самозванце“ Чаева с явным недоброжелательством и насмешкой изображались польское окружение Самозванца, шляхетский гонор, представители католической церкви, им противопоставлялась сила и сплоченность русского народа, т. е. эта драма была написана в духе журнала „Эпоха“»¹.

4 апреля 1864 года Достоевский вместе с Чаевым участвуют в литературном утре в Москве в зале Кокорева. Достоевский читает «Записки из Мёртвого дома», а Чаев – фрагменты из исторической хроники «Князь Александр Тверской».

В том же 1864-м или в начале 1865 года состоялось личное знакомство Чаева с А. Н. Островским. Доброжелательное взаимное внимание двух драматургов усиливается благодаря их общей увлечённости исторической проблематикой. И Островский, и Чаев в середине 1860-х годов обращаются к жанру драматической хроники, к событиям Смутного времени. Но это сходство интересов стало и причиной соперничества драматургов, на время осложнившего их отношения.

¹ Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», 1864–1865. – М., 1975. – С. 120.

Пьесы «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Н. Островского и «Дмитрий Самозванец» Н. А. Чаева появились практически в одно время. Их постановке сопутствовала интрига, в ходе которой писатели оспаривали друг у друга право первой постановки пьесы на сцене московского театра.

Островский был раздражён тем, что в постановке на петербургской сцене его хроники было отказано, так как там уже шла пьеса Чаева (первый раз она была поставлена в Петербурге 7 января 1866 года). Постановка имела успех, Чаев планировал поставить пьесу также в Москве (в Большом театре) и получил согласие театрального начальства. Но Островский, оскорблённый этой ситуацией, предпринял решительные действия в пользу своей пьесы, обратившись за помощью к В. Ф. Адлербергу, министру императорского двора.хлопоты помогли. На этот раз спор был решен в пользу Островского, а постановку чаевского «Самозванца» отложили на год.

И сегодня литературоведы сравнивают пьесы-«соперницы». «Специфика структуры „Дмитрия Самозванца“ Н. А. Чаева в том, что он состоит из огромного количества микродействий (микросцен), представляющих в своем большинстве короткие диалоги между разными лицами, цель которых – передать настроение момента, отношение к событию (т. е. также „необязательных“ для прямого развития интриги). Таких диалогов в пьесе Н. А. Чаева гораздо больше, чем у А. Н. Островского. <...> Сравнивая пьесы, можно сказать, что в творческом диалоге А. Н. Островский и Н. А. Чаев ищут примерно в одной области трансформации классической интриги, находятся приблизительно на одной ступени развития стиля (формы) драматургии и дают похожие и в то же время различные результаты. Н. А. Чаев, даже в большей степени, чем А. Н. Островский, стоит на художественной позиции, позволяющей воссоздать „живую ткань“ истории, уловить ее незаметные движения, рождающие, в конечном итоге, глобальные события»¹.

¹ Миловзорова М. А. А. Н. Островский и Н. А. Чаев: движение стиля. – Режим доступа: <http://www.main.isuct.ru/files/publ/vgf/2007/02/184.htm>.

Этот эпизод не помешал драматургам впоследствии благожелательно относиться друг к другу. Так, Островский приглашал Чаева погостить в Щелькове и был искренне огорчен, когда обстоятельства не позволили тому приехать.

В 1874 году Чаев принимал участие в организации Общества русских драматических писателей. Одним из инициаторов создания Общества был А. Н. Островский. Его глубоко волновало положение драматических писателей, зависимых от театральной администрации и частных предпринимателей и получающих скудную плату за свой труд.

Островский и его единомышленники настаивали на защите авторских прав, отстаивали требование обязательного согласия автора на постановку его пьес. А. Н. Островский, Н. А. Чаев, В. И. Родиславский, В. А. Дьяченко и А. А. Майков организовали в 1870 году Общество драматических писателей. Целью Общества было также содействие «развитию драматической литературы в России» и «успехам сценических представлений». Это было записано в Уставе, разработкой которого также активно занимался А. Н. Островский.

29 ноября 1870 года состоялось первое собрание Общества. А в декабре этого же года в газете «Московские ведомости» было опубликовано заявление за шестнадцать подписями: «Мы, нижеподписавшиеся, имеем честь заявить всем содержателям театров в России и обществам, дающим спектакли, что представление наших оригинальных пьес и переводов без предварительного нашего на то согласия никому не допускается под опасением взыскания на основании 1. 684 ст. Уложения о наказаниях (изд. 1866 г.)». Среди подписавших заявление – А. А. Майков, А. Н. Островский, А. Н. Плещеев, граф А. К. Толстой, Н. А. Чаев.

Официальное открытие Общества состоялось после утверждения Устава Министерством внутренних дел 21 октября 1874 года. Председателем единодушно был избран А. Н. Островский.

21 октября 1875 года к Обществу присоединились оперные композиторы во главе с Н. А. Римским-Корсаковым, после чего оно было переименовано в Общество русских драматических писателей и оперных композиторов.

В общество входили И. С. Тургенев, А. К. Толстой, Н. А. Некрасов, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов, М. Горький, П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский и др. Общество учредило Грибоедовскую премию за лучшую в сезоне пьесу, поставленную императорскими или частными театрами в Петербурге и Москве.



*А. Н. Островский среди членов
Общества драматических писателей*

Первым лауреатом премии стал в 1883 году А. Н. Островский за комедию «Красавец-мужчина». А через год премия была вручена Н. А. Чаеву как автору драмы «Царь и великий князь всея Руси Василий Иванович Шуйский».

Н. А. Чаев являлся также членом Общества любителей российской словесности, а в 1872–1874 и 1878–1884 годах – его председателем. После смерти А. Н. Островского Чаев заведовал репертуарной частью московских театров.

Скончался Н. А. Чаев 29 (16) ноября 1914 года в Москве в возрасте 90 лет.

В современном литературоведении сосуществуют разные оценки творчества Н. А. Чаева. Одни исследователи называют его драматургом-археологом, стремившимся «законсервировать» русские древности в своих пьесах. Другие отмечают своеобразие стиля писателя, в чём-то опередившего своё время. Отказ Чаева от реалистических принципов изображения в пользу большей психологической глубины и символизма представляется им шагом к «новой драме», расцвет которой произойдет уже в начале XX века. Но сторонники разных точек зрения согласны в главном: в признании немалых заслуг Николая Александровича Чаева перед русским театром, русской исторической драматургией.

Сочинения Н. А. Чаева

Дмитрий Самозванец // Эпоха. – 1865. – Т. 1.

Грозный царь Иван Васильевич: народная песня в лицах. – М., 1868.

Царь и великий князь всея Руси Василий Иванович Шуйский. – М., 1886.

Наша старина по летописи и устному преданию: Для начинающих учиться русской истории / сост. Н. Чаев. – Вып. 1. – М., 1862.

Богатыри: роман в 3 ч.: Из времени имп. Павла. – М., 1872.

Надя: поэма. – М., 1878.

Стихотворения Н. Чаева. – М., 1896.

1612 год и избрание на царство Михаила Федоровича Романова: Летопись в лицах, в 5 д. – СПб., 1912.

Литература о творчестве Н. А. Чаева

Анненков П. В. Чаев и гр. А. К. Толстой в 1866 г. / П. В. Анненков // Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. – СПб., 1879. – Ч. 2. – С. 323–324.

Лотман Л. М. Н. Островский и русская драматургия его времени / Л. М. Лотман. – М.; Л., 1961. – С. 271–273.

Виролайнен М. Н. Историческая драматургия 1850–1870-х гг. / М. Н. Виролайнен // История русской драматургии: Вторая половина XIX – начало XX в. – М., 1984. – С. 309–335.

Миловзорова М. А. А. Н. Островский и Н. А. Чаев: движение стиля [Электрон. ресурс] / М. А. Миловзорова. – Режим доступа: <http://www.main.isuct.ru/files/publ/vgf/2007/02/184.htm>.

Миловзорова М. А. О некоторых особенностях исторической стилизации в творчестве А. Н. Островского и современников: поиск целостной формы / М. А. Миловзорова // А. Н. Островский: Материалы и исследования: сб. науч. тр. – Шуя, 2006. – С. 117–128.

Овчинина И. А. Чаев Николай Александрович / И. А. Овчинина // А. Н. Островский: энцикл. – Кострома; Шуя, 2012. – С. 473.

Андреева В. Г. Философия русской жизни в романе Н. А. Чаева «Подспудные силы» / В. Г. Андреева // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2015. – № 3. – С. 5–12.

Рекомендации по работе с материалом учебного пособия

1. Выпишите из статьи основные сведения о жизни и творчестве Н. А. Чаева.

2. Сформулируйте вопросы, на которые, по вашему мнению, необходимо ответить при дальнейшем изучении наследия писателя.

3. Определите, какие взгляды, идеи, интересы сближают Н. А. Чаева с Ф. М. Достоевским, А. Н. Островским, А. К. Толстым? К какой «партии» или какому течению общественной мысли можно, по вашему мнению, отнести этого писателя?

Задания для самостоятельной работы

Прочитайте речь, произнесенную Н. А. Чаевым в Обществе любителей российской словесности по поводу открытия памятника Пушкину. Проанализируйте это произведение, опираясь на следующие вопросы:

В чём видит Чаев особенности пушкинского таланта?

На какие детали биографии поэта он стремится обратить внимание слушателей?

Какие заслуги, достижения Пушкина он считает наиболее ценными для России? Какие его произведения упоминает, выделяет в своей речи и почему?

Как речь, посвящённая Пушкину, характеризует самого Н. А. Чаева?

Темы докладов, рефератов, исследовательских работ

1. Загадки биографии Н. А. Чаева.
2. Народные сцены пушкинской трагедии «Борис Годунов» и массовые сцены в драматургии Н. А. Чаева.
3. Фольклорные тексты в драме А. Н. Островского «Сон на Волге» и предании в лицах Н. А. Чаева «Сват Фаддеич».
4. Религиозные мотивы в поэзии Н. А. Чаева.

Задания для организации проектной деятельности

Разработайте проект постановки спектакля (или создания кинофильма) по пьесе Чаева «Избрание на царство Царя Михаила Фёдоровича Романова». Напишите сценарий, определите концепцию спектакля (фильма), опишите основные места действия, декорации, костюмы. Подберите актеров для исполнения наиболее важных ролей, создайте для них режиссёрские рекомендации. Проведите общественные слушания, посвящённые вашему проекту.

Алексей Антипович
ПОТЕХИН
(1829–1906)

1

Русский писатель, драматург и театральный деятель А. А. Потехин родился 1 (13) июля 1829 года в уездном городе Кинешме Костромской губернии в семье бедного дворянина Антипа Макаровича Потехина, владевшего небольшим имением в деревне Долгово Кинешемского уезда, служившего казначеем уездного суда. Жизнь и быт костромского мелкопоместного дворянства и крестьянства промышленной зоны России были знакомы будущему писателю с раннего детства.

В автобиографическом повествовании «Из неоконченного романа» Потехин вспоминал о плодотворном влиянии на него родной волжской природы: «Самые ранние детские впечатления его были от Волги... Он знал и видел её во всех фазах её жизни: и раннею весною, когда она снимала с себя зимние ледяные покровы и, разрывая их, с сердитым шумом и треском крушила, громоздила друг на друга и разбрасывала ледяные куски своей зимней одежды, и когда, очистившись от них, она разливалась на необъятном просторе и поднимала свои воды до подножия строений, поставленных на высоком правом берегу. Он любовался ею и в летнее время, когда она мирно и ласково несла на себе целые караваны вооружённых парусами судов, которые казались издали стадом больших белых птиц, спокойно плывущих на её водах, или когда слышалась с этих судов тягучая песня бурлаков, которая почему-то трогала и щемила его сердце. Восторгался он и трепетал от ужаса при виде мощи и силы во время бури, когда Волга сердилась и гневалась, вздыхала и бросала белые разлетающиеся брызгами волны, крутила

и кидала как щепки большие лодки. В воображении мальчика Волга представлялась ему живым существом, которое и дышало, и чувствовало, и любило, и ласкало, и радовалось, и страдало, и гневало».

В детстве же он получил от родителей строгое религиозное воспитание. «На каждую праздничную службу в церкви Благовещенья мать приводила с собою всех своих многочисленных деток, причёсанных, припомаженных, разодетых, выстраивала их перед собою по возрасту и строго наблюдала, чтобы стояли они смиренно, по сторонам не оглядывались, а слушали бы службу Божию и вовремя, когда следует, крестились и кланялись». На мальчика произвела неизгладимое впечатление фреска Страшного суда на церковной паперти. «Внизу картины с одной стороны был нарисован сам страшный сатана с Иудой-предателем, сидящим на его коленях, в его объятиях, окружённый адским огнём, в котором мучились грешники, подвешенные на крючьях то за язык, то за глаз, то за ребро, то вниз головой; кругом их скакали безобразные чёрные дьяволы с орудиями пыток в когтях: с железными вилами, щипцами, связками железных прутьев, которыми они терзали тела подвешенных; а с другой стороны в открытую огненную пасть вереницей шли грешники, среди которых были и цари, и князья, и архиереи, и всяких чинов люди. Сюда с раннего детства водила его, вместе с братьями, няня и, указывая на страдающих в геенском огне грешников, толковала им, что их будут на том свете так же мучить за непослушание, за непочтение к родителям, старшим, за лень, за обман и даже за те грехи, которых дети ещё не понимали и совершить не могли. Ужасом наполнялись детские души, и этот мальчик, как самый нервный и впечатлительный из числа детей, ещё 6–7 лет нередко целые ночи метался в горячечном бреду, ожидая наступления Страшного суда». Глубокая религиозность ощущается так или иначе во всех произведениях Потехина и отличает его от многих литературных собратьев, писателей-демократов 1850–60-х годов. Неслучайно А. М. Скабичевский, критик атеистической ориентации,

упрекал Потехина в «рутинно-моральной» тенденциозности, отказывая его народным драмам в художественной правде за идеализацию «патриархальной морали».

В 1839 году Потехин поступил в Костромскую губернскую гимназию, педагогический коллектив которой состоял из молодых выпускников Московского университета. Никита Павлович Самойлович, Павел Иванович Пермяков, Александр Фёдорович Окатов, Семён Александрович Шереметевский способствовали формированию демократических убеждений у своих воспитанников, пробуждали живой интерес к отечественной литературе, к великорусскому языку, к жизни демократических слоёв русского общества, к судьбе крепостного крестьянства¹. В гимназии Потехин подружился с Сергеем Максимовым, будущим автором очерковых книг «Год на Севере», «Лесная глушь», «Бродячая Русь», «Сибирь и каторга». Он всячески опекал своего младшего товарища, руководил его чтением, снабжал книгами.

В 1846 году Потехин окончил Костромскую гимназию и поступил в Ярославский Демидовский лицей. В этом же году профессором камеральных наук² на кафедру энциклопедии законоведения, государственного права и науки финансов Демидовского лицея был назначен молодой кандидат юриспруденции Константин Дмитриевич Ушинский, оказавший большое влияние на Потехина-лицейста. С 1846 года Ушинский – редактор, а с 1848 года – один из постоянных авторов неофициальной части газеты «Ярославские губернские ведомости», в которых он печатает свои историко-географические очерки. Исследователь творчества Потехина П. М. Тамаев обратил внимание на то, что эти статьи Ушинского оказали большое влияние на раннюю очерковую прозу Потехина: «Потехин прочно усвоил главный урок своего учителя – изучать, исследовать

¹ Подробнее о Костромской гимназии см. в приложении очерк «Из истории Костромской гимназии».

² Камеральные науки давали совокупность знаний, необходимых для управления государственными имуществами.

родной край, описывать его, поскольку в русской литературе мало „путешествий“, а читающая публика не знает не только окраин своей огромной Родины, но и русской равнины. Поэтому ещё со студенческой скамьи Алексей Антипович начал знакомство с родным краем, избородив пешком всю Костромскую губернию. Первый его очерк „Путь по Волге“ запечатлел юношеские наблюдения поры учебы в Демидовском лицее, когда студент Потехин совершал путешествие от Ярославля до Кинешмы».

Под руководством Ушинского Потехин пишет в лицее две научные работы: «Образование присутственных мест при Петре Великом» (отмечена золотой медалью) и «Опека и попечительство». Нашли отражение в творчестве писателя и лекции Ушинского по камеральным наукам. Ушинский говорил, например, о необходимости формирования нового поколения русских предпринимателей. Он утверждал, что современный фабрикант «должен смотреть на своё производство не только как на дело, для которого он существует в мире, но и как на должность, занимаемую им в человеческом обществе, должность, обязанности которой он должен исполнять, если не хочет заслужить укоров совести».

Эти идеи Ушинского Потехин широко использовал в своём творчестве. В романе «Молодые побег», например, он передал их учителю Василию Проскурову: «По-вашему нет выше подвига, как если богатый человек раздаст имение нищим, а в наших глазах этот подвиг выеденного яйца не стоит и никакой пользы не принесёт. А вот если он всё своё состояние употребит на устройство школ, на какое-нибудь предприятие, которое улучшило бы быт рабочих, – одним словом, на какое-нибудь дело народное, общепольное не только в настоящем, но и в будущем, – вот это будет подвиг!» Молодой сын фабриканта Александр Кузьмич пытается в этом романе открыть школу для детей и взрослых. Он говорит, что если бы отец сдал ему фабрику, он бы «много по-другому повёл»: «У меня бы и рабочему народу много лучше было».

В Демидовском лицее завершилось формирование демократических убеждений Потехина. Здесь он почувствовал себя «молодым побегом», представителем нового поколения русских людей эпохи больших перемен. По окончании лицея в 1849 году с серебряной медалью Потехин женился на дочери героя войны 1812 года Марии Петровне Кондратьевой, сестре Геннадия Петровича Кондратьева, певца и режиссёра Петербургской оперы.

2

Некоторое время супруги живут в Москве. Здесь начинается увлечение Потехина театром, и 21 сентября 1851 года в газете «Московские ведомости» появляется первая его статья «Несколько слов о бенефисе г. Шумского». Статья была сочувственно принята читателями, и редакция газеты предложила молодому театралу стать постоянным рецензентом. Одновременно на страницах этой газеты появляется первый этнографический очерк Потехина «Путь по Волге».

Обращаясь к родителям жены, Потехин пишет:

«Мои статьи о московской жизни помещены в № 116, 120, 123, 127, 132 и 133. Может быть, Вам не нравится, что я посвятил своё перо одному театру и тому подобным зрелищам, но характер нашей газеты таков, что не совсем охотно допускает в листы свои повести и лёгкие литературные рассказы. Впрочем, в скором времени, может быть, даже на этой неделе будет помещена статья о Волге, довольно большая, которая протянется, может быть, на несколько номеров „Ведомостей“. Задумываю я также в связи с этой статьёй о Волге поместить другую, о Кинешме: жалко только, что я не могу проверить теперь на месте некоторые свои воспоминания.

Хотя мне и совестно, но я решаюсь беспокоить Вас, неоцененный папенька, потрудитесь меня уведомить в нескольких словах, кто именно из купцов живёт как бы отдельными усадьбами в стороне Кинешемского уезда, прилежащей к Вичуге и Голчихе, каким именно производством

занимаются и на какую приблизительно сумму, а также куда они сбывают свои производства и как называются самые промышленные селения. Мне бы нужно было также знать, сколько человек рабочих на фабрике Фон-Менгдена и крепостные они его или наёмные, на какую сумму простирается его производство и куда сбывается, а также откуда он выписывает пряжу и прочие материалы и за какую плату находятся на его фабрике рабочие. <...> Также потрудитесь уведомить, если можно, на какую сумму приблизительно простирается каждый год ярмарочный торг в Кинешме.

Простите меня, что я так бесстыдно беспокою Вас, бесценный родитель, но я надеюсь, что, во-первых, из любви к своей стороне, а, во-вторых, и для пользы ваших детей, Вы не откажитесь исполнить мою просьбу. Я попрошу Вас также, если можно, когда-нибудь на свободе в нескольких словах, в нескольких чертах передать мне сюжеты тех анекдотов, где выражается так хорошо весёлая, добрая, готовая на самопожертвование душа русского крестьянина. Вы когда-то мне изволили рассказывать их, но я позабыл, а теперь у меня явилось желание облечь эти анекдоты в хорошенькую форму рассказа и поместить в „Московские ведомости“. Ради Бога и ради тех высоких душ, не откажитесь исполнить и эту мою просьбу. <...> Ради Бога, до времени не выдавайте моего секрета, что я хочу писать о Кинешме».

Присланные отцом жены материалы Потехин использовал в очерке «Уездный городок Кинешма» (Московские ведомости. 1852. 17–19 апр.), а затем в очерке «Забавы и удовольствия в городке», опубликованном в Некрасовском журнале «Современник» (1852. № 7). Тогда же появляется «Глава из романа», первая публикация Потехина в журнале «Москвитянин» (1852. № 22).

Впоследствии, в 1856 году, Потехин вместе с Островским, Максимовым и Писемским участвует в литературно-этнографической экспедиции, расширившей его писательский кругозор. Он обследует жизнь народов Поволжья от устья Оки до Саратова и выступает с циклом очерков:

«Лов красной рыбы в Саратовской губернии» (1857), «Река Керженец» (1859), «С Велуги» (1861) и др.

Эти произведения были замечены критикой. В статье «Русская изящная литература в 1852 году» (Москвитянин. 1853. № 1) Аполлон Григорьев писал: «И, во-первых, мы остановим внимание наших читателей на молодом и ещё недавно только вступившем на литературную арену авторе, которого талант обещает в будущем очень много; мы говорим о г. Потехине, которого „Забавы и удовольствия в городке“, напечатанные в „Современнике“, приветствовали мы с живейшим удовольствием, – которого отрывок из романа мы напечатали в двадцать втором номере „Москвитянина“ и которого большую повесть мы представим в этом году. Талант г. Потехина возбудил уже в нас большую симпатию и тогда, когда мы прочли „Забавы и удовольствия в городке“, – нам было очень приятно заметить в этой статейке совершенное отсутствие претензий и насмешливого тона, с которым обыкновенно смотрят наши современные писатели на русский провинциальный быт. Автор рассказа высказывает тёплое сочувствие этому быту, смотрит без иронии на его увеселения, сам желает от души ему веселиться приглашает читателей разделить с ним это желание. Рассказ его дышит весёлостью и отличается отсутствием злых выходок; изредка только автор позволяет себе насмешку над некоторыми дурными чертами провинциального быта: но он смеётся только над истинно дурными чертами, оставляя в покое мнимо дурные, каковы суть: бедность, русские перчатки, неловко сшитые фраки и вообще всё то, над чем так беспощадно глумилась школа фальшивой образованности. Все таковые достоинства можно было заметить и в первой беспритязательной статье г. Потехина, которая, кроме всего этого, понравилась нам и беспритязательностью самой своей формы: гораздо большее явилось уже в его отрывке из романа, – явилась способность создания лиц, умение вести ловко и живо рассказ, объективность в языке и в изображениях, но особенно сильно выступает особенность таланта г. Потехина в его рассказах из крестьянского

быта. Не говорим о надеждах, которые мы воздвигаем на талант г. Потехина, не говорим также о недостатках, свойственных всякому, ещё не установившемуся таланту. Дело в том, что в лице г. Потехина литература приобретает нового талантливую, честного и плодовитого деятеля».

Под «большой повестью» Аполлон Григорьев, по всей вероятности, имеет в виду «Тит Софронов Козонок» (Москвитянин. 1853. № 9) или роман «Крестьянка» (Москвитянин. 1853. № 19–22). Герой первой повести – дворовый человек, беспутный и беспробудный пьяница. Он плетётся в уездный городок на ярмарку и встречается по дороге молодого парня, внука богатого крестьянина, едущего в город продавать мёд. Тит Софронов бесцеремонно вваливается к нему в телегу, навязывается в приятели, а в городе тщетно пытается спойть и поживиться на его счёт. Когда это не удаётся, Тит, сговорившись с приятелями, решает ограбить парня, подстерегает его на обратном пути из города и убивает. Но преступление не проходит для него безнаказанно. Тит бежит домой, испытывает муки совести и сознается. Замечательно, что дед убитого, истинный христианин, прощает преступника и берёт к себе в дом несчастную жену убийцы. А Тит, истерзанный раскаянием, умирает в остроге. Так уже в первом рассказе из народной жизни Потехин вводит в отечественную литературу два типа русских людей: положительный тип богобоязненного крестьянина и отрицательный – расхристанного мужика, в котором, при всей его распущенности, всё-таки не погасла ещё искра Божия. Предвосхищая Достоевского, Потехин раскрывает в своих повестях и романах из народной жизни безмерную широту души русского человека, о которой будет говорить Дмитрий Карамазов в романе Достоевского, написанном гораздо позднее, в 1880 году: «Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Ещё страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину

горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».

В нашей науке и обиходном сознании ещё бытует представление, что «второстепенные» писатели лишь «перепевают» мотивы произведений великих классиков. В жизни бывает чаще наоборот. М. Е. Салтыков-Щедрин высказал однажды основательно забытую, но мудрую и верную мысль: «Значение второстепенных деятелей на поприще науки и литературы немаловажно. Они полезны не только в качестве вульгаризаторов чужих идей, но иногда даже в качестве вполне самостоятельных исследователей истины... Очень часто от внимания инициаторов ускользают подробности весьма существенные, которые получают надлежащее развитие лишь благодаря их последователям. Эти последние дают новые подкрепления возникающим жизненным вопросам, проливают на них новый свет и отчасти даже видоизменяют их».

Потехин принадлежал к замечательной плеяде таких «второстепенных деятелей», которые «обогащали новыми выводами и применениями» живое поле русской литературной жизни. В его творчестве не только раскрывалась с несвойственной литературной классике полнотой жизнь русской провинции, но и появлялись темы и образы, которые были едва намечены или развились значительно позднее у классических мастеров русского художественного слова.

В романе «Крестьянка» Потехин подхватывает мотив Некрасова из стихотворения «В дороге» (1845). Крестьянскую девочку Аннушку берёт на воспитание семья доброго немца-управителя и даёт ей хорошее образование. Когда девушка подрастает, она влюбляется в соседа, молодого барина, который тоже искренне любит её. Но, узнав о крестьянском происхождении невесты, молодой дворянин не может преодолеть сословные предрассудки и покидает Аннушку. Подавленная, разочарованная, оклеветанная, она возвращается в крестьянскую семью. Жизнь здесь становится для неё невыносимой. Как у некрасовской Груши:

Вид такой, понимаешь, суровой...

Ни косить, ни ходить за коровой!..

Сочувствует несчастной Аннушке только её брат Зосима. Девушка не выдерживает и поступает на службу в помещичий дом.

Продолжением этого романа становится комедия Потехина «Шуба овечья – душа человечья». Здесь Аннушка служит у богатой и сумасбродной помещицы гувернанткой её дочери и терпит всевозможные унижения. Но тут появляется молодой помещик, искренне полюбивший Аннушку. Вопреки всем сословным запретам он предлагает ей руку и сердце. Пьеса заканчивается словами Зосимы: «Господи! Кабы побольше было эких людей на белом свете! Вот барин, так барин!»

3

В 1853–1854 годах Потехин определяется в Костроме на государственную службу чиновником особых поручений при костромском губернаторе¹. Алексей Феофилактович Писемский служил в это время в губернском правлении². О костромском периоде жизни Потехин вспоминал: «Я был

¹ Чиновники особых поручений при губернаторе имели статус государственных советников, первых помощников губернаторов. Обычно эту должность занимал молодой, многообещающий чиновник, посылаемый с особыми полномочиями в служебные поездки для изучения и расследования разного рода важных дел. Должность считалась перспективной, карьерной. Чиновники особых поручений были преимущественно потомственные дворяне, часто с военным прошлым. Примерно половина из них имели высшее образование, половина – среднее. Должность рассматривалась как этап карьерного роста.

² Губернское правление – подчиненное губернатору учреждение с постоянным штатом, ответственное за управление губернией. Оно состояло из присутствия и канцелярии, состоящей: а) из 1-го и 2-го распорядительных отделений (занятых общим делопроизводством, разбором разнообразных пререканий ведомств и возглавлявшихся старшим и младшим советниками правления); б) врачебного отделения (под началом губернского врачебного инспектора); в) строительного отделения (под началом губернского инженера); г) ветеринарного отделения (под началом губернского ветеринарного инспектора); д) межевого отделения, иногда называвшегося губернской чертежной (под началом губернского землемера); е) тюремного отделения (под началом губернского тюремного инспектора); ж) типографии и редакции официальной губернской газеты.

друзен и близок с Писемским больше, чем со всеми другими петербургскими литераторами. Нас сблизила жизнь в Костроме, где мы оба служили и в течение двух лет почти ежедневно проводили вечера вместе. Я был молодым, только начинающим писателем, он – гораздо старше меня и уже приобрёл довольно крупное литературное имя. Я дорожил его вниманием и приветом. Он относился ко мне с большою приязнью. И мы скоро сошлись *на ты*. Мы читали друг другу свои произведения часто по листам, по главам, по мере того, как они писались. Или, вернее сказать, больше он прочитывал мне то, что писал за это время, иногда советовался со мною, позволял высказывать своё мнение и даже делать замечания. Но это случалось довольно редко, потому что я слушал его большею частью с восторгом, с увлечением, считал его в то время, как считаю и теперь, большим, сильным, хотя иногда и неряшливым талантом. Я же редко и со страхом решался перечитывать ему что-нибудь из моих новых работ, потому что о моих прежних, напечатанных уже вещах однажды он, со свойственной ему откровенностью, выразился таким образом: „Ты бесспорно умён и берёшь только умом, а таланта в тебе я не вижу“, – и только один раз, слушая какой-то отрывок из романа „Крестьянка“, который я в то время писал, промолвил: „Вот это талантливо! Это хорошо!“».

Театральные увлечения Потехина не погасли и в Костроме. В это время костромская общественность увлекалась любительскими спектаклями. Об актёрских успехах Потехина и Писемского постоянно писали «Костромские губернские ведомости». Дружба Потехина с Писемским являлась одной из немногих отрад костромского периода его жизни.

В свободное от службы время Потехин наезжает в Москву. В своих воспоминаниях он пишет: «Это было в начале пятидесятых годов, когда я только что вступал на литературное поприще. Бывши в Москве, я случайно познакомился и сошёлся с кружком молодых людей, составляющих так называемую молодую редакцию „Москвитянина“».

Это были Григорьев, Эдельсон, Т. И. Филиппов и среди них, не как центр, а как предмет общего в то время поклонения, почти благоговейного обожания – А. Н. Островский. Я читал в этом кружке мои первые беллетристические опыты и мою первую драму „Суд людской – не Божий“ и был благосклонно и дружелюбно принят в их среду».

Эту первую «мужицкую» драму Потехин писал под влиянием пьесы Островского «Не в свои сани не садись» (1853). Вслед за нею пошли другие: «Шуба овечья – душа человечья» (1854) и «Чужое добро впрок не идёт» (1855). Но если в центре внимания Островского была купеческая среда, то Потехин рискует создать драму на почве крестьянской жизни. Зная её, что называется, из первых рук, Потехин заметил, что русское крестьянство в середине и второй половине XIX века погружалось в состояние глубокого духовного кризиса. Устои старой патриархальной морали зашатались не только в купеческой, как заметил Островский, но и в крестьянской среде. В основу коллизии драмы «Суд людской – не Божий» положено событие, нарушающее старую патриархальную мораль: молодые люди вступили в любовную связь, пренебрегая родительским благословением. Парень, Иван, – сирота, бедняк. Девушка, Матрёна, – из богатой крестьянской семьи. Узнав о случившемся, отец проклинает дочь, и это проклятие так действует на несчастную Матрёну, что лишает её рассудка.

Казалось бы, возмущённый поступком дочери отец действует «по писанию», сурово осуждающему «прелюбодеяние». Но деревенские соседи замечают, что в его патриархальном «благочестии» есть изрядная доза гордыни: «Не говори, девка... Тоже ни единой обедни не пропустит, книги святые читает, милостыню подаёт... А нет у него ласкового слова». И вот теперь, когда помутившаяся рассудком дочь пропала бесследно, отец её, Николай Спиридоныч, приходит к осознанию греховности своего проклятия: «Бог злым грешникам прощает, а я не простил вины девичьей своей дочке единоутробной... Злобой обуялось моё сердце немощное!.. Не чаял я этого от неё, не гадал.... Учил

я её не тому, а Божьей заповеди, любил её, лелеял, словно не-счечко¹. Перед добрыми людьми похвалялся её кротостью, да послушливостью, да целомудрием... Ванька малый добрый, любил её, хоть и согрешил, так раскаялся, хотел весь грех венцом да Божьим благословением прикрыть. Не умел я и души его распознать из одного того: думал, не такого жениха стоит моя Матрёна... Гордость ведь это, други!»

И обращаясь к возлюбленному Матрёны Ивану, Николай Спиридоныч говорит: «Сам за себя молись, дитятко. Своя молитва скорее Господа достигнет, коли от души, от чистого сердца вознесёшь её. А больше того – не отчаивайся! Почём ты знаешь волю Божию? Не изведаны пути Его. Может, Господь только испытанье такое налагает на нас за все наши грехи, и должны мы его переносить с терпением и покорностью... Вот, не будь этого случая, не знал бы я, что ты парень добрый, что любил ты мою Матрёну от всего сердца... Гнушался я тобой, за то Бог меня и наказал!.. Вздумал я судить вас своим судом, не положился на волю Божию, вот и прогневался на меня Создатель. Буди Его святая воля!»

Стремясь отмолить грехи, Николай Спиридоныч идёт вместе с Иваном на богомолье к Киевским святыням, а на обратном пути, на постоялом дворе, является им Матрёна. Так за покаянные молитвы Бог им возвращает её. Но Матрёна отказывается от замужества: она остаётся Христовой невестой и решает посвятить свою жизнь молитве. А Иван уходит в солдаты служить царю-батюшке да матушке-России.

В середине XIX века многие считали, что крестьянская жизнь не может дать живого материала для драмы. Потехин спорит с такими представлениями устами своего героя из крестьян. «Моё горе – от души, да от сердца, – говорит Иван в финале пьесы проезжему барину, – а по тебе – какое-де у мужика сердце, какое-де у него чувство...» И барин побеждён неожиданной для него развязкой драмы. «Трогательная история! – восклицает он, утирая слезы. – Именно наши крестьяне... удивительный народ!.. с душой!..»

¹ Несчечко (нешечко) – гостинец, дорогая вещь.

Сочувственно отнёсся к этой драме и сам редактор «Москвитянина» Михаил Петрович Погодин. Потехин вспоминал об этом так:

«Когда я прочитал ему мою первую драму „Суд людской – не Божий“, которая ему очень понравилась, он сам, без моей просьбы, вызвался помогать мне в проведении её на сцену, что в то время для молодых начинающих писателей было очень трудно как со стороны драматической цензуры, ведавшейся 3-м отделением, так и со стороны театральной дирекции, почему-то смотревшей на новых неизвестных авторов неприязненно и даже враждебно, как на людей не призванных, нарушающих её олимпийское спокойствие. Погодин, чтобы помочь мне в этом отношении, придумал такой путь: он написал обо мне письма к нескольким влиятельным в Петербурге лицам, своим знакомым, и вручил мне письмо к Головнину, бывшему тогда директором военно-походной канцелярии генерал-адмирала, великого князя Константина Николаевича, с которым я явился к нему в Петербург. Результатом этих писем и особенно, конечно, последнего, было то, что я получил приглашение явиться вечером в Мраморный дворец для прочтения моей пьесы великому князю.

Чтение продолжалось более трёх часов и было выслушано с глубочайшим вниманием. По окончании его меня осыпали похвалами и поощрениями и великий князь, и великая княгиня, и всё это было так просто, так гуманно и искренно, что я ушёл совершенно очарованный и счастливый. Великий князь тотчас же приказал написать от себя и послал бумаги к шефу жандармов с просьбою немедленно рассмотреть в цензуре мою пьесу и к министру Двора о скорейшей постановке её на сцене. Это было в декабре месяце, но и при таком покровительстве постановка моей пьесы состоялась на следующий год и в самое неблагоприятное время 29 апреля 1854 года, когда публика перестаёт посещать театры».

По точной характеристике Е. П. Потехиной, успех этой пьесы был неслучайным: «...в бытовых пьесах драматурга

слышится собирательный голос той среды, в которой он вырос. У него нет ни идеализации, ни игрушечного „мужичка“, ни мужичка вообще, что „смирением велик“. Перед нами впечатления, непосредственно воспринятые чуткой душой и переданные с той любовью к быту, во всех его проявлениях, которая составляет отличительную, характерную черту писателя. Другая характерная особенность Потехина – его язык: это не условная книжная речь, а чисто русский красивый и образный язык, простой и вместе с тем художественный, не сочиненный, а подсказанный самой жизнью; он выработался у него как-то сам собою, в постоянном общении с живыми источниками народного словесного творчества. И весь склад мысли, этим языком выражаемой, совершенно народный, бытовой, а не „городской“. Оттого-то он и является несомненным мастером русского слова, свободно отдаваясь своему художническому чутью, которое никогда его не обманывало».

Потехин чувствует нарастающие драматические перемены в народном мире в связи с проникновением в него новых буржуазных отношений. Тема губительного влияния денег на человека лежит в основе сюжета пьесы «Чужое добро впрок не идёт» (Отечественные записки. 1855. № 11). «В настоящей драме, – говорил Потехин, – я должен был иметь дело с самыми грубыми элементами души: я должен был проследить падение человека вследствие самой жестокой страсти корыстолюбия». Главный герой пьесы Михайла, став случайно обладателем огромной суммы денег, оброненных богатым купцом, знакомым его отца, почувствовал, что с деньгами ему всё позволено. И когда отец отбирает у него эти деньги, жестокая страсть приводит к тому, что Михайла хочет убить отца, но в последний миг наступает прозрение и раскаяние. Михайле противопоставлен в пьесе другой герой, брат его Алексей, носитель ничем не замутнённой христианской нравственности. Вмешательство Алексея в ход событий как раз и предотвращает назревавшую трагедию.

Пьеса имела большой успех на сцене Александринского театра. Премьера состоялась 15 декабря 1855 года. Потехин вспоминал:

«Театр был полон, ожидание публики сильно возбуждено: в первый раз на александринской сцене шла драма вся целиком из крестьянского быта, в которой, притом, принимали участие любимцы публики – Мартынов, Самойлов, Ланская. Открылся занавес. На сцене были двое: старик отец, крестьянин Степан Фёдоров – Самойлов, и сын его, деревенский ямщик – Мартынов. С первого взгляда на фигуру Мартынова, с первого произнесённого им слова почувствовалась жизнь, правда на сцене, как будто то был не актёр, загримированный и по-мужицки одетый, приготовившийся исполнять свою роль и создать для зрителя известную иллюзию, но настоящий, реальный молодой крестьянин-ямщик вышел на подмостки театра: Мартынов в этой роли был неузнаваем. Всё: лицо, его выражение, одежда, движения, звук голоса, говор, – всё это было мужицкое, не деланное, а как бы прирождённое. Это было полное перевоплощение. Зритель видел перед собой молодого лихого деревенского парня, грубоватого, но добродушного, с широкою размашистою натурой, сангвиника, неуправляемого в своих увлечениях, в страстном порыве равно способного и на зло, и на добро, но не лишённого инстинкта или чутья правды и совести, человека впечатлительного, но слабовольного, выросшего в замкнутой патриархальной семье со всеми её добрыми и дурными традициями, но чувствующего постоянную потребность более независимой и широкой жизни. <...> И несмотря на то что в продолжение всей пьесы Михайло вёл себя не по-рыцарски: хотел затаить чужие деньги, напивался пьян до бешенства, вдавался в разгул, буйствовал и даже покушался на убийство отца, – зритель не переставал любить его, не отворачивался от него с отвращением, как от безнадежно развращённого, но жалел его и бессознательно чувствовал, что такая натура не должна безвозвратно погибнуть. Такое впечатление, разумеется, весьма желательное и для автора, давало это лицо

благодаря художественному исполнению Мартынова, сделавшему его вполне живым человеком, умевшему указать добрые задатки, хорошие человеческие черты в этом невежественном мужике, доходившем подчас под влиянием вина и страсти чуть не до зверского бешенства.

После первого представления „Чужого добра“ прямо из театра я поехал на вечер к Краевскому. Там было несколько человек литераторов, из которых многие были на этом представлении. Много поздравлений, приветствий и похвал пришлось мне выслушать, но никто меня не порадовал и не осчастливил так, как А. Ф. Писемский своим отзывом. <...> Я знал, что Писемский не из тех людей, которые способны увлекаться и приходить в восторг и умиление от чего-либо, – напротив, он был склонен к скептицизму, к иронии, к отрицанию, и в приговорах своих, и в насмешке был иногда беспощаден и зол. Поэтому когда я увидел его входящим к Краевскому и услышал, что он заявлял кому-то, что сейчас прямо из Александринского театра, я готов был спрятаться от его глаз, чтобы не услышать какой-нибудь неблагоприятный или насмешливый отзыв о моей пьесе и тем не нарушить то радостное, счастливое настроение, которое испытывает каждый автор при несомненном, как ему кажется, успехе его литературного детища. Но в это время Писемский увидел меня, быстро подошёл ко мне, обнял с несвойственной ему нежностью и, пожимая мою руку, проговорил: „Вот эта драма настоящая! Я до сих пор не могу отделаться от впечатления. Спасибо тебе!“ Эти слова были для меня самой большою радостью дня, самой высокой наградой. Дружба моя с Писемским продолжалась до конца его дней, и, вспоминая о нём, я всегда с грустью думаю о том, как мало и неправильно был он понят и оценён не только как человек, но даже и как писатель».

Художественный опыт Потехина-драматурга не остался в нашей литературе без последствий: он учитывался А. Ф. Писемским и Л. Н. Толстым при создании «Горькой судьбины» и «Власти тьмы». Вот как оценил Толстой творчество Потехина в одном из писем к нему от 18 февраля

1887 года: «Полагаю, что в драматическом и театральном деле после Островского нет знатока лучше Вас; то же, что в деле народного быта нет знатока равного Вам, это я уж сам знаю. <...> Я всегда чувствовал близость с Вами по Вашим произведениям, которые любил и люблю, и по коротким и случайным встречам у меня составилось о Вас представление как о вполне близком и родственном человеке».

Но демократическая критика в лице А. М. Скабичевского иначе оценила эту пьесу: «Михайло и Алексей – это те же Карл и Франц Моор шиллеровской драмы: идеально добродетельный Алексей доводит свою педантическую легальность до того, что отдаёт отцу каждый гривенник, полученный на водку, хотя отец вовсе этого не требует; Михайло же, человек живой, страстный, увлекающейся, тяготится гнётом отцовского деспотизма, постоянно мечтает о разделе; его тяготит жена, навязанная ему, конечно, насильно, ему хочется разгуляться по белу свету, всего посмотреть и испытать! „Эх, – говорит он, – кажись, кабы деньги, всего бы этого насмотрелся, всякое бы себе удовольствие получил, да таких бы лошадей себе накупил, что земля бы подо мною дрожала... Просто неси, вихорь-атаман, разнеси ты мои косточки“. Правда, грубы и материальны его мечты, но что же делать, если такова уж была обстановка, что не могла внушить ему более высоких и разумных стремлений? И в таком виде, в каком является перед нами Михайло, он способен неизмеримо более возбудить в нас симпатию, чем Алексей, – этот истукан, доведший обезличие до отсутствия всякого живого стремления, ничего не желающий, не смеющий и смотрящий, как на великий грех, на каждый самостоятельный шаг помимо отцовской воли. Тем не менее, автор становится на сторону Алексея и выводит его добродетельным героем драмы, положительным, идеальным типом, оттеняющим собою отрицательный тип развратного Михайлы. <...> Драма кончается умирительно: отец по просьбе всё того же добродетельного Алексея прощает своего преступного сына, который обещает исправиться и пребывать впредь в полном повиновении родителю,

и в то же время старик спешит отвезти по принадлежности деньги, наделавшие столько беды, убедившись, что чужое добро впрок не идёт. Такую же сентенцию в духе прописной морали мы видим и в драме „Суд людской – не Божий“».

Христианская основа крестьянских драм Потехина вызывала отрицательную оценку не только у демократов-семидесятников. Особенно упорно и последовательно это проявлялось в литературоведении советского периода: замалчивалась значительная часть художественного наследия Потехина. Нельзя не заметить с сожалением, что и до сих пор большинство его произведений, особенно повестей и романов, лежит под спудом и недоступно широкому читателю.

4

В 1856 году в журнале «Библиотека для чтения» выходит в свет роман Потехина «Крушинский», работу над которым он завершил в сорока километрах от Кинешмы, в имении своей жены Орехово, в 1855 году. В этом романе писатель за шесть лет до тургеневских «Отцов и детей» пытается создать тип убеждённого демократа, сына сельского дьячка, одарённого полкового лекаря Аркадия Николаевича Крушинского, вступающего в непримиримое столкновение с дворянской аристократией. В качестве доктора он попадает в семью богатого помещика Фёдора Ивановича Коркина и успешно лечит его. Фёдор Иванович принадлежит к старинной дворянской фамилии, чем очень гордится и что в себе ценит в первую очередь. У него сравнительно молодая жена, Катерина Михайловна, капризная и избалованная. Она часто впадает в уныние, мнит себя страдающей от бесконечных недомоганий и болезней. Но в то же время она сентиментальна и влюбчива: при виде каждого молодого человека привлекательной наружности она оживает и кокетничает с ним. Однако лекарь держится с нею хладнокровно, вежливо и гордо, её ухаживания он встречает со «снисходительной», а то и с «презрительно-насмешливой» улыбкой. Супруги ждут возвращения из Петербурга

молоденькой дочери-институтки Наденьки, и Катерина Михайловна, желая пофлиртовать от скуки с лекарем, всячески пытается привлечь его к своему дому, сообщая ему о приезде дочери.

«Нет, он гордая штучка, – говорит своей старой няньке Катерина Михайловна после его отъезда, – он много о себе думает, дали пятьдесят целковых за визит – хоть бы спасибо сказал, ни словом не поблагодарил. Он какой-то холодный, равнодушный: говорю про Наденьку, рассказываю, какая она красавица – ничего, хоть бы сколько-нибудь заинтересовался...

– Ну, да ведь и то сказать, матушка, что ему интересовать: ведь уж он нашей Надежде Фёдоровне не жених?

– Вот ещё что сказала! Смеет ли он подумать об этом – какой-нибудь лекаришка...»

«Что за странная баба!¹ – размышляет в свою очередь Крушинский о Катерине Михайловне, покидая имение. – Мне не раз представлялось, что она волочится за мной. И при всей этой простоте нравов, какая гордость, какое чванство своим знатным родством. А может быть они даже не считали за нужное стесняться при мне. Я лекарь, наёмщик в их глазах...

Крушинский болезненно и насильственно засмеялся при этой мысли, которой он не дал дальнейшего хода в своей голове. Щёки его вспыхнули багровым румянцем и не от морозу. Крушинский имел благородную, горячую душу и тёплое сердце, но он был страшно горд. Эта гордость составляла его достоинство и его недостаток. Это чувство в нём было не столько природное, сколько привитое жизнью и тем положением, которое он занимал в обществе».

И Потехин приводит далее эпизод, непосредственно заимствованный из своего гимназического опыта, из воспоминаний об уроках и поучениях Никиты Павловича Самойловича: «Один из товарищей вздумал посмеяться над происхождением и родством Крушинского. Но другой

¹ Сравните слова Базарова об Одинцовой: «Это что за фигура? – проговорил он. – На остальных баб не похожа».

товарищ сказал: „Ты смеёшься над тем, за что должен был уважать Крушинского. Сын дьячка, без всяких средств, пешком, с одной только любовью к науке, пришёл сюда и что успел из себя сделать? Он украшение нашего факультета. Из ничтожества он вышел и силою своего гения сделал то, что есть. А ты и был, и останешься навсегда ничтожеством, несмотря на все выгоды твоего происхождения и состояния“».

Посещая дом Коркиных, Крушинский влюбляется в Наденьку. Отец её и в мыслях не может допустить этого. Полкового лекаря он искренне презирает: «Признаюсь, сколько я ни обязан этому молодому человеку за то, что он помог мне в болезни, но мне он очень не нравится и излишнею гордостью, и самонадеянностью, и неуважением к людям, и непониманием того положения, которое должен занимать в обществе по своему происхождению. Он выскочка, не успел ещё сделать ничего такого, чем бы мог заставить позабыть, что он сын дьячка, и считает себя за великого человека».

Ситуация осложняется появлением у Крушинского соперника, князя Бандурова. В доме Коркиных его принимают как достойного жениха. Но в уездном обществе у Наденьки появляется немало соперниц. Все они хотят видеть князя Бандурова своим ухажёром, все они мечтают сделать его своим женихом. Наденька вызывает у провинциальных невест жестокую ревность. Уездное общество пытается бросить тень и на неё, и на всё их семейство. В городке ползёт сплетня о связи Крушинского и с женой, и с дочерью Коркина...

Потехин уходит в подробное описание всех этих слухов, низменных сплетен, пошлых интриг. Как писателя-натуралиста, беллетриста-этнографа, его притягивают картины запутанных отношений в чиновном мире уездного городка. Возникает ощущение, что писатель тонет в мелочах. Ключевые в сюжете романа отношения между Наденькой и Крушинским уходят на второй план. Но никому, кроме Потехина, достойного последователя «натуральной

школы», не удавалось с такой наглядностью вывернуть перед читателями всю подноготную провинциальной жизни, всю её неприглядную изнанку. Потехин даёт нам почувствовать отсутствие единства в дворянском обществе, глубокий сословный кризис и раскол, совершающийся в нём. Чистая любовь Наденьки и Крушинского подвергается здесь циничному поруганию. На специально устроенном бале провинциальные дворяне устраивают Наденьке скандал, после которого всё её семейство вынуждено покинуть деревенскую усадьбу и перебраться в Петербург.

Прощаясь с Наденькой, Крушинский говорит: «О, я докажу им, твоим родителям, что достоинство и величие человека не в богатстве и не в происхождении, а в том, что он *человек* в полном смысле слова, в его нравственном могуществе».

Но отец девушки не оставляет разночинцу никаких надежд: «Храни меня Бог даже от мысли оскорбить вас. Но согласитесь: равенства нет и быть не может на земле. Всякому указана своя дорога и всякий должен идти по ней. Вы не виноваты, что судьба, при ваших высоких достоинствах, дала вам такое происхождение; но пути наши различны и сойтись вместе не могут...»

Крушинский решает держать экзамен на доктора в Петербурге, всё-таки надеясь и здесь встретиться с Наденькой. Но семейство Коркиных делает всё, чтобы этого не допустить. Потерянный Крушинский заболевает чахоткой. Через своего доброго приятеля он узнаёт адрес Коркиных и вызывает Наденьку на прощальную встречу. Отец не отпускает её одну и приезжает вместе с нею.

«– Благодарю вас, благодарю вас, – говорил Крушинский, не сводя глаз с Наденьки. – И вас благодарю, – продолжал он, обращаясь к Коркину и протягивая ему руку.

Фёдор Иванович подал свою... она дрожала.

– Я тотчас поспешил приехать, как только узнал, что вы так нездоровы.

– Да, исполнили волю умирающего, проститься нужно, свет этого не осудит, – проговорил Крушинский, и горькая усмешка пробежала по его лицу.

Наденька тихо плакала.

– Не плачьте, – сказал больной, взял руку Наденьки, поцеловал её, прижал к лицу, к груди и потом долго смотрел на девушку. Слеза выкатилась из его глаз.

– Вы не перестали любить меня? – спросил он.

– Нет.

– Ну, не плачьте... Что же делать... Так надо... Может быть, всё к лучшему. Нам бы не победить... Предрассудок силён... Только бы напрасное страдание... Я во всём виноват... Жалко только вас да моей семьи... Отец умер, одна мать-старуха, маленькие братья и сёстры...

– За ваше семейство будьте спокойны, Аркадий Николаевич, – сказал Коркин, – оно не будет оставлено.

– Не смейте! – вскричал больной, и глаза его засверкали гневом и негодованием, бледное лицо запылало неестественным огнём. – Не смейте оскорблять умирающего! Вот кто не оставит... – и Крушинский указал на своего приятеля.

В отличие от тургеневского Базарова, Крушинский уходит из жизни побеждённым. Тип юноши-разночинца встречается у Потехина и далее, почти в каждой из его обличительных драм. И всякий раз он терпит незаслуженные обиды и оскорбления. В комедии «В мутной воде» это сын управляющего именем Пётр, окончивший юридический факультет университета. В разговоре с графом Пётр, как передовой человек, говорит: «Я ожидаю судебной реформы. Хочу посвятить себя адвокатской деятельности». – «А-а! Вы тоже реформы ждёте. Нынче все реформы ждут, только о реформах и думают... Ни денег, ни средств, ни подготовки, а все кричат, требуют: реформы, реформы подавай! Вы, видно, тоже из нигилистов, молодой человек, хотя отец-старик и уверял меня, что не понимает даже этого названия... Признавайтесь: из нигилистов?» – «Я тоже не понимаю этого слова. По-моему, оно неудачно выдуманно, неудачно, случайно вошло в моду и ровно ничего не значит...», – гордо отвечает Пётр. Но обстоятельства складываются так, что юноша вынужден унижаться и просить у сильных мира сего «доходного места».

Таков мировой посредник Пётр Алексеич Демкин («Отрезанный ломоть») из чиновных дворян, влюблённый в дочь богатого помещика-самодура и выслушивающий от него такую отповедь: «О, так ты ещё не знаешь меня, молокосос! Ты и в самом деле думаешь, что без моего позволения тебе удастся смешать свою холопскую кровь с моею... Вон, вон из моего дома, и чтобы нога твоя не была здесь!.. Вон, я тебе говорю!»

Кандидат университета Скворцов в комедии «Выгодное предприятие», домашний учитель в семье богатого дворянина, тоже чувствует себя униженным: «И что я в их глазах? Учитель на жалованье, бедняк, который мечтает ворваться в богатую семью, из корыстных расчётов ухаживает за девушкой. Может быть, даже она сама это думает и в душе презирает меня вместе со всеми другими...»

Однако Потехин показывает, что и дворянское сословие теряет свой социальный статус. Начинается материальное и духовное его оскудение. Характерен финал романа «Крушинский», вариативно повторённый в комедиях «Выгодное предприятие» и «Новейший оракул». Семейство богатых провинциальных дворян Коркиных становится жертвой высокопоставленных петербургских дельцов из великосветской аристократии. Князь Мирзабеков, слывущий богачом, делает предложение Наденьке. Потерявшая навсегда любимого человека, Наденька отвечает родителям: «Делайте со мною, что хотите! Мне всё равно: я на всё готова... Видно, так Богу угодно».

Накануне свадьбы Мирзабеков предлагает отцу Наденьки выгодное предприятие – пустить в оборот весь имеющийся у него капитал. Простодушный провинциал соглашается и отдаёт в руки князя без всякой расписки 100 тысяч. Князь спокойно кладёт деньги в карман, любезно прощается с отцом невесты и навсегда пропадает из обманутого семейства. Брат Наденьки с трудом, после многих неудач, почти насильно врывается в дом мошенника-аристократа:

« – Ах, здравствуйте, мой милый, – сказал князь, несколько не смутившись. – Что вас давно не видать?»

– Вас, князь, тоже давно не видно. Я у вас несколько раз был, но нынче к вам очень труден доступ, а вы нас совсем забыли.

– Виноват, виноват... Столько дела, что никак не могу найти свободного времени... Не хотите ли сигару?

– Князь, мне странно вас слушать.

– А что такое, молодой человек?

– Да разве вы позабыли, что моя сестра – ваша невеста?

– Может быть, желала или желает теперь?

– Что же вы? Шутите над нами? Вы делали предложение моей сестре, вам дали согласие, вы считались женихом.

– Будто? Благодарю за честь... Кому же это известно, кому я объявил, что женюсь на вашей сестре? <...>

– А деньги?

– Что такое: а деньги?

– Сто тысяч серебром, которые вам дали отец и тётка.

– Как дали? Я что-то не помню: меня никто не дарил такими большими суммами...

<...>

– Его нельзя ни в чём уличить: мы поддались мошенничеству, ловко обдуманному, – сказал Фёдор Иваныч. – Ещё одно наказание! – прибавил он, смиренно опуская голову».

И вот печальный итог романа: «Коркины уехали в деревню. На Фёдора Иваныча смерть Крушинского и потеря денег произвели сильное впечатление, он вдруг заметно постарел и совершенно потерял характер: сделался капризен, брюзглив и слушался, как ребёнок, только одной Наденьки. Впрочем, он недолго и жил после этого. Наденька навсегда осталась в девицах, жила уединённо и посвятила себя молитве».

5

С началом общественного подъёма 1860-х годов Потехин обращается к тенденциозной, обличительной драматургии. В пьесах «Мишура» (1858), «Новейший оракул» (1859), «Отрезанный ломоть» (1865), печатающихся в «Отечественных записках», «Современнике» и других ведущих

литературно-художественных журналах, он решает проблему «отцов и детей», обличая крепостников и чиновников-бюрократов, отстаивая свободу личности и идеи женской эмансипации. В комедии «Вакантное место» (1859) он разоблачает сановный либерализм, приспособляющий новые идеи к сохранению старых бюрократических устоев. Н. А. Добролюбов, отмечая «недостаток смеха» в комедии «Мишура», назвал её произведением «замечательным по своей силе». В этой комедии «...Потехин показал, что взяточничество не только не единственное, но даже и не главное зло в мире чиновной бюрократии. Герой его комедии молодой и преуспевающий карьерист Пустозеров взяток не берёт из принципа. „Высоко наслаждение чувствовать себя бескорыстным, – самодовольно заявляет он в самом начале комедии. – Для этого чувства я готов все перенести, готов умереть, но и существовать на 900 целковых в годы самой пылкой молодости... поставленному на вид в целой губернии, развитому и образованному человеку, видеть беспрестанно возможность обогатиться и отталкивать все соблазны с презрением – это не последний подвиг“. Отказываясь от предложенной ему взятки, он восклицает: „Когда же наконец убедится этот дикий народ, что могут быть на Руси чиновники, совершенно неподкупные?“ Для Сологуба или Львова этих фраз было бы достаточно, чтобы герой мог претендовать на симпатии зрителей. Потехин же показывает Пустозерова человеком сухим, эгоистичным, равнодушным к делу, жестоким, способным на любую подлость ради карьеры. Привычка к лицемерию настолько вошла в его плоть и кровь, что он лицемерит даже наедине с самим собой. Так, обольстив дочь своего секретаря, он оправдывает себя в собственных глазах высокими побуждениями: „Жениться на ней? А карьера, а служба, а общественная польза, для которой живу...“»

Драмы Потехина были популярны на русской сцене, но подвергались цензурным запретам и преследованиям. Пьеса «Отрезанный ломоть» после 14-го спектакля была запрещена за резкость критики, а «Вакантное место» получила

цензурное разрешение лишь в 1880 году, причём с большими купюрами.

Наиболее удавались Потехину произведения бытописательного характера. Критически оценивая его мужицкие драмы за сентиментальность, Скабичевский в статье «Винегрет современной морали», опубликованной в № 4 «Отечественных записок» за 1874 год, сочувственно отнёсся к его романам. На них, по его словам, «натыкаешься, как на оазис в степи и отдыхаешь душой». Таков роман «Бедные дворяне» (1861). Скабичевский пишет:

«Вы не найдёте здесь и следа сентиментальной морали, ни малейшего побуждения к изображению добродетельных героев, отрекающихся от своей человеческой личности ради сохранения невинности и видящих высший нравственный идеал в смиренномудрии, незлобии, уважении к старшим, повиновении и пр. Героем романа является бедный дворянин Никанор Александрович Осташков, воспитанный совершенно как крестьянин и ничем не отличающийся от окружающих его мужиков. Находящийся под сильным влиянием тётки, женщины смышлёной и энергической, и беспрекословно подчиняясь ей во всём, человек недалёкого ума, он является в начале романа перед нами трудолюбивым парнем, способным сделаться усердным хозяином-земледельцем. Но, женившись на дочери вольноотпущенной дворовой, он подчиняется новому влиянию тётки Прасковьи Фёдоровны, которая совращает его с правильного пути, твердя ему, что он – дворянин, что ему следует идти в дворянское общество, где он имеет право быть принятым на равной ноге, где он может приобрести и покровительство, и участие, может приобрести знание хороших манер, где его всему научат и впоследствии определят на какую-нибудь дворянскую службу. Подобные внушения кончились тем, что Прасковья Фёдоровна повела его, наконец, к дворянам и втиснула в их круг. Но что же обрёл в этом кругу бедный Осташков вместо ожидаемого участия, покровительства, учения и определения на службу? Дворяне начали глумиться над их собратом, нежданно-негаданно

вторгшимся в их среду с внешностью мужика с головы до ног; его наряжали в разные шутовские костюмы, били нагайками, травили собаками, одним словом, он явился в их общество в качестве шута. Сначала такое положение тяготило Осташкова, но потом он мало-помалу втянулся в свою должность шута, ему понравилась возможность жить на чужих хлебах, ничего не делая и получая сверх того подачки. Картина постепенного превращения Осташкова из скромного, честного труженика в лентяя-дармоеда, пресмыкающегося у разных благодетелей-милостивцев, терпеливо переносящего любые поругания, подобострастно кланяющегося, восхваляющего и униженно выпрашивающего разных подачек, надо отдать справедливость, исполнена Потехиным мастерски.

С другой стороны, переводя своего героя от одного благодетеля к другому, Потехин раскрывает перед нами такую ужасающую картину праздности, пьянства, разврата, грубого животного эгоизма, дикого бесчеловечия, гордого высокомерия и дряблой бесхарактерности, что волосы становятся дыбом, читая всё это, и между тем всё это совершенно правдиво и реально, без малейших преувеличений и искажений. Одним словом, за одних „Бедных дворян“ можно простить Потехину все грехи его прочих произведений.

Сличая „Бедных дворян“ с остальными произведениями, невольно приходишь к мысли, что Потехин не понял своего таланта и не умел постоянно держаться своей настоящей дороги. Начать с того, что Потехин большую часть своей литературной деятельности посвятил драматической поэзии, тогда как он не создан был ни драматургом, ни комиком...

Судя по „Бедным дворянам“, настоящее призвание Потехина есть скромный удел беллетриста-фотографа. Потехин должен, по моему мнению, воздерживаться всеми силами от всякой попытки что-либо художественно создавать, полагаясь на свою творческую фантазию, а тем более пытаться выводить идеальные типы, которые всегда у него выходят безжизненно отвлечённые... Удел Потехина – изображать

бесхитростно ту обыденную действительность, которая окружает его и с которой он хорошо знаком, изображать её во всей правде, как она ему представляется, ничего к ней не присочиняя и не подвергая её никаким нравственным приговорам. Читатель сам будет знать, какие ему сделать выводы из подобных изображений».

Между прочим, сюжет «Бедных дворян» взят Потехиным из живых наблюдений над мелкопоместным дворянством Костромской губернии. Ещё в письме к М. П. Погодину от 4 июля 1854 года из Кинешмы Потехин сообщал: «Я теперь живу в деревне настоящим схимником: ни с кем не знаком, ни к кому не езжу, меня посещают только родные да мужики, дружба с которыми у меня скрепляется час за часом. Чем больше живу в деревне, тем ближе знакомлюсь с бытом и натурою крестьянина, тем больше люблю его, удивляюсь богатству его нравственных сил и убеждаюсь, как мало знают его и дурно понимают городские жители. Не забыть мне фразы одного цивилизованного дикаря в модном пальто, которого я встретил в Москве. „Жаль, что вы тратите ваш талант на такой быт, из которого нечего черпать, – сказал он мне, – что вам за охота поэтизировать невежд, которых вся жизнь проходит среди коров, овец, лошадей, которые ничего не понимают и вряд ли умеют чувствовать по-человечески, потому что выражают любовь свою побоями“. Вся душа моя перевернулась от этих слов. <...> Кстати, я познакомился здесь с одним однодворцем, который, по своим документам, прямой потомок князей Бельских. Этот однодворец жил до некоторого времени как простой мужичок, женат на дочери вольноотпущенной девушки, не умеет ни читать, ни писать, владение его всего девять десятин земли; человек он от природы добрый, честный, смиренный, но не очень умный. Жил он просто, по-крестьянски, работал, пахал землю, не стыдясь, вел хлеб-соль с мужиками; но вот ему растолковали, что он дворянин, что род его коренной дворянский, чуть ли не семисотлетний. Что же вышло? Встосковался однодворец о своей бедной доле, стыдится работать бок о бок с крестьянами, не занимается

хозяйством, взвалил всё на свою бедную жену: „Ты, дескать, такой крови, что тебе надобно работать, а моя кровь не такая“; шляется по помещикам, чтобы позаняться уму, рядится каким-то шутом в платья, полученные от щедрот помещиков, беспрестанно жалуется на свою бедность и на трудность работы, которою ему заниматься-де не пристало. А между тем дочь его, премилая и преумная девушка, влюбилась в крестьянина, славного, лихого парня, и вышла за него замуж; отец стыдится этого брака, несмотря на то что зять и умнее и зажиточнее его, а семья зятя корит бедную женщину её дворянством, с которым её отец носитя каждую минуту и живёт бездомным, и требуют от неё двойной работы: что мы, дескать, брали тебя в дом не за твое дворянство, а пошла к нам в дом, так будь у нас работницей, а дворянство своё забудь. Вот Вам роман – без глубокомысленных, философских задач...»

6

В статье «Беседы о русской словесности (критические письма)» (Отечественные записки. 1876. № 11) Скабичевский точно подметил особенности художественной манеры Потехина, близкой к натурализму. Речь шла о начале произведения «Около денег. Роман из сельской фабричной жизни» (1876): «Возьмите во внимание хоть бы то, например, обстоятельство, что в октябрьском номере „Вестника Европы“, в котором начался печататься новый роман Потехина, напечатано по крайней мере листов пять романа, и эти пять листов представляют описание одного деревенского праздника. Деревенский праздник, описанный на пяти печатных листах, – какой же вы хотите большей ещё обстоятельности? Ведь уж тут, значит, разобрано всё по косточкам, ничего не упущено из вида до последней подноготной. Ну, и действительно только остаётся дивиться обилию деталей. Начнёт ли Потехин описывать деревенскую часовню, ничего не пропустит без замечания: и какой в часовне пол, и какие стены, и какой потолок, и какие образа что изображают, в окладах или без окладов, и какие паникадила перед

каждым образом, и как молятся мужики, как молятся бабы, в чём кто одет и пр., и пр. Описывает ли Потехин крестный ход, он посвятит вас в такие подробности, которые наверно вы пропустили бы без внимания, если бы сами присутствовали на этом крестном ходе: кто, например, держал какую хоругвь или образ, кто кому и когда передал это держание, как бабы, набожно подлезая под образа, не опускали при этом случая дать тукманку в шею какому-нибудь шаловливому мальчугану, и пр., и пр. Одним словом, остаётся диву даваться, до чего простирается тонкость наблюдательности Потехина».

Скабичевский упрекает роман в недостатке «сильного и цельного впечатления», которое «зависит от двух причин: с одной стороны, от излишнего нагромождения всевозможных деталей, отвлекающих внимание читателя от главного содержания романа и, в конце концов, утомляющих его, а с другой стороны – от неправильного освещения действующих лиц романа, от того, что автору, вследствие холодного безучастия к своим героям, не удалось изменить изображаемую действительность, выдвинувши вперёд такие стороны, какие были нужны сообразно характеру сюжета».

А сюжет романа таков. В деревне Снегищево живёт семейство богатого мужика Терентия Савельевича Скоробогатого, записанного в купеческой гильдии. Владелец небольшой ткацкой фабрики и кабака, он человек скупой, нелюдимый и неприветливый: от крестьян сторонится, не сближается с ними, смотрит на них свысока, как на своих работников. А богачи-фабриканты тоже не снисходят до близкого знакомства с ним. Поэтому Скоробогатый живёт одиноко, и даже в храмовый праздник, когда всё село шумно пирует и принимает гостей, ворота его на запоре.

У Терентия Савельевича есть дочь Степанида, которая четырнадцати лет осталась без матери и провела юные годы в полном одиночестве. Она не имела подруг, не ходила на гулянки, не водила хороводы и не пела песен. Отец не допускал никакого сближения её с деревенскими девками. Сначала наезжали в дом женихи из купеческого звания, но отец был скуп насчёт приданого, а Степанида не отличалась

красотой. И вот пришло время, когда надежды на замужество истаяли. Степанида решила остаться одинокой Христовой невестой и служить Богу. Первая в селе начётчица, она читала каноны и акафисты в сельской часовне, участвовала в крестных ходах. Ей казалось, что в церкви она нашла своё настоящее призвание, выкинула из головы все девичьи мечты и считала себя «неуязвимой для стрел лукавого».

Но лукавый силён: появился у Степаниды искушитель, Капитон Абрамов Обожжухин, молодой фабричный рабочий, человек бедный и семейный, жадный до денег, мечтающий приобрести капитал любыми средствами. Жена его Алёна, под стать мужу красивая и весёлая, тоже стремилась жить весело и сытно, без труда и забот. Богатство Терентия Савельевича, на фабрике которого Капитон за гроши трудился, возбуждало зависть. И вот Капитон решил, пустив в ход свою природную красоту и умение ухаживать за девицами, соблазнить Степаниду и воспользоваться её богатством. Замечательно, что он делает это с согласия жены. Предвосхищая «Власть тьмы» Л. Н. Толстого, Потехин показывает глубокий духовный кризис, чудовищное падение нравов в фабричной крестьянской среде:

«– Алёнка, – сказал вдруг Капитон шёпотом, обнимая жену одной рукой.

– Ась? Что? – спросила Алёна с новым зевком.

Капитон отвечал не вдруг.

– Давай гулять по согласу, – неожиданно проговорил он.

– Как по согласу? – живо повторила Алёна, уже не зевая.

– Так, чтобы по любви... Вот мы с тобой живём ладно, а достатков у нас нет, беднота одна... Работаешь, работаешь, а всё ничего нет... Вот я теперь около Скоробогатики обиход повёл: может, до чего дойдём... <...>

Алёна засмеялась.

– Пострел экой... Гуляй, ничего... только мотри, и я, коли вздумаю, гулять стану».

После такого уговора Капитон начинает ухаживать за Степанидой. Он прикидывается верующим человеком, почти святошей, просит Степаниду научить его читать

божественные книги. Втираясь в доверие к девушке, он признаётся ей в любви. А у Степаниды в это время – раздор в семействе. Отец начинает проявлять симпатии к невестке, жене сына Матрёне Карповне, которая хочет стать полновластной хозяйкой в доме. У Степаниды отнимают хозяйские ключи.

«Все люди веселятся о празднике... А я одна-то одинохонька, на всём белом свете одна, – думает она про себя. – Как весь век прожила? Какую радость себе видела? Отец родной, так и тот впору хоть из дома выгнать: таково я ему мила...» И под влиянием тяжких дум всё более и более разгорается её привязанность к Капитону. Она видит в нём единственного человека в мире, который принял в ней участие, приголубил, пожалел и приласкал.

Но рядом с любовью пробуждается стыд. «Что я теперь, разве прежняя? – размышляла она после своего падения. – Прежде-то я всем прямо в глаза смотрела, ни бояться, ни стыдиться мне было нечего, все мне кланялись, уважали меня, иные меня чуть не святой почитали... А теперь какова я стала? Что бы было, кабы узнали все про всё, как бы смотреть на меня стали? Не то что кланяться, а на смех бы подняли, пальцами бы показывать стали... Попустил ты, Господи, попутал меня лукавому... И из-за чего я греху поддалась, из-за какой радости? Стыд да тоска одна, ровно ночь тёмная кругом, только и солнышко моё всходит, как он придёт да сидит со мной, и то пока не вспомню, что он женат, что жена у него есть, что он любит её... А вспомню и опять ровно из рая в ад, во тьму кромешную... А грех-то? А ответ-то на страшном суде, а муки-то вечные?.. Батюшки мои, что же мне с собой делать?.. Бросить бы его, убежать бы куда, чтобы не ворочаться, не видеть и не слышать о нём... Да куда я от него уйду, коли здесь вот он перед глазами стоит кажинный час, минуту каждую... И в сердечушке, и в думушке – всё он один!»

А Капитон склоняет Степаниду к решительным действиям: взять тайно деньги из сундука и бежать куда-нибудь на край света, в места укромные, вниз по Волге-матушке.

После долгих колебаний, влюблённая девушка решается на всё. Тёмной ночью она ворует деньги и бежит к условленному месту, где ждёт её Капитон:

«– Ты? – спросил он её ещё за несколько шагов.

– Я, я, – отвечала Степанида, задыхаясь и протягивая к Капитону руку с намерением обнять его.

– А достала?

– Вот... – и она указала на узел, который держала в другой руке.

– Молодец, Стеша! Ну, теперь покатим. Пойдём скорее к лошади.

– Как бежала-то, как торопилась-то, – говорила Степанида, следуя за Капитоном. – Думаю: ждёт он меня...

– Ждал и есть... Много ли взяла?

– Не знаю уж... вот! Брала, сколь уложится...

Подошли к телеге.

– Погоди-ка, я сяду перво в телегу-то, да вожжи возьму, а гнедко-то пуглив, подхватывает вдруг... Пожалуй, понесёт... – говорил Капитон, влезая в телегу. – Ну, где деньги-то? Давай, да и полезай сама.

Степанида протянула к нему узел, который Капитон взял и положил на дно телеги. Потом она, держась руками за край телеги, поставила ногу на ступицу колеса и приподнялась было уже, чтобы занести другую ногу в телегу, как вдруг сильный толчок в грудь опрокинул её навзничь, и в то же мгновение Капитон крикнул, лошадьхватила с места и понесла. Степанида, как ни была ушиблена и оглушена падением, но быстро вскочила и побежала вслед за телегой.

– Стой, стой, погоди! – кричала она, но только несколько мгновений слышала крики Капитона, которыми он по-нукал лошадь, топот её копыт, стук колёс и громыханье телеги, видела вдалеке мелькающий силуэт милого человека, его телеги и лошади, затем всё затихло, всё скрылось. Но Степанида бежала ещё и тогда, задыхаясь, плача и крича что-то бессвязное диким, прерывистым голосом. Наконец у неё помутилось в глазах, стеснило дыхание, ноги отказывались двигаться, невыразимая тоска, ужас охватили

её душу, какие-то отрывки мыслей, чувств проносились через голову, сердце... И вдруг всё спуталось, смешалось: мысль, чувства, дыхание оборвались. Степанида упала без чувств».

Очнувшись под утро, она вернулась домой разбитая и поруганная, лишённая последней святыни, дающей ей жизнь. И в следующую ночь, когда всё село уснуло, она подожгла дом Капитона. Но месть её оказалась напрасной: Капитон с женой спаслись, а деньги остались целы, зарытые в землю.

«Через неделю после пожара стон стоял в доме Терентия Савельича. <...> Старик ревел, метался, рвал на себе волосы, кричал и топал над Степанидой. Она стояла перед ним молча, как немая...

– Да скажешь ли ты мне хоть слово одно, ведьма ты прокл... – вскричал, наконец, выйдя из себя, Терентий Савельич, и, бросаясь на дочь, толчком в голову сшиб с неё платок. Степанида была совсем седая... У Терентия Савельича опустились руки.

Много лет после того, ежедневно, во время службы в церкви села Нагорного, можно было видеть на коленях, у задней стены церковной, старую, жёлтую, всю в чёрном, смиренную и всегда безмолвную Степаниду».

А. М. Скабичевский обратил внимание, что такой драматический сюжет давал возможность автору «сделать со Степанидой то, что Островский сделал с Катериной в „Грозе“». И у Потехина «были все данные, чтобы сделать Степаниду столь же симпатичной, как и Катерина». Но Потехин-натуралист утопил этот сюжет в море жанровых сценок. «Многие из этих сцен поразят вас полнотой подробностей и наблюдательностью автора, не упускающего ни одной микроскопической чёрточки изображаемой действительности». Но в результате сюжет романа стал напоминать канву, на которую автор нанизал свои узоры в виде «массы мелких бытовых сценок», в создание которых он «положил всю свою душу», «весь свой художественный труд».

С этим нельзя не согласиться, но нельзя и не заметить в то же время, что в изображении процессов перемен, совершавшихся в России в конце XIX века, Потехин-натуралист давал более детальную и живую картину, чем Островский и русские писатели, вошедшие в классику отечественной литературы XIX века. В центре «фотографического» видения Потехина оказался тот «треугольник» в Центральной России, о котором Островский писал: «Москва уж теперь не ограничивается Камер-коллежским валом, за ним идут непрерывной цепью, от Московских застав вплоть до Волги, промышленные фабричные села, посады, города и составляют продолжение Москвы. Две железные дороги от Москвы, одна на Нижний Новгород, другая на Ярославль, охватывают самую бойкую, самую промышленную местность Великороссии. В треугольнике, вершину которого составляет Москва, стороны – железные дороги, протяжением одна в 400 верст, а другая в 250, и основанием которому служит Волга на расстоянии 350 верст, – в треугольнике, в середину которого врезывается Шуйско-Ивановско-Кинешемская дорога, промышленная жизнь кипит: там на наших глазах из сёл образуются города, а из крестьян богатые фабриканты; там бывшие крепостные графа Шереметева и других помещиков превратились и превращаются в миллионщиков; там простые ткачи в 15–20 лет успевают сделаться фабрикантами-хозяевами и начинают ездить в каретах; там ежегодно растут новые огромные фабрики, и на постройку их расходуются миллионы».

Потехин отразил в своих романах и повестях раскрестьянивание Центральной России, расслоение деревенской общины с выделением из неё фабричных рабочих-отходников, незначительная часть которых богатели и превращалась в купцов, а основная масса впадала в нищету, угрожающую устоям России. Параллельно с этим Потехин-наблюдатель замечал стремительный процесс разорения бывших дворянских гнезд.

В последнем своём романе «Молодые побеги» (1879) деревенский староста Федот Семёныч, уважаемый в крестьянском мире человек, говорит: «Она, фабрика, точно портит людей, балует, не люблю я её... Вон фабричные у нас – первые недоимщики, первые забяйки, пьяницы, сквернословы. Ну, ведь не все же. Есть, которые и в люди выходят, богатеют. Всё от себя, от своего ума!.. Не якшайся только с простым народом, делай своё дело да хозяину старайся угодать. Вот и хорошо будет».

А. М Скабичевский советовал не заботиться о целостном прочтении романа Потехина, а выбирать какую-нибудь отдельную сценку из него, знакомство с которой доставит читателю много интересных сведений и конкретных наблюдений. Так мы и сделаем сейчас, представляя живую картину разорения дворянских гнёзд и крестьянских хозяйств из романа «Молодые побеги», картину, чем-то напоминающую разорение современных деревень в нашем Нечерноземье:

«Старое Село была старинная барская усадьба, перешедшая, как и множество других, из рук прожившегося владельца в руки разбогатевшего купца. И с этой усадьбой повторилась история ей подобных, а история эта одна и та же.

Вот большой, господский каменный дом с проржавевшей дырявой крышей, окружённой множеством полуразвалившихся надворных и хозяйственных построек, несколько лет стоит необитаемый среди старинного запущенного сада: парка с заросшими дорожками и полувысохшими, заилевшими прудами. А кругом этого дома и этого парка далеко расстилаются унылые, вовсе запущенные и заросшие кустарниками или плохо обработанные поля и ещё более печальные поруби – остаток прежде бывших лесов, – где торчат только почерневшие пни и стелется корявый можжевельник. В былое время здесь на неоглядное пространство колыхалась рожь, и зеленели овсы, сотни подневольных тружеников сбирались сюда сблизии и издалёка, съезжались и сходились взборанивать и засеять господские поля, сжинать господский хлеб. Тогда эти поля кипели жизнью,

вечная муравьиная работа мужиков и баб оживляла пейзаж, которым любовались с террасы господского дома. Пейзаж украшался в то время непроглядною зелёною стеною вековых лесов, которые целые века и служили ему несменяемой рамой. В господском большом доме, в службах и парке тоже была жизнь и движение: слышалась музыка, весёлый говор, смех, шумные крики, бряцанье столовой посуды; в парке мелькали локоны, соломенные шляпы, оживлённые лица, кавалькады всадников и всадниц; в службах суетилась многочисленная сытая челядь, слышалось ржание коней, стук выезжающих экипажей, лай псарни, звук охотничьих рогов... Иногда вся эта барская жизнь, как вихрь, вырывалась в поля, наполненные тружениками-муравьями, и проносилась мимо их, отдавая комками земли и пылью, поднятую копытами лихих скакунов, поражая блеском наряда, ясностью взора и румянцем весёлых холёных лиц. Иногда, наоборот, вся эта рабочая сила, все эти муравьи, рядились в что ни на есть в лучшие кафтаны и сарафаны и сгонялись уже не в поле, а на гул, перед господской террасой, и по господскому приказу пели, плясали, веселились, напивались пьяны и с поклонами, благодарностями, хоть и не сытые, зато пьяные, возвращались домой под свои соломенные крыши, к своему родимому батюшке – чёрному хлебцу.

Долго, долго шло так дело – и вдруг всё изменилось: исчезла многолюдная челядь, исчезла за нею и псарня, затихло ржание лихих скакунов, опустели конюшни, скотные дворы, людские, стали заваливаться крыши, заколачиваться досками выбитые окна, зарастать дорожки в парке, начали плесневеть пруды; сначала притих, а потом и совсем опустел господский дом, не отворялись в нём окна и двери на террасу, по цветникам и около стен поднялись бурьян и жгучая крапива. Опустели поля... Сначала были заброшены дальние полевые участки, затем и из ближних засеивалась только половина, да и на этой половине сеялся хлеб и убирался не вовремя, и родиться стал всё хуже и хуже. Тружеников-муравьёв уже не сгоняли и не сбивали на работу, а кланялись и звали, сманивая рублём и полтиной,

а они отвечали: „Не досужно! Вот колды со своим управимся, тоды и к вам, пожалуй, коли время позволит!..“ А иные стали и такие речи говорить: „Лучше бы вам это дело бросить, да нам сдать вовсе... Не господской руки это дело – пашня. А мы бы по полтинке за десятину дали, кои получше, понавозней, хлеба бы два сняли, однако бы и вам, и нам – в обе руки... А то что так-то, одно разоренье! Немец, вон, управитель у соседей, машин навёз, да что машиной-то без народа сделаешь: стоят в сарае... А хлеба-то всё нет, а который и уродился, так себе дороже: вдвое дешевле на базаре купить, нечем в поле над ним ломаться. Право, сдайте по полтинке, кои подходящие, – мы возьмём, и для вас превосходнее будет...

– Ну, уж погодите, такие-сякие... Без земли-то и вы не проживёте: придёте, поклонитесь и по три заплатите, а не то что по полтине...

– Нам кланяться не из чего: мы в земле не нуждаемся, вон её сколь, во все стороны бери – была бы охота, у всех суседей наваливают... Да брать-то не с чего. Мы не от земли живём. Наша земля не такая, не родимая, не хлебная. Это которая родимая земля в низовых местах. Ну, може, бывает и по три рубля платят. А с нашей землёй только плачь: холодная земля! Оставайтесь коли ин с Богом, пашите сами, а нам не требуется. Нынче вон на заводы ступают, на фабрики: не в пример больше зарабатываешь, чем около земли-то маяться...“

И ещё убавилась господская запашка, – убивалась до таких размеров, чтобы обработать её даровым трудом, то есть без затраты денег, а за выгон да прогон, да валёжничку – когда прутиков в лесу набрать...

А задние полосы уже затянуло молодёжником кустарником и всякой сорной порослью, и двигается она вперёд и вперёд к господской усадьбе. Вовсе опустели и затихли поля; вовсе опустели и амбары, и господский карман. А барин всё барин. Хоть и уехал из деревни, и в городе живёт, а денег ему всегда много требуется: в городе ещё больше, чем в деревне. Пишет он в опостылую, бездоходную деревню к приказчику:

„Что же, когда будет доход, когда будут деньги? Прежде я от хозяйства доход получал, а теперь только и знаю, что в деревню деньги посылаю: когда же этому будет конец? Это не хозяйство, а одно разоренье... Лучше уж всё прикончить, и скот перевести весь до конца, и запашку прекратить...“

Пишет на это и приказчик к барину: „Как вашей милости будет угодно, а только что, так сказать, что в нынешние времена совсем не из чего дохода взять: земля стала не родима, опять же и навоз в умалении по причине скота; а народ стал вовсе негоден ни к чему: пьяницы, сутяжники, и только норовят, как бы тебя в работе прижать и в конфуз произвести перед помещиком; заразились все фабриками и пьянством, а также ленью, цены подняли несообразные на работу: никакого расчёта не выходит по нашим землям...“ <...>

Пишет к барину и купец: „Которая ваша пустошь, называемая Кустово, и ту мы купить согласны в вечность али на сруб в сроки, для нас всё единственно, потому для нас требуется, если подоходно будет по цене. А лес у вас попорчен, порубки большие, и просмотреть за дальностью при нынешнем народе никак невозможно, потому сильно господские леса воруют и вырубают от своего недостатка и пьянства...“

И вот, вслед за уничтожением весёлого оживлённого пейзажа, начинает мало-помалу разрушаться и его красивая рамка: около унылых полей падают одни за другими вековечные сосны, зелёные ели, плакучие берёзы, оставляя после себя гнилые пни, голые, печальные, вытопанные скотом поруби. Год от году ландшафт делается пустынее, грустнее, и, наконец, остаётся одна ширь и гладь, покинутая людьми пустыня, среди которой, как зелёный оазис, красуется заглохший господский сад и парк, скрывающий за собою грустный вид полуразвалившейся барской усадьбы. <...>

Господский сад и парк, как бы он ни был не нужен и бесполезен, всегда святыня для помещика: они дают тон всей усадьбе, и они скрашивают её в глазах мимоидущего путника и случайного посетителя, они скрывают за собою настоящее безобразие и расстройство всего хозяйства, напоминают о прежнем блеске, роскоши и богатстве;

собственноручно посягнуть на эту святыню не решится ни одни родовитый владелец, как бы ни были затруднительны его денежные обстоятельства. <...> Всё валится и разрушается в усадьбе: обрушивается крыша на доме, подгнивают переклады и проваливается пол в комнатах, рамы сгнили и стоят без стёкол, от мебели остался один лом и лохмотья, в амбарах и на скотных дворах шныряют одни голодные крысы, косяки в окнах и дверях, полы и потолки в людских и флигелях давно выбраны и разворованы руками крестьянских соседей, от всей усадьбы остаются одни руины или потрескавшиеся, пошатнувшиеся стены, а сад и парк густою неприкосновенною стеною окружают их... Но и они дождутся своей очереди, своего рокового дня, роковой руки. Давно уже расчётливый купец сосчитал, сколько кирпича можно выбрать из запустевших барских хором, сколько брёвен и сажень дров выйдет из разросшихся на свободе деревьев парка и сада, какие пруды можно дёшево расчистить и воду их употребить в дело, а если есть река, то можно ли воспользоваться ею как движущей силой – и всё это не уйдёт из его рук. Он знает: надо выждать, надо воспользоваться минутой, обстоятельствами, дожидаться, когда барин проживёт выкупные свидетельства¹, истратит все деньги, полученные за лес, когда ему нечем будут платить не только поземельные повинности, но даже и за городскую квартиру, когда кредит его будет ничтожен или вовсе утрачен... Тогда настанут последние дни и усадьбы, и парка: они перейдут непременно в руки богатого купца.

И вот объезжает новый, неродовитый владелец свою новую покупку: велит обрывать канавами поруби и заказывает настрою не пускать на них скот, чтобы он не вытаптывал и не отъедал молодых побегов, а чтобы молодой лес рос и скорее поспевал на дрова; запрещает выгон на свои поля

¹ Выкупное свидетельство – документ на право получения выкупной ссуды, которую правительство выплачивало помещикам при освобождении крестьян от крепостной зависимости. Выкупная ссуда выдавалась в размере 80 % или 75 % капитализированного из 6 % оброка, платившегося крестьянами за их наделы. Крестьяне обязывались уплачивать ежегодно в казну 6 % с этой выкупной ссуды в течение 49 лет.

и луга соседних крестьянских стад или позволяет за тройную против прежних цену, вздымая для удобства крестьян плату не деньгами, а работой. Точно так же распоряжается и относительно тех участков, которые крестьянами распахивались: он знает, что крестьяне перед ним не заупрямятся, а если и заупрямятся, откажутся от земли вовсе, он выдержит и год, и два, съездит сотни раз к мировому, чтобы взыскать за поправку, а уж на своём поставит: придут мужики, поклонятся, он оставит цену такую, какую в состоянии сильно удобрить от своего скота и которую ему обработают крестьяне бесплатно за выгон и пастушню.

Затем он приступает к самой усадьбе. Эти все рощи, парки, сады, барские затеи приказывает он срубить на дрова, оставит разве небольшой палисадничек для своей прохлады, когда летним делом чайку попить. „А вот эвотот прудочек с эвтим сообщить вместе, чтобы большой был прудище: вода из него на фабрику пойдёт, и будет в нём вода чистая, а с фабрики которая муть будет идтить, ту трубами в речку спускать – речка текучая, она всё пронесёт... Господские хоромы кои разобрать, кои в дело употребить, главный корпус, трёхэтажный дом старого фасона, на сушилку поворотить... А себе мы новый дом выстроим в лучшем вкусе, по своему фасону! Ранжереи эти все долой. Захотим – новых понастроим со временем. Много лучше и пообширнее будут! Вот в палисаднике беседок почудней беспрременно надо наделать и попросторнее, чтобы с гостями летним временем было где проклаждаться...“»

В повестях и романах 1870–80-х годов о деревне Потехин уходит от приукрашивания народной жизни, от свойственного его драмам прямолинейного деления героев на праведников и грешников. Крестьянская жизнь перестаёт быть этическим эталоном, становится предметом пристального критического исследования. В повести «Хворая» (1876) в гибели «хворой» Пелагеи виновны не только её близкие, но и весь крестьянский «мир», уездные и волостные чиновники. В цикле очерков «Деревенские мироеды» Потехин обращает внимание на процесс расслоения деревни. По роману «Око-

ло денег» и повести «Хворая» Потехин совместно с драматургом В. А. Крыловым создаёт одноимённые пьесы.

В то же время в очерке «Крестьянские дети» (1881) Потехин показывает, как «власть земли» с детских лет овладевает всеми помыслами и чувствами крестьянского мальчугана и крестьянской девочки, как труд на земле облагораживает их души, закаляет характеры и даже в невыносимых тяготах сиротского существования дарит им минуты радости и счастья. «Нет материального труда, который был бы благороднее и полезнее хлебопашества, – заключает Потехин, – оно сближает человека с природой, привязывает его к земле, а следовательно, и к родине; оно сохраняет его здоровье и силы, даёт тихие радости, и в то же время закаляет и смягчает характер в постоянной, но дружной борьбе с природой; оно не мертвит, но оживляет мысль и воображение, так как работник имеет дело с живым, растущим, как бы чувствующим и говорящим материалом».

К концу XIX века Потехин заявляет о себе как крупный театральный деятель. Он участвует в театральной реформе 1880-х гг., заведует репертуарной частью Александринского театра, является управляющим драматическими труппами императорских театров Петербурга и Москвы, участвует в учреждении Общества вспомоществования актёрам (впоследствии Русское театральное общество) и в созыве первого съезда русских сценических деятелей (1897). В 1900 году он избирается почётным академиком по разряду изящной словесности.

Скончался А. А. Потехин в Петербурге 16 (29) октября 1908 года и был погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Сочинения А. А. Потехина

Сочинения: в 12 т. – СПб., 1903–1905.

Избранные произведения. – Иваново, 1938.

Суд людской – не Божий. Мишура // Русская драма эпохи А. Н. Островского. – М., 1984.

Литература о творчестве А. А. Потехина

Морозов П. Писатель-народник А. А. Потехин / П. Морозов // Мир Божий. – 1901. – № 11.

Прокофьев Д. А. А. Потехин / Д. Прокофьев // Писатели текстильного края. – Иваново, 1953.

Касторский С. В. Писатель-драматург А. А. Потехин / С. В. Касторский // Из истории русских литературных отношений XVIII–XX вв. – М.; Л., 1959.

Лотман Л. М. А. Н. Островский и русская драматургия его времени / Л. М. Лотман. – М.; Л., 1961.

Таршин Н. Д. Статьи о русской и зарубежной литературе / Н. Д. Таршин. – Иваново, 1966.

Журавлёва А. И. Русская драма и литературный процесс XIX века / А. И. Журавлёва. – М., 1988. – С. 59–68.

Едошина И. А. Народная культура в драмах Потехина и А. Н. Островского / И. А. Едошина // Щелыковские чтения – 2000: А. Н. Островский и современная культура. – Кострома, 2000. – С. 39–47.

Тамаев П. М. «Мужицкие пьесы» А. А. Потехина в контексте русской драматургии середины XIX века / П. М. Тамаев. – Иваново, 1991.

А. А. Потехин и Кинешма / вступ. ст. и сост. Е. П. Потехиной. – Иваново: Референт, 2009.

Журавлёва А. И. Потехин Алексей Антипович / А. И. Журавлёва // А. Н. Островский: энцикл. – Кострома; Шуя, 2012. – С. 333–334.

Рекомендации по работе с материалом учебного пособия

1. На основе прочитанной статьи подготовьте краткие сообщения по темам:

Детство и юность А. Потехина.

А. А. Потехин – драматург и театральный деятель.

Народная жизнь в произведениях А. А. Потехина.

(Важные для каждой темы факты, даты, имена и названия необходимо выписать и постараться запомнить,

чтобы в устном выступлении передать их точно, а не приблизительно.)

2. Ответьте на вопросы по содержанию статьи:

Какую роль в становлении А. А. Потехина сыграла Костромская гимназия?

Какие идеи К. Д. Ушинского оказались близки будущему писателю? В чём это проявилось?

Что в мировоззрении Потехина сближает его с демократической литературой и журналистикой второй половины XIX века, а что отделяет от них?

Как изображает Потехин судьбу интеллигента-разночинца в романе «Крушинский»? Что сближает Потехина и Тургенева в изображении представителей дворянского сословия?

Какие переключки можно обнаружить между произведениями А. А. Потехина и его современников-земляков А. Н. Островского и А. Ф. Писемского? Чем они обусловлены?

Как удастся Потехину изобразить социально-экономические процессы в России конца XIX века: расслоение деревенской общины, развитие капитализма, разорение бывших дворянских гнезд?

Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте пьесы А. А. Потехина «Суд людской – не Божий», «Чужое добро впрок не идет». Выполните задания по вариантам:

- определите основной конфликт пьесы;
- охарактеризуйте персонажей произведения, проанализируйте средства создания образов главных действующих лиц;
- определите, какое представление о народной жизни стремится воплотить автор в пьесе, в чем он видит проявления духовного здоровья, а в чем признаки кризиса, болезни народного организма;
- покажите на примерах, как в языке пьесы, речи персонажей проявляется связь с Костромским краем.

2. Проанализируйте самостоятельно одну из пьес А. А. Потехина конца 1850-х годов: «Мишура» (1858), «Новейший оракул» (1859), «Отрезанный ломоть» (1865), «Вакантное место» (1859).

3. Подготовьте лекцию по творчеству А. А. Потехина для учащихся 10-х классов.

4. Прочитайте сочинение гимназиста 6-го класса Алексея Потехина. Выпишите основные тезисы этой работы. Определите, какие взгляды на русскую литературу усвоил воспитанник Костромской гимназии. Как вы думаете, у кого из литературных критиков, писателей, общественных деятелей он мог позаимствовать подобные суждения? Определите, какие приёмы красноречия использует в своей работе А. Потехин. Какую оценку его сочинению вы дали бы сегодня?

Пушкин и Карамзин

Если посмотрим на состояние литературы за несколько десятков лет и потом взглянем на обширное поле умственной деятельности в настоящее время, то невольно подивимся блестящим успехам, невольно придём в восторг и с тайным самолюбием сознаем, что Русь растёт не по дням, а по часам. Странно и удивительно, что значит десяток лет для народа, который живёт тысячелетия, что, кажется, можно бы успеть произвести в это время, а между тем творится многое и удивительное! И ничто так быстро не идёт к своему развитию, как слово, – оно, животворное, кипит жизнью вечно юною и свежее: совершенствуется более и более и, между тем, не может дойти до крайней точки, и теперь слово – гигант! Что же будет впоследствии? Русские исключительно могут хвалиться успехами в совершенствовании своего слова, сильного, бойкого. Давно ли, кажется, – ещё в памяти наших отцов – какая бедность, какой голод был в нашей литературе. Тощие, неверные «Телеграфы», неисправные «Вестники» ходили по рукам и составляли всю пищу, всё наслаждение любопытных читателей. Радклиф с её ужасами, приви-

днями, мертвецами пробуждала восторги и рукоплескания: читали и её, потому что некого было более, а страсть к чтению уже развивалась. Конечно, и в то время уже блистает неувыдаемою славою великий Державин, и, без сомнения, в нём бы можно искать духовного наслаждения, но на вкус законов не было и нет; да и притом во всякое время было немного таких людей, которые бы чувствовали вполне прекрасное и могли им наслаждаться постоянно! Уж издавна ведётся на свете, что одно и то же скоро наскучит. Итак, вот состояние литературы русской в начале XIX столетия! И что же теперь? Теперь мы можем насладиться чтением идеальных произведений наших отечественных поэтов, можем воздвигать в воображении своём монумент Отчеству, зная, что происходило до нас, как возвеличилась, созрела в своих силах Русь родная, православная; мы можем приходить в восторг и забываться в сладком обаянии звучного стиха и плавной прозы и переходить попеременно к слезам, ужасу, радости, смеху – всё это может доставить нам наша литература в настоящее время. Конечно, не достигла она до совершенства германской и французской литератур, конечно, у нас не появился ещё другой Шиллер, Шекспир, Вальтер Скотт, ещё не произведено «Фауста», «Гамлета», ещё мы не имеем драмы и исторического романа, но при всём этом успехи русской литературы необыкновенные, особенно в такое короткое время.

Настоящая жизнь её начинается с появлением Пушкина, этого поэта, которым мы привыкли гордиться, которого уважает Европа. И в самом деле, как бедна и однообразна была наша литература перед ним, так вдруг закипела жизнью с его появлением, с первыми порывами его мощного таланта. Причину понять нетрудно! Его творения, исполненные величия и проявления сильного таланта, его успехи и слава должны были воспламенить и возбудить к подражанию, особенно людей молодых с пылким умом, с горячим сердцем. Сначала читали Пушкина, потом начали писать, одни из соперничества, другие из подражания, и таланты один за другим явились на поприще литературы, таланты, хотя не сильные, но заметные. Итак, Пушкин – родоначальник поэзии. Кто

же пример в прозе? Общий голос признаёт Карамзина! Его имя оказалось известным почти в одно время с Пушкиным. Он создал себе памятник, написав историю отечественную. Она – эта история – есть единственная в нашей литературе, есть палладиум нашей славы; её читаем с особым наслаждением. И в самом деле, что может быть приятнее для нас чтения истории Отечества: мы видим перед собою то, что было задолго перед нами, видим наших дедов, праотцев, узнаём, каковы они были, замечаем их великие подвиги и ошибки, радуемся и огорчаемся. Видя перед собою мужа, жертвующего жизнью за Отечество, мы чувствуем неволью к нему почтение и в таком случае, если бы он был чужд нам по крови; но если он родной нам, тогда к почтению присоединяется благородная гордость, благоговение, восторг. Вот интерес отечественной истории!.. История же Карамзина нравиться нам не только потому, что она отечественная, нет! – это цвет, торжество красноречия при совершенном почти исполнении условий истории. Мы имеем свою историю – и это уже говорит об успехах нашей литературы. Какова же она в других частях её? Какова драма, поэма, комедия, лиризм, роман, повесть? В настоящее время непременно найдёшь в нашем отечестве людей, которые трудятся по всем родам словесности, но хотя с несовершенным успехом, но достаточно уже того, что трудятся: уже и это обещает много: вдруг всего сделать нельзя!

Драма ещё у нас не дошла до совершенства. «Борис Годунов» хотя и высокое произведение искусства, но оно ещё показывает юность и не совершенную зрелость таланта нашего великого поэта. Кажется, он рано взялся за перо, чтобы произвести то, что творит дар с помощью опытности. Поэма совершена Пушкиным: она его удел, в ней он бессмертен. «Полтава» – единственное произведение сильного таланта удивляет нас: в ней всё совершенно, всё изящно. Здесь выведены на сцену три великих мужа, для которых пределы истории тесны. Для них именно необходима поэма. Там они должны явиться во всём своём блеске, там должен выразиться их характер, их величие и значение в мире. Эти

три мужа – Пётр, Карл и Мазена. Последний очерчен именем изменника в глазах наших, его соотечественников, но он муж великий, замечательный по своему уму, судьбе и по отношениям к Петру как к лицу в высшей степени интересному. В истории трудно представить игру страстей, трудно и даже невозможно изобразить мелкие, часто незаметные в сравнении с важнейшими события жизни частного человека, и потому они при всей своей занимательности остаются неизвестными. Напротив, в поэме ничего не остаётся скрыто: здесь душа и жизнь человека обнажены. В поэме Пушкина характеры лиц вполне совершенны. Пётр является подлинным Петром – Императором Российским, героем-преобразователем. Описание появления его на сцену войны, его вид, осанка, характер в поступках очерчены так истинно, так блестяще, что как будто видишь перед собою живого и приходишь в восторг, взирая на его величие. Карл XII ещё заметно слабее обрисован у поэта. Но и тут не кисть изменила ему. Нет! Он как будто бы хотел истощить свой гений на описание того, к кому, как видно, особенно лежало его сердце и благоговел его дух – Петра I!

Алексей Потехин, VI класс

Темы докладов, рефератов, исследовательских работ

1. Народные драмы Потехина в контексте развития русской драматургии второй половины XIX века.
2. «Герои своего времени» в прозаических произведениях А. А. Потехина.
3. Взаимодействие этнографического описания и художественного повествования в книге А. А. Потехина «Крестьянские дети».
4. Жизнь русской деревни в произведениях А. А. Потехина 1870–80-х годов.
5. Театральная деятельность А. А. Потехина.
6. Творчество А. А. Потехина в оценке русской критики второй половины XIX века.

Задания для организации проектной деятельности

Разработайте проект экспозиции, посвященной А. А. Потехину для литературно-краеведческого музея:

- проведите исследование и выясните, какие личные вещи писателя, предметы, связанные с его жизнью, издания его произведений имеются в государственных собраниях, архивах, музеях;

- определите основную идею экспозиции, опишите её целевую аудиторию;

- составьте перечень экспонатов, предложите логику экспозиции, продумайте оформление выставки;

- проведите презентацию проекта, пригласив в качестве экспертов филологов, краеведов, музейных работников, учителей-словесников.

Сергей Васильевич
МАКСИМОВ
(1831–1901)

«Э то удивительно скромный человек и далеко не оценённый по достоинству на своей родине, где имя его очень популярно, но не гремит, как гремело бы за границей, если бы Сергей Васильевич Максимов, только очень недавно избранный в почётные академики Императорской академии наук, был писателем иностранным... Но такова уж судьба русского писателя за очень немногими исключениями», – так говорил буквально за несколько месяцев до смерти С. В. Максимова его биограф, литературовед П. В. Быков.

Русская литература в лице своих гениев, творцов классического романа, создавала обобщённый образ России. Но такая обобщённость требовала отвлечения от живого многообразия и пестроты народного мира, от индивидуальной неповторимости каждого уголка, каждой деревушки на бескрайних русских просторах. А ведь ещё в начале 1840-х годов В. Г. Белинский с удивлением и восхищением писал: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, Остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь, – всё это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему! Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя – от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым – всё равно

что переезды из одного мира в другой. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса – какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!»

У Белинского, замороженного богатствами российских географических и духовных просторов, не уставала рука от таких перечислений-призывов, адресованных «наблюдательному уму» русских писателей-демократов. Призывы не остались без отклика. Слова Белинского стали для писателей максимовского склада делом всей жизни. Максимов исходил вдоль и поперёк всю Русь, по-своему восполняя пробел, волей-неволей возникавший в русской литературе, устремлённой в своём магистральном русле к созданию крупных художественных форм. Творчество Максимова отвечало другим, не менее насущным потребностям времени. В эпоху торжества классического романа, в период исключительно расцвета литературы как особой формы общественного сознания, нужны были люди, которые собирали на глазах у общества пёструю мозаику народной жизни, ничего в ней не усекая и с предельной осторожностью используя специфические возможности литературы. Воображение, игра творческой фантазии – великая сила, но пусть ещё останется жизнь и такую, какою она существует до нашей мысли о ней, до литературной её обработки. Верность жизненному факту стояла на первом плане в творческой работе Максимова и по-своему отвечала насущным потребностям времени.

1

Максимов обладал редкостным по тем временам, не книжным знанием жизни, приобретённым не по готовым источникам, но вынесенным из самой народной глубины, из непосредственного общения с русским мужиком. Многое дано ему было от рождения. Ещё в детстве Максимов узнал народ накоротке в глухом посаде Парфентьево, затерянном в дремучем лесном краю Кологривского уезда Костромской губернии. Здесь он родился 11 (23) октября 1831 года в бедной семье служилого дворянина Василия Никитича

Максимова, парфентьевского почтмейстера. В двухлетнем возрасте Максимов лишился матери, и детские годы будущего писателя прошли без материнской ласки и присмотра в кругу посадских ребятишек, в мире бесхитростных деревенских забав.

Посад располагался в живописной местности: в отрогах Северных Увалов. «Подъезжая к Парфентьеву оглянитесь, – писал Максимов в очерке «Грибовник», – много ли таких картинных мест на Руси святой? Кругом обступили горы... По горам стоят густые сухие боры, воздух весь пропитан ароматом окрестных сосновых лесов, весь наполнен смолкой, без малейших признаков болотных миазмов». А в судьбе этого посада, как в капле воды, отражалась история освоения северной Руси славянскими племенами, российские летописи читались тут не по книгам, сама земля была насыщена исторической памятью.

Коренные жители этих мест в седой древности – угро-финские племена «меря». Жили они по берегам рек и оставили им на вечные времена свои названия – Нея, Вохтома, Нельма, Монза, Ружбол, Сомбас. В IX веке начинается переселение славян по двум направлениям: один поток устремляется с юга на север, другой – с запада на северо-восток, из древнего Новгорода. На костромской земле эти потоки встречаются друг с другом, и новгородские племена отклоняются в лесную глушь Костромского края. Неслучайно жители Парфентьева сохранили, по наблюдению историка-краеведа Д. Ф. Белорукова, типичное обличье новгородцев: продолговатые лица и длинные носы с горбинкой. Да и в речи парфентьевцев до недавнего времени держалось характерное новгородское «цокание: не «печка», а «пецька».

Угро-финны были в основном рыболовами и охотниками, а славяне – пахарями-хлеборобами. Жили друг с другом мирно, добрососедски, с постоянной взаимовыручкой на случай неурожая хлебов или лесного оскудения. У одних во владении оставались глухие леса, полные дичи, да речные омута, кишевшие рыбой; у других – приречные

плодородные долины и отвоёванные у леса подсечным земледелием поля – лесные кулиги. Одним миром жили, вместе и государство Российское основали. Вспомним, как пишет об этом Нестор-летописец в «Повести временных лет»: «Реша чюдь, и словене, и кривичи, и вси (то есть „весь“; одно из угро-финских племён. – Ю. Л.): земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет». Постепенно мерянские племена приняли православную веру, а потом и русский язык. Однако мощный пласт угро-финской культуры сохранился не только в названиях рек и озёр, но и в богатейшей языческой мифологии, в леших, водяных, гуменниках и баенниках, мирно уживавшихся со славянскими ярилами, ладами и перунами. Христианская религия не одолела их и по-своему к себе приспособила. Культ Перуна перешёл на Илью Пророка, Велеса – на святого Власия, Козьма и Демьян сделались покровителями лошадей, а Зосима и Савватий Соловецкие стали опекать пчелиное царство.

В XV–XVI веках парфентьевская земля входила в состав Галичского княжества и располагалась на пограничье с Казанским ханством: граница эта шла по Ветлуге, Унже и реке с говорящим названием Межа. Используя естественные речные пути, татары частенько поднимались на стругах из Волги по Унже и Нее, а потом пересаживались на запасных коней, которых вели по берегу, и совершали набеги на Галич, оставляя струги в Нее, чтобы на обратном пути загрузить их награбленным имуществом и пленниками.

Именно здесь, на месте высадки татар, в 1520–1522 годах великий князь Василий III и приказал построить крепость, которую, как установил Д. Ф. Белоруков, сооружал московский дьяк-розмысл Парфентий из «разрядного приказа». Дьяк этот был искусным военным инженером. Вдающийся в реку Нею мыс коренного левого берега он превратил в неприступную крепость, к которой потянулся в поисках защиты окрестный люд. Так возник град Парфентьев, центр знаменитой некогда Парфентьевской осады – одного из форпостов на Казанском оборонительном рубеже Московского государства.

К XVII веку, после падения Казанского ханства, границы Московского государства продвинулись далеко вперёд, перевалили через Уральский хребет, и Парфентьев потерял своё военное значение. Сохранилась лишь его торговая роль: через город проходил бойкий тракт из Вятки и Казани на Галич, Вологду и Архангельск. Ко второй половине XVIII века Парфентьев окончательно утратил былую славу. Екатерина II, устанавливая в России новое административное деление, «бывый град Парфентьев» разжаловала в рядовой посад и включила в состав Кологривского уезда. Это больно ударило по народному самолюбию, но и обострило в гордых «парфянах» историческую память, упорно хранившую славные воспоминания.

С детских лет будущий писатель погружался в животворную атмосферу исторических преданий, интерес к которым поддерживал его любознательный отец.

По долгу почтмейстерской службы Василий Никитич Максимов занимался не только доставкой почтовой корреспонденции: в обязанность его ведомства входил тогда и контроль над перевозкой пассажиров почтовыми лошадьми. У него в подчинении были станционные смотрители многовёрстного почтового тракта, народ бывалый, разговорчивый, общительный. Их рассказами с детских лет питалось воображение впечатлительного мальчика. Перелистывая пожелтевшие страницы «Почтовых дорожников», настольных служебных книг своего отца, Серёжа Максимов иногда один, а чаще с отцовской помощью любил совершать мысленные путешествия по необъятным просторам государства Российского. Путь-дорога почти с колыбели сроднилась с душою будущего неутомимого путешественника, «очарованного странника» русской литературы.

Неуютно, непоседливо жилось и парфентьевским мужикам на отвоёванной у леса скудной землице. «Овёс, ячмень, рожь, лён да и всё тут... К тому же и то, что высеваешь, на шестой год, голодный, всегда не доходит, но и в счастливое время родится только сам 3-й, сам 4-й, отбивая от земли всякую нужду». Поневоле приходилось

жителям посада и окрестных деревень искать средства к существованию на стороне: кто уходил в Сибирь «коновалить», кто в Питер или Москву на отхожие промыслы.

Но суровая жизнь не убила в парфентьевском крестьянине живую душу, не загубила щедрый талант. Скорее наоборот – в трудностях, в ежедневной борьбе с невзгодой и нуждой, в неутомимых путях-дорогах по градам и весям российским оттачивался характер умного, изворотливого костромского мужика, мастера на все руки: и хлебороба, и плотника, и резчика по дереву, и бондаря, и ювелира, и гончара... В первозданной чистоте вплоть до недавнего времени сохранялись здесь старорусские обряды и обычаи. Потому-то и напитала парфентьевская земля будущего писателя живой водой народного творчества.

В детстве же Максимову посчастливилось приобщиться и к высокой книжной культуре. Отец писателя, человек любознательный и просвещённый, поддерживал дружеские связи с опальным поэтом П. А. Катениным, который с 1838 года безвыездно проживал в родовой вотчине Шаёво, неподалёку от Парфентьева, и часто навещал гостеприимный дом провинциального книгочея. Не исключено, что и под влиянием Катенина, мастера простонародных баллад, серьёзного соперника В. А. Жуковского, определились литературные пристрастия Максимова. Любовь к народной поэзии и народному быту, к живому русскому слову он бережно пронёс через всю жизнь.

Ежегодно, 15 августа, собиралась в Парфентьеве известная на всю Россию специальная грибная ярмарка: соседние боры в изобилии снабжали местных жителей этим даровым товаром. На ярмарку съезжались в посад именитые судиславские купцы, среди которых желанным гостем в доме Максимовых неизменно оказывался Николай Андреевич Папулин, приятель отца, замечательный человек, крупный деятель раскола федосеевского толка. Это был редкий знаток по иконографии, по разбору шрифта старинных рукописей и оценке старопечатных книг. На приобретение древних манускриптов, книг и икон дониконовского

письма он не жалел никаких средств. Однажды Папулин закупил в городе Сольвычегодске деревянную церковь, ещё со времён Ивана Грозного принадлежавшую знаменитым купцам Строгановым, которые собрали в ней бесценные редкости и святыни. Тёмной ночью на шести подводах вывез отсюда Папулин 1 300 икон и доставил в Судиславль. По его рассказам, тут были иконы, писанные ещё митрополитом Петром, а также «Год святых» Андрея Рублёва. Максимов учился уже в Костромской гимназии, когда в 1846 году правительство обвинило Папулина в хищении икон, в со-
вращении в раскол и незаконном пристанодержательстве: при своих мельницах, Камешке и Шемякиной, Папулин основал два раскольничьих монастыря-общежития для мужчин и женщин. Он был арестован и сослан в Соловецкую тюрьму. Вскоре приказала долго жить и парфентьевская грибная ярмарка: ведь судьба крестьян, промышлявших грибным товаром, во многом зависела от «батюшки-отца», «батюшки Николая Андреича», производившего грибами торговый оборот более чем на 100 тысяч рублей.

Вероятно, в общении с Папулиным надо искать исток того упорного интереса Максимова к расколу, который был устойчивым и неизменным в его творчестве. На парфентьевской земле, вскормившей и вспоившей Максимова, зрели зёрна его будущих произведений – «Лесная глушь», «Год на Севере», «Рассказы из истории старообрядчества по раскольническим рукописям», «Бродячая Русь», «Крылатые слова», «Нечистая, неведомая и крестная сила». Неспроста писатель часто и с благодарностью вспоминал потом о родительской кровле, «там, далеко, за Волгой, за дремучими лесами, в печальных местах дальнего Кологривского уезда». На волжские берега, в губернский город Кострому, одиннадцатилетний мальчик приехал не с пустыми руками, а с солидным запасом жизненных и литературных впечатлений.

Не последнюю роль в формировании писателя сыграли добрые природные задатки. Заметим, что все дети парфентьевского почтмейстера вышли людьми незаурядными: из трёх братьев Максимова два оставили заметный след

в истории русской науки и культуры. Николай Васильевич Максимов (1843–1900) был известным беллетристом. По окончании Морского корпуса он служил во флоте, участвовал, командуя батальоном, в сербско-турецкой войне 1876 года, а в русско-турецкую кампанию 1877 года состоял корреспондентом при отряде М. Д. Скобелева и был ранен под Плевной. Его перу принадлежат очерки «Две войны» (СПб., 1879) и рассказы «На досуге. Беллетристический сборник» (СПб., 1891). Младший брат С. В. Максимова, Василий Васильевич (1849–?), окончил Петербургскую медико-хирургическую академию, защитил диссертацию на степень доктора медицины. Он тоже участвовал в русско-турецкой войне 1877 года в санитарном отряде Красногo Креста в Черногории, а затем – в действующей русской армии. С 1893 года В. В. Максимов возглавлял кафедру хирургии Варшавского университета и вошёл в историю медицинской науки как автор оригинальных научных трудов.

2

Один из первых биографов С. В. Максимова Петр Васильевич Быков в свое время писал: «Максимов начал учиться в народном училище посада Парфентьева, где учился сносно, но испытал и все строгости тогдашней педагогической системы, в которой заушения и самые суровые меры до розог включительно играли господствующую роль».

Парфентьевское приходское училище открылось в 1835 году, и первым наставником Максимова был священник Ризположенского собора, иерей Иван Петрович Яснев, приходившийся мальчику крёстным отцом, а возможно, и близким родственником. Хотя срок обучения был двухлетним, училище называлось «одноклассным», так как школьники первого и второго классов постигали азы наук под началом одного учителя, в одной, общей классной комнате, располагавшейся в доме И. П. Яснева. Успеха при такой параллельной методе обучения могли добиваться лишь хорошие педагоги. И. П. Яснев к их числу, по всей вероятности, не принадлежал.

Как проходило его учение, легко восстановить по рассказам самого писателя. Вот сидит отец Иван в переднем углу своей избы, косматый, борода широкая, очки на носу. Загрубелая в полевых работах, сильно загорелая рука его держит толстую линейку, которой он только что нахлопал по шаловливой ладони десяток, а то и дюжину горячих «паль». По обеим сторонам учителя, вдоль стола, уткнув головы в изорванные, до неопрятности засаленные книжки, сидят невольные жертвы. Они водят указками из лучины с острым концом и зазубренным верхом по строчкам букваря с примечательным названием «Первоначальное учение человека»: «„Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа: аминь. Боже, в помощь мою вонми и вразуми мя во учение сие!“ Читайте за мной да перекреститесь: всякое дело с молитвой надо, вот так!»

Сидят школяры вдоль стола, но не все. Трое провинившихся поставлены на колени в углу подле печи. Один таскает из-под себя горох и украдкой бросает в рот. Другому, более виноватому, досталась горшая участь: он поставлен на дресву, больно впивающуюся в колени, и тоже украдкой разгребает её по сторонам. Третьего поп Иван поставил лицом в угол и запретил оглядываться. Нарушишь запрет – будешь бить земные поклоны до тех пор, пока кровь носом не пойдёт.

Отец Иван – человек добрый. Но семинарское воспитание с его суровым духом вселило в него глубокое убеждение, что «корень учения горек». А потому дисциплину он поддерживает строгую. Провинившегося школяра отправляет домой через весь посад честным людям на потеху в вывороченной наизнанку шубёнке и шапке. Или кладёт его на голый пол у дверного косяка и заставляет лежать до тех пор, пока весь класс не перешагнёт через него, устремляясь с уроков по домам. По субботам – повторение с непременно судом и расправой. Всю неделю записывает отец Иван в табличке против имён учащихся оценки их ответов. Система двухбалльная: «знает» – «не знает». В субботу все стоят на коленях. Учитель берёт в одну руку свой кондуит,

в другую – линейку и по очереди обращается к ученикам: «Максимов Сергей! У этого кругом „знает“. Садись на скамью!» А у кого «не знает», тому за каждую отметку – увесистая «паля».

Ничего предосудительного в этом не видели. Отцы бабловников говорили учителю: «Вот тебе ещё три парня в науку: совсем одолели. Попугай их вволю, дери сколько знаешь и сколько хошь – перечить не стану: и веников навяжу, и дресвы наколочу, и гороху нагрёбу. Дери, знай, шибче, хоть три шкуры спускай, – совсем одолели: вечер лошковской корове ни за что отрубили хвост. Уйму на них нет!»

Другую же науку – толковать, объяснять урок – учитель считал не столь обязательной. Обучив кое-как чтению, по второму году он предпочитал отмечать ногтем в книге «от сих мест и до сих» – и учи наизусть, «слово в слово». На языке тогдашних школяров это называлось «зубрить». Зубрили вслух, так что в избе учителя поднимался страшный шум. Но и сам Яснев, и все домашние его к такому шуму давно привыкли.

Первого декабря, на пророка Наума, который по народным повериям «наставляет на ум», родители дарили учителю подарки: кто синий решемский армяк, кто полушубок из романовских ярок, рубашку из ивановского ситца, шапку меховую галицкой, шокшинской, выделки, валяные сапоги макарьевские...

3

Отец Максимова, Василий Никитич, был взыскательным, поблажки детям не давал, приучал к труду и строго наказывал за леность и нерадение. Вспоминая об отце, Максимов рассказывал П. В. Быкову, что Василий Никитич, «несмотря на своё плохое образование, был человек довольно развитой и просвещённый, много читавший, много издававший на своем веку». Вероятно, он чувствовал ограниченность Ивана Яснева. Неслучайно в 1839 году, когда Сергей пошёл лишь во 2-й класс приходского училища, отец, прослышав об открытии при Костромской гимназии

благородного пансиона, направил в Дворянское собрание прошение о приёме сына на пансионерское содержание.

Документы, посланные Василием Никитичем, были рассмотрены дворянскими депутатами: ходатайство его сочли возможным удовлетворить. Но Костромская губерния, как известно, была перенаселена с избытком мелкопоместными и служилыми дворянами. Число мест в пансионе всех желающих удовлетворить никак не могло. Поэтому после отбора документов совершалась так называемая баллотировка.

В апреле 1839 года в Костромской гимназии, в присутствии почётного попечителя, директора училищ, родителей и родственников претендентов, проводилась следующая процедура. Зачитывались вслух имена всех соискателей, документы которых признаны уважительными. Написанные на одинаковых бумажках и единообразно сложенные, эти имена ссыпались в стеклянный сосуд (урну), перемешивались, а затем извлекались одним из присутствующих детей по назначению губернского предводителя. Извлечённые по жребию фамилии зачитывались секретарем дворянского собрания и заносились в протокол. Число избираемых назначалось предварительно и объявлялось заранее. Поскольку здание пансиона в 1838 году только начало строиться и конца этой стройке, как водится на Руси, не предвиделось, попечитель гимназии А. А. Лопухин отдал для этих нужд свой дом на Ивановской улице, недалеко от гимназии. Пристроить в небольшой особняк в 1839 году смогли только 26 воспитанников. В число счастливых Сергей Максимов не попал. Сохранялся лишь очень неопределенный шанс. По утвержденному положению, имена абитуриентов, оставшиеся в урне сверх 26 удачливых, вынимались и далее. Их ставили на очередь для замещения убыли в конце каждого учебного года. Старшинство между ними определялось порядком извлечения жребиев и заносилось в протокол. В случае убыли пансионера, старший из стоящих на очереди тотчас становился на его место, и директор училищ уведомлял родителя о зачислении его сына в пансион. А до той поры соискатель считался кандидатом и... ждал.

Номер, выпавший Сергею Максимову, не порадовал: ясно было, что ждать придётся долго, не менее двух лет. И тогда Василий Никитич принял решение определить сына в Кологривское трёхклассное уездное училище, разумно полагая, что знания, полученные сыном у Ивана Петровича Яснева, слишком скудны для будущего гимназиста. Директор Кологривского училища Арсений Яковлевич Сирин был сослуживцем Юрия Никитича Бартенева. В 1840 году ему исполнилось 35 лет. В свое время, по окончании Костромской духовной семинарии, он служил письмоводителем в канцелярии костромского директора училищ, в 1829 году стал бухгалтером этой канцелярии, а с 24 апреля 1835 года был утвержден штатным смотрителем Кологривских училищ.

В октябре 1843 года Ю. Н. Бартенов прислал в библиотеку Кологривского уездного училища книгу «О молитве» (Одесса, 1843) с такой подписью: «Малое приношение в библиотеку Кологривского уездного училища, находящегося под ведением всегда любезного мне бывшего сослуживца моего Арсения Яковлевича Сирина; да и самый предмет книжки, сколько мне известно, всегда гармонировал с благородным и ищущим сердцем его. Действительный статский советник, бывший директор костромских училищ Юрий Бартенов. 15-го октября 1843 года».

В сопроводительном письме, обращаясь к Сирину, Бартенов писал: «Посылаю при сем к Вам книжку. Если надпись, на ней сделанная, не помешает оставить её в Вашей библиотеке, то пусть она останется и послужит гласным проявлением моего сердечного уважения к Вам, которое тем беспристрастнее, что выговаривается после долгих лет разлуки и из отдалённого конца России».

В Кологривском уездном училище Максимов обучился 1840/41 и 1841/42 учебный год. В Костромском государственном архиве хранится «Список учеников кологривских училищ, удостоенных перевода в высшие классы после испытаний в 1842 году», а также «Описание торжественного акта», происходившего в них: «В Кологривском уездном и приходском училищах 17-го числа июня месяца

происходил торжественный акт, в присутствии духовенства, чиновников и почётного купечества. Перед началом Акта воспитанники обоих училищ слушали в соборной церкви Божественную литургию и молебен о здравии Его Императорского величества и всей Августейшей фамилии. Акт начался в 12-м часу до полудня рассуждением о пользе, какую доставляет образуящемуся юношеству изучение предметов, преподающихся в уездных училищах, читанным учителем арифметики и географии С. Скворцовым. Потом предложены были детям, особенно 2-го и 3-го классов, более занимательные вопросы из учебных предметов, преимущественно же из закона Божия и истории всеобщей и отечественной. За сим провозглашены имена учеников, удостоенных наград, перевода в высшие классы и окончивших учение. В заключение ученик 3-го класса Невзоров произнес благодарственную речь к присутствующим».

Судя по документам, из 2-го класса в 3-й перешли 7 учеников: Гвоздев Петр, Зубков Дмитрий, Котиков Сергей, Пяткин Вячеслав, Руфин Антон, Тибанов Дмитрий и среди них – Максимов Сергей. Он же в числе трёх учеников (Разживин Александр, Лодыженский Алексей, Максимов Сергей) значится награждённым книгою за успешную учебу и примерное поведение.

4

Так подошел 1842 год. А к этому времени очередь к зачислению Сергея Максимова в благородный гимназический пансион подошла совсем близко. 23 сентября 1842 года В. Н. Максимов направил костромскому губернскому директору училищ П. И. Величковскому «покорнейшее прошение», сохранившееся в Костромском архиве: «Представляя при сем сына моего Сергея, имеющего от роду одиннадцать лет, обучавшегося во 2-м классе Кологривского уездного училища, покорнейше прошу Вашего Высокоблагородия принять его для дальнейшего обучения во вверенную Вам гимназию, а документы о его звании и свидетельство о рождении и оспе представлены в Костромское дворянское

депутатское собрание вместе с прошением моим о принятии его на полное содержание в пансионе при гимназии еще в 1839-м году.

К сему прошению парфентьевский почтмейстер, коллежский асессор Василий Никитин сын Максимов руку приложил.

Прошение подать и сына Сергея представить в гимназию доверяю коллежскому асессору и кавалеру Александру Яковлевичу Виноградову».

Прошение отца было удовлетворено, и Сергея Максимова приняли в 1-й класс гимназии своекоштным, вольноприходящим учеником. Судя по имеющимся в архиве документам, его взял на содержание за солидную по тем временам плату учитель арифметики и геометрии при Костромском уездном училище Иван Михайлович Богословский. Он происходил из духовного сословия. По окончании Костромской духовной семинарии, в сентябре 1824 года, был назначен учителем латинского языка в Макарьевское духовное училище, а в марте 1833 года переведён в Кострому. Он был способным учителем. В документах значится, что «по засвидетельствованию ординарного профессора и кавалера Перевошикова об особенных трудах и отличных успехах учеников, найденных в его классе, изъявлена ему благодарность от имени училищного комитета 29 января 1835 года».

Под присмотром строгого наставника, обладая незаурядными природными задатками, Максимов успешно учится в 1-м классе гимназии, выдерживает переводные испытания и в 1843 году зачисляется во 2-й класс. А очередь к поступлению в пансион, по иронии судьбы, доходит до него, но перед ним и останавливается. Расстроенный отец обращается к директору гимназии с новым прошением: «Сын мой Сергей Максимов, обучающийся в Костромской губернской гимназии, другой год уже зачислен в кандидаты гимназического пансиона на счёт дворянских сумм; но очередь для поступления в оный до сих пор на него ещё не вышла. Не имея по Костроме ни родных, ни коротко

знакомых лиц, кои бы, взявши к себе на содержание моего сына, ближайшим непосредственным образом наблюдали за поведением его и занятиями вне классов, – я в необходимости нахожусь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие, по уважению означенных причин, принять на полное содержание за положенную плату, которую я и при бедности моей обязуюсь вносить в назначенные для того сроки, пока не заменится она дворянскою суммою. Ежели настоящая просьба моя почему-либо не может быть ныне же уважена, не откажитесь, по крайней мере, сделать по ней мне надлежащее удовлетворение при первой возможности. Поручительство, касательно принятия к себе на дом сына моего, в случае исключения его из пансиона, как скоро в этом документе будет настоять надобность, не откажется дать г. учитель Костромского уездного училища Иван Михайлович Богословский. Документы о сыне моём, как то: метрическое свидетельство и свидетельство о воспе находятся при прошении в Костромском дворянском депутатском собрании о принятии его в число пансионеров. Июля 31-го дня 1843 года».

В ответ на это прошение П. И. Величковский не смог сообщить ничего утешительного. 16 августа 1843 года он писал:

«Милостивый государь, Василий Никитич!

От 31 прошедшего июля Вы просили меня о принятии сына Вашего Сергея воспитанником пансионером в благородный гимназический пансион. Но как нанимаемый для этого заведения дом не позволяет в настоящее время иметь воспитанников более того количества, какое в нём состоит, – то я, к сожалению моему, не могу дать удовлетворения Вашей просьбе».

Однако на сей раз судьба складывается в пользу Максимовых, по пословице: «не было бы счастья, да несчастье помогло». 24 сентября 1843 года умирает находившийся на полном дворянском содержании пансионер, сын поручика, Фёдор Дмитриев. П. И. Величковский докладывает об этом губернскому предводителю дворянства и просит «сделать

распоряжение к замещению состоящей теперь вакансии». В. С. Карцаев отвечает Величковскому «о замещении вакансии сей кандидатом Сергеем Максимовым», «обучающимся во втором классе гимназии». А 8 октября 1843 года В. Н. Максимов присылает в гимназию прошение:

«Господин исправляющий должность Костромского губернского предводителя дворянства Василий Степанович Карцаев отношением от 24 минувшего сентября за № 751-м уведомил меня, что на место умершего воспитанника Дмитриева по старшинству баллов должен поступить в учрежденный при Костромской гимназии благородный пансион сын мой Сергей Максимов, коего должен я немедленно представить во вверенную Вам дирекцию училищ.

Во исполнение чего я покорнейше прошу Вашего Высокоблагородия, дабы благоволили сына моего Сергея Максимова принять и на открывшуюся вакансию в благородном пансионе в число пансионеров поместить. Что же касается до документов о его дворянстве, рождении и здоровье, – то соблаговолите истребовать все оные от Костромского дворянского депутатского собрания, куда я представил в 1838-м году при прошении о принятии сына моего в Благородный пансион. Прошение сие передать и сына моего к вашему высокоблагородию представить поручаю господину учителю Ивану Михайловичу Богословскому».

Так с октября 1843 года Максимов был зачислен в пансион на полное дворянское содержание.

Судя по сохранившимся в Костромском областном архиве гимназическим документам, Сергей Максимов учился весьма успешно и был на протяжении всего периода обучения неизменно в числе первых учеников. Почему же он, поступивший в 1-й класс гимназии в 1842 году, окончил её не в 1849-м, а на год позднее, в 1850-м? Где произошла задержка? Каковы ее причины?

Ответ на эту загадку дает первый по времени творческий труд Максимова, выполненный им в Костроме. Это была речь, произнесённая на торжественном акте в гимназии. По словам П. В. Быкова, «речь вышла дельная,

красивая, написана была на тему о Ломоносове, как сыне народа, и своей искренностью и теплотой произвела, между прочим, „сильное впечатление на местного архиерея“».

В каком же году Максимов произнес эту речь? По сохранившемуся в отделе рукописей ИРЛИ автографу «Ломоносов, как первый русский ученый» можно установить точную дату торжественного акта. Максимов начал свою речь так: «Тяжкая година испытаний для нашего города кончилась, души и сердца ваши, благосклонные посетители, вероятно успокоились от всех злоключений; и вы, следуя влечению благородного сердца, снова, по-прежнему, посетили наше мирное жилище, а мы, чувствуя цену вашего к нам внимания и исполняя старинный обычай, осмеливаемся побеседовать с вами, так уже давно не имея к тому случая».

О какой «тяжкой године» идет речь? Почему Максимов замечает, что «благосклонные посетители гимназии» «уже давно не имели случая» побеседовать с гимназистами? Очевидно, в традиционных торжественных актах гимназии, проводившихся ежегодно в начале учебного года, возник какой-то вынужденный перерыв?

Действительно, 1847/48 учебный год в Костромской гимназии и открыли, и завершили два страшных стихийных бедствия, память о которых долго хранилась в сознании костромичей. В начале сентября 1847 года Кострому постиг ряд опустошительных пожаров, истребивших большую часть домов, общественных и частных, в том числе Богоявленский монастырь, приходское училище, два дома частей Костромской полиции, гауптвахту, церковь Святой Троицы, губернскую типографию... К счастью, новое здание гимназии и пансиона всякий раз «оказывалось за ветром» и осталось невредимым, хотя пожары были в недалеком от него расстоянии.

В городе началась паника, поползли слухи о злоумышленных поджигателях-поляках. Большая часть обывателей вывезла из города свое имущество, бросила дома, разбежавшись по окрестным сёлам и деревням. Уроки в гимназии были прекращены, а гимназисты распущены по домам.

И хотя на исходе сентября учеба возобновилась, около 25 учащихся были задержаны испуганными родителями.

В мае 1848 года город постигла другая беда: началась эпидемия холеры. 24 мая в пансионе заболел ученик 6-го класса, однокашник Максимова Орлеанский. Инспектор врачебной управы Альбицкий поставил роковой диагноз. Несмотря на все старания врача, мальчика спасти не удалось: 25 мая он скончался.

3 июня попечитель Московского учебного округа приказал немедленно распустить по домам всех учеников гимназий и училищ. Поэтому в конце 1847/48 учебного года сорвались экзамены, а в начале следующего года, по всей вероятности, не было и торжественного акта. По той же причине Максимов и следующий, 1848/49 учебный год, вынужден был учиться в 6-м классе.

О том, что речь свою он читал в 1849 году, свидетельствует и такой элементарный подсчет. «Сто тридцать восемь лет прошло с того времени, когда у Холмогорского рыбака Василья Дорофеева, человека простосовестного, к сиротам податливого, к соседям обходительного, родился сын Михайло», – говорил в своей речи Максимов. Приплюсуем к 1711, году рождения Ломоносова, 138 лет – и получим 1849 год. «Костромские губернские ведомости» тогда сообщали: «На основании параграфа 155 Устава учебных заведений, по окончании годичных испытаний учеников Костромской гимназии в преподаваемых науках, 4-го числа сего сентября, после Божественной литургии в Костромском Успенском соборе, назначается торжественный акт, на который начальство гимназии почтеннейше приглашает любителей и любительниц общественного образования в отечественных учебных заведениях...»

В Костроме большое влияние на подготовленного и восприимчивого гимназиста оказал учитель русской словесности и географии Павел Иванович Пермяков, страстный поклонник Белинского, просветитель и демократ¹. Близко

¹ О педагогах Костромской гимназии и пансионе при ней см. в приложении очерк «Из истории Костромской гимназии».

к сердцу принял Максимов призыв Белинского к российским писателям в предисловии к «Физиологии Петербурга, составленной из трудов русских литераторов» (1845): «...у нас совсем нет беллетристических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России, которая заключает в себе столько климатов, столько народов и племён, столько вер и обычаев и которой коренное русское народонаселение представляется такою огромною массою, с таким множеством самых противоположных и разнообразных пластов и слоёв, пестреющих бесчисленными оттенками».

Немаловажную роль в писательской судьбе Максимова сыграл будущий русский писатель и драматург А. А. Потехин, руководивший на правах старшего товарища литературным чтением Максимова-гимназиста. Демократические симпатии будущего писателя питали и поддерживали живые волжские впечатления. Пройдёт много лет, но и в далёкой Сибири, заслышав тоскливый напев каторжной «Милосердной», он унесется воображением на Волгу, «где, ломая путину и разламывая натруженную и наболевшую грудь жёсткой лямкой, бурлак тянет свою унылую песню, подлаживая к ней свой шаг, приурочивая свои разбитые ноги».

5

Успешно закончив в 1850 году Костромскую гимназию в числе первых её учеников, Максимов отправляется в Московский университет. Он мечтает о призвании литератора, но русское правительство, напуганное революционными событиями 1848 года в Западной Европе, резко сокращает набор в высшие учебные заведения, а на филологический факультет в этом году вообще прекращает его. Выбора не было. Поневоле пришлось Максиму поступать на самый общедоступный медицинский факультет.

Первые впечатления провинциала в Москве оказались противоречивыми. Впоследствии Максимов задавал себе и читателям вопрос: «Отчего плохи города, окружающие

Москву?» Ответ он подыскал следующий: «А, может быть, они оттого и плохи, что Москва хороша... Москва, что пьявка, высосала из них всё хорошее, всю кровь; сама же распухла, отвалилась и развалилась, что напившаяся чаем купчиха».

Обучение на факультете, избранном по необходимости, а не по призванию, тоже не удовлетворяло начинающего литератора. Максимов довольно быстро заводит дружбу с одарёнными людьми, своими однокашниками. В их числе будущий историк Дмитрий Иловайский, будущий знаменитый врач Сергей Боткин, талантливые однокурсники-рязанцы Иван Колюбакин и Константин Мальцев. Формируется небольшой студенческий кружок, увлечённый народной песней, жадно следящий за новинками в литературе и театральном искусстве.

Через брата Евгения Эдельсона – Аркадия, однокурсника Максимова – кружок удостоивается чести знакомства с Александром Николаевичем Островским, который навещает друзей, ютившихся в чердачном помещении доходного дома на Спиридоновке. Через Островского Максимов сближается с кругом литераторов «молодой редакции» журнала «Москвитянин» – талантливыми критиками Аполлоном Григорьевым и Евгением Эдельсоном, проникновенным знатоком и исполнителем народных песен Тертием Филипповым, поэтом-юмористом Борисом Алмазовым. Кружок ширится и растёт, вбирая новых членов. Живой интерес к национальной культуре, к народному быту, к русской песне объединяет в дружную семью представителей самых разных сословий от дворянина до купца и крестьянина-отходника. В кругу одарённых русских людей, под благотворным влиянием Островского, проходит Максимов-писатель свои первые университеты.

Здесь он сошелся и сдружился с А. Ф. Писемским, своим старшим земляком, а затем и собратом по литературному творчеству. А. Н. Майков в одном из позднейших писем к Максиму замечал: «Вы помните наше знакомство с Писемским: не знаю, он ли был крёстным отцом ваших

первых произведений, но помню, что его трезвый взгляд на жизнь и искусство сильно действовал на вас, ещё юношу, и не остался без влияния на дальнейшие ваши труды. Он, кажется, первый и указал вам на изучение жизни русского народа, найдя в вас и нужную для того подготовку, меткий взгляд и разумную наблюдательность».

Но скорее всего развитию литературного таланта Максимова способствовала вся атмосфера кружка Островского, к которому юноша был близок в течение двух лет. Сам Максимов впоследствии неоднократно признавался: «Москве я обязан моими первыми литературными связями, моим литературным воспитанием и первыми проблесками моего сознания, что я должен чем-нибудь быть полезен народу».

6

В 1852 году Максимов покидает Москву и едет в Петербург, надеясь поступить там на филологический факультет университета. Но мечте этой не суждено было осуществиться. Он определяется для продолжения медицинского образования в Петербургскую медико-хирургическую академию. Здесь Максимов сближается с Николаем Степановичем Курочкиным, будущим поэтом-демократом, активным сотрудником некрасовских «Отечественных записок», и с его братом Василием Степановичем, талантливым переводчиком Беранже и поэтом-юмористом, с 1859 года бессменным редактором журнала «Искра». И в Петербурге литературные интересы одерживают верх над интересами медицинской науки. Максимов начинает сотрудничество в издании Справочного энциклопедического словаря, выходившего под редакцией А. В. Старчевского. Он публикует в этом словаре ряд статей, среди которых выделяется заметка о творчестве В. И. Даля, составителя Словаря живого великорусского языка, автора очерков из народного быта, высоко оценённых в 1840-х годах В. Г. Белинским. Статья Максимова о В. И. Дале характеризует уже определившиеся литературные вкусы начинающего писателя, работающего над первым своим очерком «Крестьянские посиделки

в Костромской губернии», который увидел свет в январском номере журнала «Библиотека для чтения» за 1854 год.

К этому времени в редакции журнала «Библиотека для чтения» произошли изменения. К сотрудничеству в нём был привлечён критик демократических убеждений А. И. Рыжов, а в 1852 году в критический и библиографический отдел журнала пришли А. В. Дружинин и М. Л. Михайлов. Вскоре в «Библиотеку для чтения» был приглашён в качестве постоянного сотрудника выдающийся педагог и публицист К. Д. Ушинский, составивший вместе с Михайловым и Рыжовым «триаду молодых критиков и публицистов, близких к демократическому направлению и к лучшим представителям журнала „Современник“» (Б. Ф. Егоров).

Вслед за «Крестьянскими посиделками» Максимов публикует в «Библиотеке для чтения» один за другим свои очерки: «Извозчик», «Несколько слов о музыкальности», «Швецы», «Маляр», «Сергач». М. Л. Михайлов не только высоко оценил первые литературные опыты Максимова, но и приложил немало усилий, чтобы ввести начинающего писателя в литературную среду. Об этом тепло вспоминал Максимов на склоне лет: «В редакции „Библиотеки для чтения“ я с ним познакомился, был им обласкан, услышал первые приветливые слова и поощрение к тем работам по изучению крестьянского быта, которые я тогда робко начинал. Он свёл меня к Тургеневу и ввёл в тот кружок литературных корифеев, который тогда около него группировался. Он указал Панаеву на одну из моих статей, и из уст последнего я получил первую одобрительную и поощрительную похвалу в печати. Личные самые искренние чувства благодарности невольно останавливают меня здесь при воспоминании об этих двух лицах, которым я многим обязан...»

И. И. Панаев в рецензии на очерк Максимова «Сергач», опубликованной в декабрьской книжке «Современника» за 1854 год, писал: «В своём рассказе Максимов обнаружил замечательную и ловкую наблюдательность и умение владеть простонародным языком, умение, которое даётся нелегко и не всякому. Максимов идёт по пути, проложенному Далем

и Григоровичем, и является достойным учеником этих двух писателей, разрабатывающих русскую народную жизнь».

И. С. Тургенев, познакомившись с первыми литературными опытами Максимова, нашёл в них признаки литературного таланта и при личной встрече с автором посоветовал ему идти в народ, внимательно наблюдать его жизнь, запастись свежим материалом.

Писатель воспользовался советом Тургенева и весной 1855 года, оставив Петербург, отправился в путешествие по Владимирской, Нижегородской и Вятской губерниям. В Вязниковском и Ковровском уездах он изучал быт офеней, ходебщиков, разносчиков, коробейников, которые торговали сыром, колбасой, красным товаром, иконами и книгами. На обратном пути из Вятской губернии Максимов посетил Нижегородскую ярмарку и познакомился с В. И. Далем, который служил управляющим нижегородской удельной конторы.

Начинающий писатель решился на довольно дерзкое предприятие: практика подобных хождений в народ была тогда ничтожной. В письме из Вятской губернии Максимов сообщал А. В. Старчевскому: «Дорога так далека и дорога, что чуть-чуть дотащился, если принять в расчёт все разъезды далеко в сторону от торного пути, по проселкам и закоулкам. Целый месяц возился я с вязниковцами, офенями и богомазами, пока добрался до бурлаков...» Писатель исполнил своё дело с редкой добросовестностью. Для Максимова этот почин превратился в подвижнический труд всей жизни, основой которого была любовь к народу и вера в его творческие силы. Он шёл в народ, повиняясь голосу совести, чувству гражданской ответственности за судьбу Родины в один из самых сложных и переломных моментов её истории.

Среди многих проблем, волновавших тогда русское общество, на первом плане была проблема освобождения крестьянства от крепостной зависимости. Крестьянский вопрос отныне и на весь XIX век оказался в России вопросом всеобщим: от его решения зависела жизнь нации, её судьба.

В обществе появился интерес к людям, знакомым с народом накоротке. «В то доброе наивное время, – вспоминал поэт-сатирик Д. И. Минаев, – среди множества других открытий разных местных Америк, мы, между прочим, открыли целую породу людей, называемых „пейзанами“ или „мужичками“, у которых была своя литература, своя внутренняя жизнь и история... Многих в те времена очень серьёзно занимал крестьянский быт, но понятия о нём были очень смутные: или его идеализировали, „сочиняли народ“, или относились к нему с восторженным недоумением».

Максимову приходилось самому искать путь к сердцу мужика: «позади не было ни одного примера, никакой школы и поучения». Он вёл «рудниковые работы» не в архивах, не за книгами и бумагами, а в живом общении с мужиком; он не просто наблюдал народную жизнь со стороны, а входил в неё, сам на мгновение становился офеней, крестьянином-хлеборобом или отходником.

Итогом первого путешествия Максимова явился цикл очерков, опубликованных в журнале «Библиотека для чтения» за 1855–1857 годы. Коробейники, портные, шерстобиты, маляры, штукатуры, плотники, деревенские знахари и колдуны, извозчики и вожак медведей – таковы герои максимовских очерков, вошедших впоследствии в книгу «Лесная глушь». Тут и песни, и пляски, и святочные озорства, и народный театр. Тут и календарь осенне-зимних занятий крестьян средней полосы России, народные заплачки и заговоры – живая энциклопедия крестьянской жизни середины XIX столетия.

Очерки Максимова интересны как обилием этнографического материала, так и способом его воспроизведения. Писатель говорил, что в основе его творчества лежат «личные наблюдения, голые факты, целостно взятые из жизни». От «физиологических» его очерки отличаются *целостным* изображением крестьянского бытия. Здесь не только сиюминутные наблюдения за крестьянской жизнью, не только узко социальный срез её, но и народная историческая память,

выражающаяся среди прочего и в столь интересующем Максимова фольклоре, фольклорном мироощущении.

Как этнограф Максимова очень интересует фольклор. Но художественное чутье подсказывает писателю, что типичные приёмы записей фольклорных текстов, вырывающие устное народное творчество из повседневного трудового обихода, приглушают действенную силу и живой смысл фольклора. Максимов избирает другой путь. Народное творчество под его пером оживает, расцветается всеми цветами радуги, потому что всякий раз погружается в живую жизнь, в конкретные, сиюминутные её ситуации. «Женат?» – спрашивает молодуха швеца Терёху в очерке «Швецы». «Нет, – отвечает тот. – Вот уж коли домок путём заведу, а ведь в нашем ремесле из-за хлеба на квас не работаешь. Теперь всё и хозяйство, что вот есть на свете: во дворе скотина – таракан да жуковица, а и медной-то посуды всего одна пуговица». Народное присловье, сохраняя свойственную всем фольклорным текстам всеобщность, одновременно конкретизируется, срастается с характером балагура Терёхи. Точно так же пословица «пошла про Савву худая слава» прямо относится к единичному случаю жизни швеца Матюхи, к минутной его слабости – краже соседского ячменя. Подмастерье Ванюшка неловко пришивает заплату на худой кафтан. Хозяин и учитель Степан снисходительно прощает мальчугана: «Ну, да ладно, на первых порах и то печево, коли есть нечего». В строгом соответствии с внутренним складом и ладом народной жизни герои максимовских очерков «шутки творят – работу спорят».

Наконец, Максимов изображает особый тип мужика одной из самых бойких и развитых местностей России, не похожего на оседлого хлебороба южных губерний, энергичного и предприимчивого, независимого и гордого, способного критически отнестись к окружающему. В очерке «Питерщик» воспроизводится жизненный путь именно такого мужика-отходника – Петрухи. Перед нами человек из народа, сам определяющий свою жизненную судьбу. Максимов подробно рассказывает о том, как парфентьевский крестьянин

Пётр Артемьев, достигший совершеннолетнего возраста, отправляется в Петербург и определяется в плотничью артель.

«...Участь Петра Артемьева решена; он не уйдёт обратно в деревню. Завтра же его запишут в артель, отберут паспорт для прописки в квартале, дадут топор, долото, сапоги, если захочет, – всё на артельные деньги, которые вычтутся при месячной уплате. Если у него остались деньги от дороги, то он обязан отдать их в артельную если не все, то возможную часть, потому что артель будет кормить его завтраком, обедом и ужином на другой же день.

Артель для него теперь заменяет родную деревню и напоминает её живо, потому что в это общество не заползают столичные обычаи. По-деревенскому артель спит немного, но зато крепко и в сытость; артель ест часто и много и – нужно отдать ей справедливость – всегда хорошо и чисто приготовленное: говядина у неё недавнего боя, пшено не затхлое, хлеб от хлебника по заказу и, следовательно, всегда из свежей муки. Артель дружна и крепка: обидеть одного – заставить мстить всех; тайн здесь ни у кого нет – всё по-деревенски, по-просту, нараспашку: домашние письма читаются вслух, при всех, и желающие могут приходить, слушать, давать советы. Захворает кто – артельный объявляет хозяину, и артель везёт больного на общие деньги в больницу; умрёт больной – и в могилу провожают его на артельные же деньги, и на них же один раз совершают панихиду...

Каждый почти год артель принимает новых паёвщиков, отпускает старых, но всегда, верная старине, живёт одним толком, тесно и неразрывно. Нередко случались такие годы, что подрядчики не нуждались в целой артели и хотели брать поодиночке, артель не соглашалась: „бери всех, порознь не пойдут – не рука!“ Артель крепко держится и старается быть верною родным, заветным поговоркам, что „один в доме бедует, а семеро и в поле воюют“, „две головни и в поле курятся, а одна и на шестке гаснет“, „дружно не грузно, а врозь – хоть брось“, – да, вероятно, и сами поговорки эти родились в артели, хотя, может статься, и не плотничьей».

Подробно рассказывает Максимов о распределении труда в галичской плотничьей артели, о разумной организации производства в ней. Писатель не скрывает и драматических последствий разрыва крестьянина с трудом на земле. Уходя от деспотизма помещика, от произвола сельских властей, от нищеты и голода, он попадает подчас в кабалу к богатому городскому подрядчику, поддается соблазнам лёгкой наживы и нередко сбивается с жизненного круга, теряет себя. В отличие от Некрасова, например, показавшего в поэме «Кому на Руси жить хорошо» яркие и сильные характеры мужиков-отходников в сочувственном свете, Максимов видит и другую сторону медали. Вернувшийся из города мужик порой ленится и чванится, высокомерно обращается с домочадцами, чувствует себя «баринном» в родной семье: «Залежались вы здесь, зажирили, а мужья про вас ломом ломай на чужой стороне. Уж коли в деревню едем, значит, отдохнуть хотим – и всё тут!»

Но в любом случае мужик-отходник обретает свой собственный взгляд на мир, ни от кого не зависимый, никому, кроме своей совести, не подвластный, – он становится *личностью*. В очерке Максимова пунктиром намечается сложная линия его жизни, набрасываются контуры будущей повести или даже романа, в центре которого окажется жизнь простого мужика.

Современники увидели в очерках Максимова «желание понять народный мир как он есть», с созданными его условиями, «понять равноправно и человечно», «с особым ударением на его мудрости», которую «нелегко уразуметь ненародному человеку»¹. Их привлекало хождение Максимова в народ не для того, чтобы учить его, а для того, чтобы у него учиться, «чтобы вынести из моря народной жизни знания, без которых наша забота об этом народе всегда есть и будет делом мертворождённым»².

¹ *Пытин А. Н.* История русской этнографии. – Т. 2. – СПб., 1891. – С. 70–71.

² *Сементковский Р.* Встречи и столкновения // Русская старина. – 1912 – № 12. – С. 572.

Народ на протяжении всего XIX века был объектом идеологических концепций самых разных общественных течений – от консервативных до либеральных и революционно-демократических. А. И. Герцен и Н. П. Огарёв, Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, а также следующие за ними поколения русских народников и социалистов-революционеров укрепляли свою веру в ближайший взрыв революции, идеализируя общинный уклад и связывая с ним надежду на социалистические инстинкты в характере русского мужика. У писателей народнической ориентации в поле зрения оказывались лишь общинно-мирские традиции жизни и быта русского крестьянства. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский обращали внимание на иные, христианские устои народных характеров, а потому в их романах народ предстал в неразложимом единстве как органический «мир», от которого неотделимы ни «круглый» Платон Каратаев, ни «цельная» Сонечка Мармеладова. Крестьянская жизнь в русской литературе изображалась, как правило, сквозь призму готовых идеологических схем, с предельной нормативностью, а следовательно, и с неизбежной предвзятостью.

Но живая жизнь, как известно, не терпит резких и крупных разграничений, сопротивляется им. Появляется запрос на иного писателя, входящего в народный мир изнутри, миная всякие идеологические установки, любые предвзятые суждения о сути народного бытия, о его первооснове. Максимов в своём творчестве как раз и приближался к такому типу писателя.

Издатели «Современника» Некрасов и Панаев пытаются привлечь Максимова к сотрудничеству в своём журнале. Некрасов заказывает ему статью о коробейниках, но писатель остаётся верен обязательствам, взятым на себя перед А. В. Старчевским, который с апреля 1856 года предпринимает издание нового еженедельника «Сын отечества» и пока не ставит своих сотрудников в жёсткие идеологические рамки. В письме к Старчевскому из Архангельска весной 1857 года Максимов вскользь упоминает о недоволь-

стве Некрасова, о его гневе по поводу «Офеней», материал о которых Максимов поместил потом в относительно «нейтральных» «Отечественных записках». Но, несмотря на «высказанные обоими издателями „Современника“ предложения участвовать только у них и под их защитой», Максимов предпочитает сохранить независимость от враждующих друг с другом направлений в современной журналистике. Сближение с Некрасовым произойдёт позднее. Когда идеологическая нетерпимость, характерная для «Современника», уйдёт в прошлое, Максимов станет постоянным сотрудником перешедших в руки Некрасова в 1868 году «Отечественных записок».

7

Репутация талантливого писателя и проникновенного наблюдателя народной жизни позволила Максиму в 1856 году принять участие в «литературной экспедиции», организованной Военно-морским министерством, возглавлявшимся великим князем Константином Николаевичем. Он решил осуществлять набор новобранцев во флот по примеру французов из жителей приморских областей и побережий больших судоходных и рыболовных рек. Предполагалось, что крестьяне, с детства занимающиеся промыслами на воде, пополнят флот способными матросами и существенно укрепят военно-морские силы России. «Литературная экспедиция» талантливых писателей была направлена на изучение образа жизни поселян морских побережий, озёр и больших рек страны. Это было, по словам Максимова, «небывалое событие». «Неожиданно, но определительно и ясно выражено было намерение употребить в дело силы, с которыми до той поры боролись или которых только гнали».

По рекомендации И. И. Панаева Максимов был приглашён для обследования побережий Белого моря, Ледовитого океана и Печоры. В феврале 1856 года он уволился по личному прошению из Медико-хирургической академии и отправился в трудное путешествие.

Рассказывая о своих странствиях, Максимов неспроста вспоминал народную поговорку: «Не зовут вола пиво пить – зовут вола воду возить». Это была действительно трудная и рискованная работа. В бесконечных разъездах и плаваниях использовались всевозможные способы передвижения: Максимов плавал на карбасах и шхунах, ездил на оленях и на лошадях верхом, на почтовых тройках и парах, немало дорог прошёл пешком. Чиновники николаевской выучки к писателям относились подозрительно: чего доброго в комедию вставят, осмеют. На помощь приходила молодёжь из среды провинциального чиновничества, педагогов, сельского духовенства. Труднее преодолевалось вековое отчуждение между бариним и мужиком: «Батюшко, ваше сиятельное превосходительство! не пиши ты этого: может, и сболтнули мы тебе чего неладного. Не погуби ты нас, сделай милость!»

В постоянной борьбе с такими преградами оттачивался талант общения, формировался совершенно особый склад писательской личности Максимова. «Хотелось ли мне записывать песни, я сначала пел сам одну, другую и третью, хвалил свои песни и, незаметно возбуждая досаду, а затем соревнование, слушал потом лучшую песню туземную, мне неизвестную». Доводилось при этом, по неписаному обычаю, и пропускать «по доброй чарочке». Зато, когда доверие обреталось, начиналась обильная жатва, сторицей окупавшая затраченные труды. Мужики начинали говорить «все вдруг, как любит говорить русский человек, когда затронет все сердца один общий интерес и накипит на этих сердцах невзгода и недовольство, и когда нет русскому человеку никакого другого исхода, кроме этих торопливых и недовольных разговоров... „Горе наше великое, а жалобу принести некому. Всякий сказывает: „Не моё дело“. Не похлопочет ли как ваша милость?“»

Максимов смог ответить на эти просьбы обстоятельным и правдивым рассказом о суровой жизни поморов и жителей побережий северных рек. В 1859 году вышла в свет двухтомная книга писателя «Год на Севере»,

получившая сочувственный отклик у читателей и высокую оценку в русской критике. На страницах «Библиотеки для чтения» (1860. № 7) А. В. Дружинин дал точное определение писательскому дарованию Максимова. Максимова-беллетриста он противопоставил целой плеяде современных литераторов, «далёких от практической жизни», «скопившихся по столицам» и «живущих каким-то особенным, книжным существованием». Эти люди подчас одарённые и высокообразованные, но «уединённая жизнь, занятая одной кабинетной работой», «мало-помалу отражается на всей их деятельности». Современная литература должна, наконец, выйти из столичного кружкового существования. Для этого необходимы «толковые путешествия по России», необходимо «принятие на себя писателями каких-нибудь практических обязанностей, помимо литературы, временное удаление от однообразной столичной жизни, сближение с различными классами общества и самим народом».

Содержание очерков «Год на Севере» отличается практической и жизненной точностью. Главное для автора – достоверность, а не литературные достоинства. Но, как отмечает Дружинин, «безо всякого старания со стороны автора, безо всяких стремлений его к погоне за поэзией – поэтическая сторона книги» сказывается «сама собою». «Постоянно проникаясь живым и дельным рассказом, читатель, как сквозь дымку развевающегося тумана, ясно видит перед собою то, к чему никогда сознательно не стремился автор, то есть физиономию края, характеристические группы туземцев, наконец, разнообразные картины природы, которых, по-видимому, Максимов и изображать вовсе не собирався».

Секрет этой особенности очерков Максимова Дружинин объясняет убедительно и просто: «В науке и искусстве всегда так совершается: полюбите предмет, изучите его глубоко, и поэзия, вместе с мелкими подробностями, придёт сама собою». Любопытно, что в писательской манере Максимова зримо проявились особенности русской литературной школы вообще, видные со стороны даже в творчестве таких утончённых стилистов, каким был, например,

И. С. Тургенев. О «нечаянной красоте» русского искусства французский писатель Проспер Мериме сказал Тургеневу так: «Ваша поэзия ищет прежде всего правду, а красота потом является сама собой».

В книге Максимова содержится уникальный художественный сплав самых разнородных сведений и наблюдений над жизнью русского Севера. обстоятельно и любовно воссоздается по архивным источникам, легендам и воспоминаниям история колонизации этого сурового края древними новгородцами, развитие рыболовных промыслов, общественный и экономический расцвет в эпоху петровского царствования. Книга опровергает широко бытовавший взгляд о якобы исключительной отсталости народа северных губерний. Со страниц «Года на Севере» встает собирательный образ русского крестьянина-помора, не знавшего крепостной неволи, сохранившего в чистоте и неприкосновенности культурные традиции народа, свободного в своей трудовой деятельности, в проявлении творческой мысли.

Сохраняя научно-этнографическую ценность, книга Максимова не утратила и ценности художественной, заключающейся в умении автора воссоздавать целостный образ жизни людей русского Севера. Северный край в художественном мире книги обретает своё неповторимое лицо и в характерах мужественных и отважных поморов, и в эпических картинах природы, и в драматических событиях российской истории.

«Год на Севере» подтверждает правоту суждений Белинского о том, что между искусством и наукой не существует резких разграничений: «как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна. Говорят: для науки нужен ум и рассудок, для творчества – фантазия, и думают, что этим порешили дело начисто, так что хоть сдавай его в архив. А для искусства не нужно ума и рассудка? А учёный может обойтись без фантазии? Неправда!» В книге Максимова достигается органический синтез науки и искусства, «просветительского» и художественно-образного начал. Как учёный-историк или учёный-этнограф, Максимов широко

использует документ, смело вводит его в повествование. Но если в творчестве учёного документ является жизненной основой, из которой извлекается отвлечённая научная истина, систематизирующая документальный материал, то у Максимова документ подтверждается или, напротив, опровергается художественным исследованием жизни. Историк и этнограф оживляет документом отвлечённые научные истины. Максимов-писатель оживляет документ непосредственным изображением действительности. Все его книги находятся в пограничной области между наукой и искусством, опровергая «мысль о каком-то чистом, отрешённом искусстве, живущем в своей собственной сфере».

«Хотят видеть в искусстве своего рода умственный Китай, – продолжает Белинский, – резко отделённый точными границами от всего, что не искусство в строгом смысле слова. А между тем эти пограничные линии существуют больше предположительно, нежели действительно; по крайней мере, их не укажешь пальцем, как на карте границы государств. Искусство, по мере приближения к той или другой своей границе, постепенно теряет нечто от своей сущности и принимает в себя от сущности того, с чем граничит, так что вместо разграничивающей черты является область, примиряющая обе стороны».

Так, для автора «Года на Севере», вероятно, не прошли незамеченными лекции московского университетского биолога, профессора К. Рулье, обнимавшего единым духовным взором мир природы и жизнь человека. Подход Максимова к исследованию краёв и областей государства Российского сформировался, по-видимому, не без влияния популярных в 1840–50-е годы идей сравнительного земледения шеллингианца Карла Риттера, которыми увлекались не только московские и петербургские профессора, но и гимназический учитель Максимова по словесности и географии И. П. Пермяков. Местность рассматривалась географами-шеллингианцами как стройный организм, объединяющий в себе природу и человека. К. Риттер видел в земной поверхности нечто живое, а в отдельных континентах

и краях её – особые организмы с присущими каждому характерными качествами, выражающимися в особенностях рельефа, климата, растительности, а равно и культурного развития народа, непосредственно связанного с этими естественными условиями жизни. В утверждении гуманитарного, культурно-исторического элемента в естествознании русские мыслители видели основную заслугу Риттера, стремившегося к синтезу, к целостному познанию природы и человека.

Влияние К. Рулье и К. Риттера на русскую науку было очень плодотворным. Оно выразилось, в частности, в основании географических обществ, в издании новых журналов. Именно их идеям Россия обязана открытием Русского географического общества в Петербурге и кружка Н. Г. Фролова в Москве, издававшего журнал «Магазин земледения». В книге «Год на Севере» Максимов следовал за Рулье и Риттером, сводя в органическое целое природу северной земли, природу поморских жителей и историю развития северного края.

Познавательная, практическая ценность книги Максимова, её художественные достоинства определили успех «Года на Севере» и принесли автору известность в литературном мире. Географическое общество представило его труд к Малой золотой медали. И до сих пор ни один серьёзный исследователь Русского Севера не может обойти вниманием это уникальное по богатству фактического материала и острой художественной наблюдательности произведение писателя-первопроходца.

8

В преддверии великих реформ александровского царствования страна сосредоточивалась, обдумывала себя, свой тысячелетний исторический путь, чтобы, опираясь на опыт прошлого и укрепляясь в нём, идти вперёд по пути глубоких и благотворных преобразований. «Не далее как десять лет назад книжки журналов безнаказанно наполнялись переводными статьями и компиляциями, в которых

русского были только слова, – писал в 1856 году Салтыков-Щедрин, – в настоящее время можно утвердительно сказать, что существование журнала, составленного таким образом, было бы весьма печально. И это стремление изучить себя, воспользоваться почти незатронутой сокровищницей народных сил, чтобы извлечь из них всё, что может послужить на пользу, заметно не только в сфере литературы и науки; оно проникло в практическую деятельность всех слоев нашего общества, и всякий, кого сколько-нибудь коснулся труд современности, кто не праздно живёт на свете, волею или неволею, естественным ходом вещей, должен убедиться, что если мы желаем быть сильными и оригинальными, то должны эту силу и оригинальность почерпать в той стране, на которую доселе, к сожалению, мы смотрели равнодушными и поверхностными глазами заезжего туриста».

Необходимость такого внутреннего сосредоточения перед решительным рывком вперёд создало тогдашнее правительство, обратившее особое внимание на литераторов, призвавшее их к изучению быта и нравов русского народа. В русской общественной мысли и литературе этого времени в считанные месяцы совершился знаменательный поворот.

«Направление, принятое русской литературой последних годов, заслуживает в высшей степени внимания, – замечал Салтыков-Щедрин. – Русский человек с его прошедшим и настоящим, с его экономическими и этнографическими условиями, сделался исключительным предметом изучения со стороны литераторов и учёных... Делается очевидным для всякого, что потребность познать самих себя, со всеми нашими недостатками и добродетелями, вошла уже в общее сознание: иначе нельзя объяснить ту жадность, с которой стремится публика прочитать всякое даже посредственное сочинение, в котором речь идёт о России».

Вот почему летом 1858 года, даже не дождавшись выхода в свет «Года на Севере», Максимов отправился в новое путешествие. На этот раз в дальний путь по просторам

южных губерний России Максимова сподвигнул Павел Иванович Якушкин, появившийся весной 1858 года в Петербурге и вызвавший своим «русским костюмом» и подчеркнuto демократическими повадками некоторую сенсацию в столичных литературных кругах. У Максимова есть замечательные воспоминания о Якушкине, отличающиеся особым лирическим колоритом: речь в них идёт не просто о друге, но и о родственном по духу писателе, от которого и сам Максимов кое-что позаимствовал. «Способ пешего хождения в народ Павел Иванович признал удобным и обязательным для себя на всю жизнь. Образ странника был любезен и дорог ему, сколько по привычке, столько же и по исключительности положения в среде народа, где страннику, захожему человеку велик почёт и уважение».

Как и Якушкин, Максимов странствовал по южным губерниям в костюме торговца средней руки. Это помогало легко и свободно сходитьсь с людьми разных сословий, но прежде всего с крестьянами. Материалы путешествия вошли позднее в новую книгу «Куль хлеба и его похождения», где «в ярких и живых красках изображён быт всего, что живёт, движется, работает, наживает барыши, стонет и страдает, хлеба ради, на Руси»¹. По собственному признанию, Максимов писал эту книгу для детей, «обречённых на городскую жизнь», оторванных от мира русской деревни, не имеющих представления о тяжёлом труде пахаря-хлебороба.

9

В 1859–1861 годах по поручению Морского министерства Максимов отправился к берегам Амура, куда в то время прибывали первые партии крестьян-переселенцев, а в правительственных кругах высказывались крайне противоречивые суждения о целесообразности заселения и хозяйственного освоения этого пустынного края, присоединённого к России по Айгунскому трактату 1858 года. Администрация Восточной Сибири во главе с генерал-губернатором Н. Н. Муравьевым опубликовала восторженные

¹ Гражданин. – 1873. – № 2. – С. 56.

статьи об успехах русской колонизации. Но декабрист Д. И. Завалишин, напротив, обвинил сибирских чиновников в «непостижимой отваге на подобные дерзко-лживые показания», приводя факты о полном разорении прибывавших в амурскую область из Вятской, Воронежской, Тамбовской и Пермской губерний крестьян-переселенцев. Морское министерство поручило Максимову быть беспристрастным посредником в этом споре.

В книге очерков «На Востоке. Поездка на Амур» писатель показал справедливость тревожных публикаций Д. И. Завалишина. «Кто на Амуре не бывал, тот и горе не распознал», – говорили Максимову обманутые правительством мужики. Администрация не позволила переселенцам осваивать чернозёмные степи, но произвольно определила для заселения болотистые угодья по нижнему течению Амура, весьма неудобные для земледелия. Не была продумана и организация: не налажено снабжение, не определены сроки передвижения крестьян и места их назначения. «Хотели хлебушко сеять, да зерна ни зёрнушка. Да и получить негде, да и пахать негде», – сетовали крестьяне.

Власти упустили из виду одно важное обстоятельство. Переселенцы набирались из двух совершенно различных местностей: жители степных пространств (тамбовские, орловские и воронежские крестьяне) и жители лесной полосы России (крестьяне Вятской и Пермской губерний). И все они без различия были поселены в лесной тайговой полосе Приамурья. Но степные крестьяне, редко имевшие дело с топором, совершенно растерялись в новых для них лесных местах. Гигантские работы расчистки лесов и приготовления новой под посевы оказались для них делом непривычным. Было бы разумнее поселить их там, где залегли по Амуру степные пространства. И, напротив, странно поступило правительство с вятскими крестьянами. Вятский мужик с раннего детства и до гробовой доски имеет дело с топором и лесом. Плодовитое население этой губернии постоянно раздробляется на выселки. Для выселок рассчитает оно в первозданных лесах большие площади, жжёт

и вырубает пни, вырывает корни с изумительной сноровкою. Дело это столь же сподручное и лёгкое для него, сколько для степняка меньше обращаться с косой и плугом. Но вятских мужиков правительство почему-то распорядилось поселить в готовых и неудобных для них домах города Мариинска. «Водворение государственных крестьян великороссийских губерний на этих амурских побережьях произведено безрасчётно, неудачно и к тому же несчастливо», – сделал вывод Максимов.

Очевидно, тогда же возник у писателя замысел книги о том, как совершался процесс *естественного* заселения Сибири русскими людьми, определявшийся не приказами свыше, а свободными усилиями предприимчивого народа. Этот замысел был реализован отчасти в книге «На Востоке. Поездка на Амур», а впоследствии – в замечательной книге «Сибирская святыня» (1881). Путешествие в пространстве по просторам Сибири неожиданно для Максимова обернулось путешествием в прошлое своей родины, погружением в глубь исторических времён.

Максимов увидел здесь ещё не завершённым тот колониционный процесс, который тысячелетие назад совершался на просторах европейской России. То, что по легендам и преданиям удавалось ему восстановить во время «литературной экспедиции» на Север, теперь как бы «перемахнуло» через столетия и развернулось перед ним воочию.

Он видел, как русские люди перенимали нравы и обычаи сибирских племён и как те, в свою очередь, приобщались к православию и роднились с русскими. Он заметил в верованиях сибирских народов разительное сходство с язычеством европейского славянства. Типичный для древних славянских племён культ медведя сохранился в первоизданном виде у сибирских инородцев. Они и называли медведя, подобно славянам, «стариком», «медовой лапой» или «хозяином». Так же почитали сибирские племена священные деревья и рощи, так же верили в очистительную силу огня, и к татарским князькам, например, чужестранцы допускались лишь проведёнными через огонь костров.

А шаманы заставили вспомнить о славянских «волхвах» и «кудесниках» и ещё сохранившихся в глухих местах центральной России колдунах и знахарях. Даже возник странный вопрос: уж не выучились ли русские молодцы своим штукам у шаманов, не представляют ли они их прямое отродье – или наоборот?

На глазах у писателя проповедники христианства в Сибири сталкивались с шаманами, и возникавшие на этой почве драмы разительно напоминали то, что было в европейской России тысячу лет назад, когда сама Русь только что успела окреститься в Христову веру. Навстречу священникам выступал тогда волхв и так же хвастался предсказаниями будущего и умением творить чудеса, как сибирские шаманы перед русскими священниками.

С искусством земледельца, торговца и ремесленника втягивались россияне глубже и глубже в таёжные сибирские леса по рекам и их притокам. Сначала осваивалось верховье реки, строился укрепленный городок, возводился храм – очередная сибирская святыня. Потом расселялись далее, вниз по речным подолам и угорам. И в Сибири так же, как когда-то на Севере, пришлые люди не вступали в непримиримую борьбу с местным населением. Российский хлебопашец знал цену земельным угодьям, а местные жители занимались в основном охотой и рыболовством, как и угро-финские племена в европейской части России. Плывая по рекам, селясь в речных долинах, россияне лесов избегали, оставляя их местным владельцам. К тому же лесные народы жили врозь, в одиночку, не было между ними воинственной солидарности. Местные и пришлые вскоре устанавливали добрососедские отношения, основанные на взаимовыручке: мало зверя – хлеб выручит, неурожайный год – выручит зверь.

«Сибирская святыня» наглядно раскрыла ту эволюцию, которая совершалась в художественном мироощущении Максимова. Он начал творческий путь как писатель, приверженный краевым принципам освоения жизненного материала. Но чем глубже погружался в исследование

неповторимого, казалось бы, своеобразия той или иной местности, тем очевиднее для него становился тот универсальный жизненный закон, который Л. Н. Толстой определял так: «Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее, роднее».

В Петербурге Максимов близко сошёлся, например, с известным русско-украинским историком Н. И. Костомаровым, во многом разделял его недовольство официальной исторической наукой, толкующей о всезнающих государственных деятелях, о законах и учреждениях, но как будто пренебрегающей жизнью народа. Максимов соглашался с тем, что государство Российское складывалось из частей, которые прежде жили собственной, независимой жизнью. Найти и уловить особенности частей русского государства он вслед за Костомаровым считал важной задачей учёного-историка или историка-беллетриста.

Максимов тоже начал художественно осваивать русскую жизнь с частей, краёв, отдельных «регионов» («Лесная глушь»). Но в отличие от Костомарова он шёл к ощущению целого, к изображению взаимосвязи разных народных культур в общероссийской семье. Потому «областное» начало в его творчестве никогда не перерастало в «областничество», в сепаратизм. Максиму открывалось единство в многообразии, причём основы этого единства виделись ему не в полицейской государственности, а в духовной, культурной, экономической, историко-соседской стихиях народной жизни.

Совпадая с Костомаровым и другими историками-демократами в идее «народной истории», в необходимости изучения племенных особенностей и в создании областной истории, Максимов в то же время ощущал внутреннее единство и родство не только между славянскими, но и между всеми иными племенами и народностями, создавшими своим тысячелетним творчеством единое государство Российское. Критикуя деспотизм и самоуправство, Максимов никогда не покушался на сами основы российской государственности, видя в них демократический

институт, рождённый многовековой историей народа. Здесь позиция Максимова перекликалась с точкой зрения его друга, А. Н. Островского. В исторической хронике «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» Островский обратился к эпохе смуты начала XVII века. Тщательно изучив все исторические документы, он вступил в полемику как с «государственниками», так и с «демократами». Государственники утверждали, что историю творили русские цари и выдающиеся государственные деятели. Демократы, напротив, видели смысл истории в нараставшей борьбе народа с государственными учреждениями, и воспевали вечевой строй и сепаратизм древнего Новгорода. Островский показал, что в смутные для России времена народ не бунтовал, не впадал в «вечевое бешенство». Напротив, он, опираясь на свои национальные святыни, восстанавливал попорченную российскую государственность.

Исторические хроники, равно как и труды Максимова, не получили той оценки, какой они заслуживали, так как Островский и Максимов не угодили в них господствующим настроениям эпохи. «Неуспех „Минина“, – писал драматург, – я предвидел и не боялся этого: теперь овладело всеми *вечевое бешенство*, и в Минине хотят видеть демагога (вождя, возглавившего бунтующий народ. – Ю. Л.). Этого ничего не было, и лгать я не согласен. Подняло Россию в то время не земство, а боязнь костёла, и Минин видел в земстве не цель, а средство. Он собирал деньги на великое дело, как собирают их на церковное строение... Нашим критикам подавай бунтующую земщину; да что же делать, коли негде взять? Теоретикам можно раздувать идейки и врать: у них нет конкретной поверки; а художникам нельзя: перед ними – образы... врать только можно в теории, а в искусстве – нельзя».

10

На обратном пути с Дальнего Востока, получив разрешение посещать тюрьмы и остроги, работать в местных архивах, Максимов занимался изучением прошлого и настоящего сибирской каторги, жизни обитателей «мёртвых

домов». Первая часть книги под названием «Ссылные и тюрьмы» (Т. 1: Несчастные. – СПб., 1862) была издана Морским министерством с грифом «секретно» для служебного пользования. Для широкого читателя эта «эпопея, в своём роде „Илиада“ и „Одиссея“ каторжной жизни» вышла в свет сперва на страницах некрасовских «Отечественных записок» лишь в 1868–1869 годах, а потом отдельным изданием в 1871 году под названием «Сибирь и каторга». Книга Максимова дала богатые материалы Некрасову, оказала влияние на «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина. Л. Н. Толстой взял из неё сюжет для рассказа «За что?», А. П. Чехов, готовясь к поездке на остров Сахалин, изучал эту книгу и лично беседовал с Максимовым.

«Читали вы Максимова знаменитую книгу „Сибирь и каторга“? Историческое описание ссылки, каторги до нового времени. Прочтите. Какие ужасы люди делают! Животные не могут того делать, что правительство делает», – говорил Л. Н. Толстой.

Принято считать, что в поэмах декабристского цикла Н. А. Некрасов использовал материалы мемуаров А. Е. Розена и воспоминания М. Н. Волконской. Однако книга Розена «Записки декабриста» вышла в Лейпциге в 1870 году, то есть в год публикации поэмы «Дедушка» в «Отечественных записках». А с воспоминаниями М. Н. Волконской Некрасов познакомился уже после написания «Княгини Трубецкой». По-видимому, в момент работы над этими произведениями одним из наиболее доступных поэту и достоверных источников были сведения из третьей части «Сибири и каторги» («Государственные преступники»), в которой Максимов использовал личные воспоминания более девяти ссылных декабристов. Она печаталась в сентябрьском и октябрьском номерах «Отечественных записок» за 1869 год и содержала подробнейшие описания сибирской жизни изгнанников.

Исследователи поэмы «Дедушка» не раз отмечали существенный контраст между описанием жизни староверческих поселенцев в воспоминаниях Розена и стихами Некрасова. «В поэме устранены... малейшие намёки на отмеченные

Розеном благоприятные условия начальных лет жизни поселенцев в Сибири и благотворительные меры со стороны властей: „было дозволено продать имущество“ и „приехать в Сибирь с деньгами“, „комиссар дал им четыре года льготы для платежа подушных податей“».

Но именно эти указания на благоприятные меры со стороны официальных властей, имеющиеся в воспоминаниях Розена, отсутствуют в книге Максимова, который не только посетил все места ссылки декабристов, но и был в известном Тарбагатае, рассказ о котором является зерном поэмы Некрасова «Дедушка».

Вот как описывает Максимов начальный этап жизни переселенцев: «За Байкалом семейские староверы с охотою рассказывают вам такое предание, завещанное отцами, о времени и способах их водворения после Ветки и Стародубских слобод: «Казна дедам нашим не помогала. Привёл их на место чиновник, стали его спрашивать: „Где жить?“ – указал в горах... Стали пытаться: „Чем жить?“ – чиновник сказывал: „А вот будете лес рубить, полетят щепки: щепы эти и ешьте!“ Поблагодарили его, стали лес рубить; на другой год исподволь, друг около друга стали кое-чем займаться, запастись нужным. На восемь дворов одна лошадь приводилась. Поселились. Земля оказалась благодатной. Ожили, повеселели. Приехал знакомый чиновник и руками развел: „Вы-де ещё не подошли? Жаль – очень жаль, а вас – чу! – за тем и прислали, чтобы вы переколели“».

Обратим внимание: по народным представлениям сила крестьянского мира заключается в общинности, артельности, жизни «миром» («друг около друга займаться», «на восемь дворов одна лошадь»). Именно так, по-максимовски и по-народному, раскрывается история жизни тарбагатайских поселенцев в поэме Некрасова «Дедушка»:

Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Землю и волю им дали;
Год незаметно прошёл –

Едут туда комиссары,
Глядь – уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит...

Как и у Максимова, истоки жизнеспособности крестьянского мира у Некрасова – в творческих началах общинного самоуправления:

Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут...

Исследователи заметили в некрасовских описаниях Тарбагатая отзвуки народных легенд о далёких вольных землях. И в этом тоже могло сказаться влияние книги Максимова, в которой приводились широко бытовавшие в среде сибирского крестьянства рассказы о вольных поселениях, затерянных в лесах, о счастливой жизни их обитателей. Так, заблудившийся зверовщик, слышав в глухом лесу звон колокола, нашёл никому неизвестное селение, жители которого вели дружную, артельную жизнь, совершенно независимую от какого бы то ни было начальства. Вольные поселенцы отпустили промышленника лишь после того, как взяли с него клятву «молчать обо всём, им виденном и слышанном». Затем они завязали ему глаза и вывели из селения, проводив очень далеко.

Считая характерным свойством русской крестьянской жизни дух общинности, артельности, Максимов находит те же начала в колонии ссыльных декабристов. Как русские люди, они совершенно естественно пришли на каторге к необходимости артельного, товарищеского общежития. «Большая артель так верно обеспечивала материальную жизнь и так хорошо была придумана, что никто во всё время не нуждался ни в чём и не был ни от кого зависим». От поселений староверов в сибирском Тарбагатае до артелей нищих, мастеровых, плотников, каторжников, коробейников – везде торжествует, по Максиму, сила коренного

русского закона: «Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось». «Пользуясь всяким благоприятным моментом, тюремная община, не ведающая усталости, не желающая отдыха, накапливает внутри себя силы и при том в таком количестве, что, при напоре их, поневоле должны уступить всякие внешние противоборства, хотя бы они и велись систематически». Сосланная в Сибирь горсточка русских дворян-революционеров отстаивала свою независимость от властей точно так же, как и горсточка русских крестьян-старообрядцев. Не потому ли в поэме «Дедушка» *Тарбагатай* является символом жизнестойкости русского национального характера. Рассказ о нём имеет прямое отношение к некрасовской характеристике духовного облика декабристов.

Подчёркивая демократические основы декабристской культуры, Максимов замечает у ссыльных дворян «совершенное отсутствие озлобления против судьбы и людей. В этом отношении декабристы не были похожи на революционеров других стран и не держались никогда правила „чем хуже, тем лучше“ и „всё худо, что делается на воле“. Напротив, они брались везде исправлять зло, быть полезными везде, где бы ни были невольны закинуты судьбою, и содействовать добру, хоть бы оно делалось не через них». Вспомним в этой связи слова некрасовского героя, вернувшегося из ссылки:

Пыль отряхнул у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого Бога
И, покрестившись, сказал:
– Днесь я со всем примирился,
Что потерпел на веку!..

В книге Максимова подробно рассказывается о декабристах, увлечённых физическим трудом. Н. А. Бестужев, например, завёл на каторге «самую многосложную мастерскую: починял сапоги, рисовал портреты товарищей, учил шить башмаки...». Перекликаются с фактами из книги Максимова бытовые подробности, которые Некрасов не вклю-

чил в окончательный текст как не соответствующие высокому пафосу жанра поэмы:

Отдых у деда недолог –
Вынет он свой сундучок.
Много там дратвы, иголок,
Шило, пила, молоток.

Из книги Максимова русский читатель впервые узнал, как в Петровском заводе декабристы обучали детей из простонародья слесарному, столярному, портняжному и многим другим ремёслам. Один из таких рабочих, получивших ремесленные навыки в каземате, писал впоследствии своему учителю, декабристу Д. И. Завалишину, что он старается внушить своим детям такое же уважение к физическому труду, какое сумели внушить и ему в каземате. «И конечно, пример людей высшего происхождения, не пренебрегавших никаким ремеслом... лучше всего действовал на людей, чтобы в их глазах облагородить тот труд, на который привыкли смотреть только как на тяжелую и часто безотрадную ношу».

Столь же несомненно влияние книги Максимова на оформление замысла и на основное содержание поэмы Некрасова «Княгиня Трубецкая». В «Сибири и каторге» даётся подробное описание пути героинь, жён декабристов, в Сибирь и подробно освещается сцена духовного поединка княгини Трубецкой с иркутским губернатором И. Б. Цейдлером. Говоря о беспрецедентном величии совершенного Трубецкой подвига, Максимов замечает: «Она проторила первую дорогу, по которой с не меньшей безбоязненностью прошли следом за нею другие». Некрасов вторит Максимо-ву в «Эпилоге»:

Вражда людей, не знающих пощады,
На том пути ей ставила преграды,
И – первая – она их перешла.
Её души ничто не устрашило!
Она другим дорогу проложила,
Она других на подвиг увлекла!

Почти дословно совпадает с Максимовым Некрасов и в оценке русских женщин. Максимов пишет: «Поехавшие за своими мужьями жёны совершали те евангельские подвиги, подобные которым мало представляют европейские истории... Те, которые выстрадали себе право сожительства в Сибири, вступили на стезю высоких христианских подвигов и служением своим приобрели то прозвание ангелов-хранителей, которое сделалось для них общим у всех соузников».

Некрасов вторит ему:

Высок и свят их подвиг незабвенный!
Как ангелы-хранители они
Явились опорой неизменной
Изгнанникам в страдальческие дни.
Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны
Вы что-нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны.

Пути максимовской книги в большую классическую литературу влиянием её на Некрасова не исчерпываются. Первый том этой книги появился в некрасовских «Отечественных записках» в 1868 году, а начиная с 1869 года М. Е. Салтыков-Щедрин печатает здесь «Историю одного города». Читатель, знакомый с книгою Максимова, не может не заметить, что многие образы и мотивы Щедрина восходят к «Сибири и каторге». Разве не вспоминается щедринский устав о «добропорядочном пирогах печении», когда читаешь, например, следующие строки: «Лоскутов – нижеудинский исправник – не иначе въезжал в селение, как с казаками, которые везли воз розог и прутьев. Осматривая избы, заглядывал в печи, в чуланы; впутываясь насильно во всякую подробность домашнего быта, он безжалостно наказывал за всякое уклонение от предписанных им правил. Если хлеб был дурно выпечен, он немедленно сёк хозяйку розгами, если квас был кисел или в летнее время тёпел, сёк и хозяина?»

А «цивилизаторские» замашки щедринских градоначальников разве не предвосхищаются в максимовских описаниях «подвигов» горного начальника нерчинских заводов В. В. Нарышкина.

«Этот Нарышкин с самого приезда 11 месяцев просидел дома с закрытыми ставнями, никуда не выходя, никому не показываясь. Решившись покончить с затворничеством и выйдя на свет божий в Светлое воскресенье, начал целый ряд чудачеств и сумасбродных выходок: вместо заутрени в Пасху велел служить прежде обедню, в церковь вели его две толстые женщины, он шёл, приплясывая и припевая свою любимую песенку „Батюшко богат, черевички купил“; идущие сзади чиновники ему подпевали. Принявшись за дела, приблизил к себе пятерых секретных арестантов, из которых двух сделал секретарями; за провинности бил батожьём и не сказывал за что: „Известно-де мне единому“; в растрате казенных денег не стеснялся, отчета об них и самих денег в Петербург не посылал. Когда не хватило казны, он взял деньги у богатого купца Сибирякова, имевшего некоторые заводы на аренде. Когда в другой раз Сибиряков отказал, Нарышкин явился перед его домом с пушками и с угрозой стрелять, если купец не выдаст потребного: Сибиряков вышел на крыльцо с серебряным подносом, на котором положены были затребованные пять тысяч. Учредил какой-то новый праздник „Открытие новой благодати“, приказывал всем каяться в грехах, истреблял много порошу, того самого, который столько необходим при горных работах. Набрал войско, присоединил к нему вновь организованный гусарский полк из тунгусов и двинулся с пушками и колоколами походом из Нерчинского завода через город Нерчинск, Братскую степь и Верхнеудинск на Иркутск. По дороге останавливал купеческие обозы, отбирал товары, выдавая расписки».

«В степи на отдыхах кипели огромные котлы с водой, куда сваливали пудами чай и сахар; вино стояло целыми бочками, сукно, дабу, китайки, холст брали даром, без всякого счёта. <...> Едучи по направлению к Иркутску, он

сзывал народ разными средствами: в сёлах – звоном в колокола при церквах; пушечной пальбой и барабанным боем там, где церковей не было. Собранный таким способом народ поил вином, насильно захваченным в питейных домах, и бросал в толпы казённые деньги...»

В «подвигах» этого ретивого начальника легко угадывается и деятельность Угрюм-Бурчеева, переименовавшего город Глупов и Непрекклонск и учредившего новые праздники, и «путешествия» Фердыщенко, который говорил «неподобные речи» и, указывая на «деревянного дела пушечку», угрожал всех своих амфитрионов перепалить. А разве не по-максимовски ведут себя при этом щедринские глуповцы, вольные или невольные приспешники Фердыщенко, которые в ожидании своего начальника «стучали в тазы, потрясали бубнами, и даже играла одна скрипка»? «В створе дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно». И разве не похож на максимовского Нарышкина щедринский Василиск Бородавкин, совершающий «цивилизаторские» набеги на обывательские дома, раздающий всем участникам похода водку и приказывающий петь песни?

Исторические герои максимовской книги подчас едва ли не фантастичнее героев, созданных творческим воображением Салтыкова-Щедрина. Тот же Нарышкин, сну которого мешал голосистый петух, «в силу присвоенной ему командирской власти, приказал петуха заковать в кандалы». Тот же Лоскутов действительно приводил подвластных ему мужиков в «глуповский» страх и трепет. «Когда он узнал о приближении ревизоров, он по всему уезду отобрал бумагу, перья и чернила; однако два старика осмелились написать прошение и вручить его Сперанскому. Когда Сперанский, в присутствии самого Лоскутова, велел читать секретарю своему это прошение вслух, старики пали ниц и не вставали, выжидая, что громовые стрелы разобьют их на месте. Когда Сперанский тут же отрешил исправника от должности и арестовал и когда приведённым в чувство просителям

объявил это решение, они, трясаясь всем телом и схватив ре-визора за полу, умоляли его шёпотом не губить себя: „Что ты делаешь? Не было бы тебе самому за нас чего худого: ведь это Лоскутов, верно, ты его не знаешь“».

Даже эти немногие документальные факты подтверждают, что книга Салтыкова-Щедрина выростала на реальной, жизненной основе, что даже самые фантастические её образы опирались на конкретный исторический материал.

Не исключено, что фигура Нарышкина витала в сознании А. Н. Островского в процессе работы над образами Хлынова и Градобоева – героями пьесы «Горячее сердце». Факт постоянного дружеского общения Островского с Максимовым не нуждается в доказательствах. Драматург часто доверял своему ближайшему другу вести в Петербурге корректуру своих сочинений. Максимов навещал Островского в Щелыкове, подолгу гостил у него, ловил рыбу на Куекше и Мере. Общение с большим знатоком русской жизни много давало Островскому и не могло не найти отражения в содержании его пьес.

Книга Максимова «Сибирь и каторга» стала настольной для всех людей, небезразличных к отечественной истории. Она была замечена даже либерально настроенными «верхами» русского общества в эпоху так называемых «великих реформ». Достаточно сказать, что 14 мая 1871 года Максимов был назначен членом комиссии, учрежденной при Министерстве внутренних дел для обсуждения способов устройства каторжных работ.

Таковы были последствия сибирского паломничества, которое закончилось в 1861 году. А в 1862–1863 годах по заданию Морского ведомства Максимов отправляется в новое путешествие на Каспий и реку Урал. Он пишет очерки о жизни местного населения, о раскольниках и сектантах. Ещё в самом начале 1860-х годов, предвосхищая интересы революционных народников, Максимов отдается изучению старообрядцев. В книге «Рассказы из истории

старообрядчества по раскольническим рукописям» (СПб., 1861) он обращает внимание на оппозиционные по отношению к официальным властям настроения в народном мирозерцании. «Странствуя долго, забираясь далеко и видя многое», Максимов, по существу, создал «азбуку» хождения в народ, которой потом широко пользовались русские революционные пропагандисты. В ряде очерков он высказал дельные советы о том, где и как можно лучше всего разузнать всю правду о народе, о его взглядах и суждениях. Народники, очевидно, прислушивались к советам старшего друга, используя в качестве «пропагандистского клуба» питейные заведения, ярмарки, народные празднества и гуляния.

После путешествия на Каспий и Урал наступил довольно длительный период оседлой жизни писателя. Не исключено, что «оседлость» была вынужденной: в 1862 году произошло событие, пошатнувшее репутацию Максимова в официальных кругах. В документах Сената за 1862 год историк-краевед Д. Ф. Белоруков обнаружил дело о привлечении Максимова по сношению с «лондонскими эмигрантами» (А. И. Герценом и Н. П. Огаревым). За писателем был установлен негласный полицейский надзор, причиной которого явились следующие обстоятельства. Приятель Максимова, писатель-этнограф В. И. Кельсиев, во время службы в Российско-американской компании перебрался с Аляски в Лондон и сблизился с Герценом. В 1862 году под видом турецкого подданного он вернулся в Россию с целью организации революционной партии. В Петербурге Кельсиев встречался с деятелями революционного движения и сочувствующими ему, в том числе и с Максимовым. Когда полиция нашла след Кельсиева, Максимов был взят под наблюдение и более двух лет находился под тайным надзором.

Однако временный перерыв дал возможность писателю сосредоточиться и привести в порядок собранные во время многочисленных странствий материалы. В 1862 году он публикует книгу «Край крещёного света», выдержав-

шую до революции девять изданий. С глубоким проникновением в быт и нравы различных народностей, населяющих Россию, повествует Максимов о вогулах, зырянах, вотяках, черемисах, о чувашах, мордве, карелах, монголах, бурятах, киргизах, калмыках...

В 1865 году товарищество «Общественная польза» приглашает Максимова редактировать издания для народа. Начинается длительный период работы писателя на ниве народного просвещения в качестве редактора и одновременно автора восемнадцати оригинальных книг: «О русской земле», «О русских людях», «Мёрзлая пустыня», «Дремучие леса», «Русские степи и горы», «Крестьянский быт прежде и теперь», «Соловецкий монастырь», «Троицко-Сергиевская лавра», «Ледяное царство и мёртвая земля» и др. Максимов раскрывает в этих книгах яркие страницы отечественной истории, приобщает юных читателей к духовным устоям России.

В этих произведениях Максимов показывает ключевую роль монастырей в хозяйственном и духовном освоении русскими людьми огромных природных пространств. Раскроем созидательную деятельность монастырей словами, близкими к тексту самого писателя.

После татарского погрома, пожаров и всяческих разорений Южной Руси, когда народ её рассыпался по опасным местам, в лесах и за болотами, пришёл в лесную Северную Русь неведомый человек. Выстроил он келью на высокой горе, у подножия которой протекала река, здесь пришелец очутился в полном уединении. Он начал валить и расчищать лес, приготавливая место для пашни, на которой неустанно трудился, а в келье так же неустанно молился Богу. Здесь же нашли его вскоре другие блуждающие люди, известные в те времена под именем «гулящих», то есть оставившие свои разорённые дома, не платившие никаких податей и ищущие пашни при содействии и под защитой влиятельных людей и опытных хозяев. Отшельник, сделавшись духовным лицом, мог быть именно этим защитником и оберегателем людского труда. Все уже знали тогда, что

татарские власти особенно почитали русское духовенство и его паству. Они освобождали монастыри от всех податей и повинностей, позволяли судиться своим судом. Живущие на монастырских землях люди свободны были от всех даней на вечные времена, а также от всяких пошлин.

Строили свободные люди усердием своим церковь Спаса. Проходящий игумен постригал подвижника в монахи; ближний епископ посвящал его в иереи: ставился монастырёк из пришлых людей, из которых одни делались хозяевами-монахами, другие – рабочими, то есть бельцами; основатель – игуменом. За оградой монастыря выстраивалась из свободных людей слобода, жители которой «тянули тягло» на церковь и на князя. Они переставали называться «гулящими» и «бобылями», а делались людьми тяглыми, живущими под Христом – «крестьянами». Они тынили монастырь и двор, сгоном орали землю на монахов, сеяли, жали, возили сено, косили десятинами и также возили на монастырский двор. По большой реке они же ставили зимой и летом ловитвы, ходили с неводом по малым притокам, осенним временем били бобров, прудили пруды, оплетали сады.

Соединёнными и усердными трудами пришельцы достигали вскоре того, что могли ставить запасные избы и назначать дворы, на которые и созывали новых насельников. «Гулящие» люди, свободно располагавшие выбором места для жительства, особенно усердно шли сюда и оставались здесь. Бессемейные и престарелые постригались. В монастыре скоро объявлялся настоятель и братия с властями: келарем, трапезником, ватажником, дьяком и даже посельскими старцами в то время, когда настойчивым трудом удалось врубиться далеко в лес и устроить отдалённые от монастыря хозяйства.

Однажды натолкнулись монастырские люди на таких же соседей. Осуществилось размежевание. Один из монахов взял образ Пречистой, поставил себе на голову и прошёл по той меже, которая казалась ему справедливою. Так разрешился спор. Но этого оказалось мало: надо было

прибегать под защиту властей. На беду объявилось новое горе: попались неведомые люди, черномазые, скуластые. Земли они не пахали, а на лес была у них вся надежда: тут и зверь, и птица, то есть товар и пища. Тут и святые места, где жили боги их и стояли в виде деревянных чурбанов. Эти шли с оружием, грозили пожечь всё и всех выгнать. Нужно было строить земляную крепость и искать сильной защиты: явилась вторая большая нужда.

Сам настоятель собирался в путь. Трудными непроезжими дорогами добирался он до стольного города, где при помощи благочестивых людей доходил до высшей власти. Объявляли ему царскую милость: в Сочельник на Рождество Христово становиться пред государевы светлые очи. Когда на «стиховне» начинали певчие петь стихари, дальний пришелец подходил со святыней. Государь сходил с своего места и, не отходя от него, принимал в дар своими руками святыню: образ Спаса, просфору и святую воду в восковом сосуде. Робкого и смиренного старца жаловал он к руке и сам от него благословлялся; указывал дать царскому богомольцу грамоту за печатью. Отданы были новому монастырю не только те земли и пустоши, куда доходили соха и топор, но записаны были за ратную службу иные государевы волости с людьми и угодьями, а с иноверцами велено было поступить по общему правилу, говорившему: «Всякое село, в нём же требы языческие бывают или присяги поганские, да отдаётся в Божий храм со всем именем, елика суть Господеви».

Прочно установился новый монастырь в материальном отношении; оставалось удержаться в нём, пользуясь готовыми и подручными способами. Находились охотники брать часть воды и земли на оброк с платою денежными и натуральными продуктами под надзором монастырских приказчиков. Находились другие охотники продавать свои земли и третьи – жертвовать их вкладом на соборную церковь, на помин души, для кормления нищих и памяти о вкладчике, «а те вклады держать в дому Спаса, а ни продать, ни променять, ни отдать никому». Установились

таким образом за монастырём вотчины и сёла. На память богомольцев пели старцы панихиды, служили обедни, ставили кормы, а имена благодетелей вписывали в синодики. Бережливостью копились вещевые и денежные запасы; хозяйственным искусством увеличивались поземельные владения. По-прежнему на новые и никем не занятые земли высылались для селитьбы из церковных людей поселщики или принимались прибылые охочие люди. Льготная грамота в этом отношении творила великие чудеса: народ, набираясь скоро и охотно, составлял около монастыря живую защиту от всяких бед и напастей и ту великую силу, которая немедленно повела монастырь к обогащению.

Устраивалась обитель так, что не имела нужды записываться ни за князя, ни за митрополита, а оставалась общинною и общежитною. Имея за собою обширные и разнообразные земли, она не упускала случая пользоваться дарами их. Когда дикие олени, собираясь в лесу на одно и то же место, указали на что-то своё любимое, то и монастырский скот следом за ними пошёл сюда – жадно пил воду и тучнел. Монастырь поставил здесь чёрную избушку и печь, вмазал сковороды и начал вываривать соль. Когда вблизи родника стали рыть колодцы и объявилась такая же солёная вода, число избушек увеличилось: монастырю открылось новое богатство – соляные варницы. Когда болотная ржа указала рыхлую бурую землю и попробовали накалить и расплавить ту землю на ручных горнах, монастырь стал ковать гвозди, стал потом сдавать те болотные залежи на откуп умелым и охочим. Устанавливался новый промысел, заводился новый торг, объявлялись большие статьи доходов в виде мукомольных мельниц и т. п. Прославлялся зоркий взгляд и прозорливый крепкий ум основателя, возносилось его святое имя.

Собирал игумен опять монастырскую святыню: священную воду святил полным собором, на великий праздник вынимал заздравную царскую часть из просфоры, писал своими руками икону и снова шёл в Москву. В Москве становили его на переходах из государственных палат

в церковь Благовещения; принимал государь святыню, наказывал молиться о здравии беременной царицы и благополучном её разрешении. По рождении царевича отпускали старца домой с новыми вкладами, с новой московской грамотой и с указом о праве ежегодно приходить в Москву, становиться в навечерие Богоявления в ряду архимандритов московских монастырей, Троицкого и Андроникова: умолил-де царю благоверного и христоролюбивого сына.

Стала обогащаться с тех пор монастырская ризница и возрастать казна от вкладов московских царей, а по их примеру – и от бояр. Ветхую деревянную церковь, где погребён и объявился нетленным учредитель обители, заменил каменный собор и пристроился к нему другой, больших размеров. Монастырские кельи и церкви опоясала каменная и высокая стена со сторожевыми башнями и бойницами. Присылались сюда из Москвы пищали и пороховое зелье, чтобы, принимая на себя удары от лихих людей – татар и Литвы, – монастырь защищал окольный православный народ и всё государство.

По первой вести о воцарении нового государя ходили монастырские настоятели в Москву. Здесь старые льготные и несудимые грамоты новый царь велел записывать на своё имя и «рушить их ничем не велел и велел ходити о всём по тому, как написано». Волен монастырь возить и плавить по реке свой хлеб, свою соль и своё железо на продажу беспошлинно. Не требовалось пошлин ни с рыбных ловель, ни с бобровых гонов. Монастырские крестьяне освобождены были даже от самой тяжёлой для народа ямской повинности.

Крестьяне были довольны. Монастырь стал ещё быстрее богатеть и входил в ту силу, когда под его защиту стали приписывать малые монастыри, разграбленные окрестными жителями, удельными князьями и разбойниками. Укрывая пришлого, монастырь помогал и ближнему: делал незабвенные услуги и совершал великие государственные и народные подвиги в тяжёлые годы голодовок и вражьих нашествий, во все до сих пор памятные народу лихолетья. Захудавший

деревенский хозяин брал всякий хлеб из обильных запасов «на семена и емены» (на семена и на еду) в ссуду, с отдачей после уборки полей и, по своему выбору и желанию, с подрядом на монастырские работы в определённые сроки. Всякий, истощённый в конце до бессилия и до скитальческой нищеты, мог находить посмертную утреву в богаделенных хатах и во всякий день готовую трапезу в большом притворе трапезной церкви, посреди назидательного чтения из жития святых странноприимцев, целителей и ходатаев за великие народные нужды перед сильными землями. Обездоленный несчастьями и неудачами в жизни до насильственной смерти, строго порицаемой православною верою, мог рассчитывать на монастырские божедомки и усыпальницы, беззаветно принимавшие его в сырую могилу, над которою раз в году совершалась общая служба и возносились примирительные молитвы. Малые дети и бездомные сироты садились в школы и получали наставления в Божьем слове и церковной грамоте, приурочивались безраздельно и к мирской жизни, и к монастырской службе, по их желанию и произволу.

В тяжёлые годы вражеских нашествий под монастырскими стенами разрешались последние споры и всего чаще здесь же разбивались неприятельские надежды и стремления. С монастырских имуществ собирались сверхсметные дани на случай татарского выхода. Из монастырских сокровищ уделялись большие дачи на наём ратных людей; отдавалось на пользу отечества всё, что было ценного и природного: снимались и ризы с икон, и самые иноки превращались в воинов. Бесчисленные заслуги монастырей увековечились в народной памяти и любви настолько твёрдо, что монастыри стали считаться святыми местами, основатели и устроители их – народными благодетелями.

Несмотря на все превратности времени и исторических судеб, до наших дней на пространстве земли нашей убереглись десятки старинных обителей, к которым, по старине, тяготеют ближние и дальние, как к религиозным центрам, и не меньше десятка таких монастырей, которые пользуются

всенародным высоким почитанием и неизменно и нерушимую любовью. Чем древнее обитель и более уберегла она святыни, чем заслуги её в народной жизни ценнее или многообразнее, тем посещения многочисленнее.

Итак, святые отшельники выбирали захолустье. Трудами и молитвами укреплялись на избранном месте. Потом своею богоугодною жизнью привлекали других любителей молчания и уединения. Потом находились им покровители, поддерживали их вкладами. Кроме примера святой жизни, эти люди давали образцы правильного ведения хозяйства в самых суровых и необитаемых странах. К ним охотно шли те, кто желал трудиться над пашней на монастырских землях. Они записывались за монастырями как наёмные рабочие за плату и с большей охотой, чем за богатыми владельцами. Ведь с иноками жить было вольготнее. Так собирались монастырские слободы. Из многих слобод вырастали города. Монастыри в своих стенах уберегали крестьян от нападений врагов с оружием, а в голодные годы поддерживали их пропитанием. С монастырями холодные лесные места обживались и заселялись, а чужие окрестные народы стали своими с принятием православия. Иноки выходили на проповедь и всю жизнь посвящали этому святому и великому делу. В городских монастырях находили угреву и покой все немощные и престарелые, больные и гонимые несчастьем...

12

Последнее путешествие Максимова состоялось по заданию Российского географического общества в 1867–1868 годах в составе этнографической экспедиции под председательством Л. Н. Майкова по изучению Северо-Западного края. Писатель объездил Смоленскую, Могилёвскую, Витебскую, Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии. О трудностях, с которыми столкнулся здесь Максимов, он сообщал в письме к Л. Н. Майкову от 17 октября 1867 года: «Теперь могу сказать только то, что работам моим, помимо обычных, я встретил очень много новых и неожиданных препятствий. Главнее всех то, что здешний многострадальный

край до такой степени мало интересовал кого бы то ни было, что помощи со стороны я до сих пор находил очень мало; хорошие знатоки – большая редкость; сам крестьянин от долговременного гнёта до такой степени ушёл в себя и сделался замкнутым и неразговорчивым, что подобного уже нигде нельзя встретить в целой России. Духовенство, в Великой России всегда готовое к услугам всякого изучающего быт крестьянина, здесь так сложилось при неблагоприятных для народа условиях, что отняло у меня самые живые надежды на его помощь и содействие».

Однако усилия, помноженные на опыт, оправдали себя. В том же письме к Майкову Максимов замечал: «Уже теперь, по собранным данным, выясняется передо мною целая религия, забытая великороссом, но сохранная здесь в цельном и нетронутым виде. В лесах Полесья я надеюсь найти ей окончательную форму и определённый вид. Как ни бедна внешняя сторона народного быта в здешнем многострадальном крае, – внутренней стороной своею она представляет собою более глубокий интерес, чем те же самые в Великой России».

Максимову пришлось путешествовать по «непролазным болотам и непроходимым лесам» Белоруссии, подолгу дожидаться, пока «мороз закуёт болота Полесья». К тому же средства на это путешествие были отпущены столь скудные, что в письме к руководителю экспедиции Максимов писал: «В тёплых покоях, в комфорте петербургской жизни не забудьте моего страдальческого положения среди подозрительного и негостеприимного люда всех сословий и классов; не забудьте и массы лишений, которые далеко не вознаграждаются наличными средствами. Прежде, по давнему опыту, – теперь по своим впечатлениям могу откровенно сознаться в том, что я сильно обижен сравнительно с товарищами, когда на мою долю выпали деревни со всеми неудобствами передвижений и крупные расстояния, которые я должен осиливать среди дороговизны повсеместной в крае и должен для сверки останавливаться в городах и в бесчисленном множестве местечек. Всякое непосещённое место ложится гнётом на сердце».

Материалы этой поездки печатаются частью в газете Краевского «Голос», частью в журнале «Древняя и новая Россия» и в многотомном издании «Живописная Россия». Белорусские и смоленские впечатления вошли также в большое художественно-этнографическое исследование Максимова «Бродячая Русь», опубликованное в 1874–1876 годах в некрасовских «Отечественных записках», а в 1877 году – отдельным изданием с несколько изменённым заглавием – «Бродячая Русь Христа ради».

Судьба последней книги, интересной самой по себе, примечательна ещё и тем, что после её публикации в «Отечественных записках» вновь пересеклись друг с другом творческие пути Максимова и Некрасова. На этот раз они сошлись в итоговом произведении поэта – «Кому на Руси жить хорошо». Дух правдоискательства, прочно укоренившийся в русском национальном характере, неотделим, по Максиму, от странничества, от поиска счастливых мест. Вспомним, что и некрасовские ходоки в «Последыше» мечтают о «способных и выгодных местах на свободном и широком раздолье земли своей»:

Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошёной волости,
Избытка села!..

Отсюда и особое, почтительное отношение народа к странникам: «Вот, батюшка странничек, покушай горяченького, да сказывай, что видел, что слышал. Больно мы странных захожих людей любим». Обогрелся странник и повеселел не столько от тёплой избы, жаркой печи и вкусной яичницы, сколько от ласковых слов, от первого сплутного приветя». И у Некрасова в «Пире на весь мир».

Кто видывал, как слушает
Своих захожих странников
Крестьянская семья,
Поймёт, что ни работою,
Ни вечною заботою,

Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Ещё народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь!

Залогом этого «широкого пути» для Максимова и Некрасова является «золотое народное сердце», чуткое к чужому горю и беде, рвущееся к правде и счастью. «Бродячая Русь» Максимова – это мир странников-богомольцев, мир нищих и убогих, погорельцев, сектантов, мир людей обездоленных, без крова и пристанища. «Помогают им все, – пишет Максимов, – помогают беззаветно, уготовывают милостынькой и себе путь поглаже: авось, того и гляди, и самим не сегодня-завтра придётся по этой дорожке прогуляться». Ведь деревенская жизнь в пореформенном тягловом положении – «что переход через речку по жёрдочке: и жёрдочка тонка и речка глубока».

Конечно, и здесь бывает всякое: «одни и в самом деле нищают, придя по силе обстоятельств в крайнюю бедность», а другие «с примера и в подражание этим „нищатся“, как верно выражаются в деревнях, то есть притворяются нищими и побираются именем Христовым без нужды», превращая нищенство в «доходный промысел». Но в любом случае сердобольная крестьянская душа щедро откликается на «деревенское подоконное Христа ради»:

Бездомного, безродного
Немало попадается
Народу на Руси.
Не жнут, не сеют – кормятся
Из той же общей житницы,
Что кормит мышку малую
И воинство несметное:
Оседлого крестьянина
Горбом её зовут.
Пускай народу ведомо,
Что целые селения

На попрошайство осенью,
Как на доходный промысел,
Идут: в народной совести
Уставилось решение,
Что больше тут злосчастия,
Чем лжи, – им подают.

В главе «Нищая братия» вслед за побирушками и погорельцами идут у Максимова «нищоброды», «калики перехожие», артели нищих и, наконец, «шувалики» – настоящие бродяги, ремесла не знающие, живущие лишь милостыней. Среди этих групп, выброшенных из родных деревень бедностью, пореформенным разорением, создаются настоящие промысловые артели, эксплуатирующие детей и подростков, плодящие уродство и физическую убогость в среде себе подобных. Перед нами нищенство особого рода, какого не знала патриархальная Русь, – нищенство буржуазной эпохи, превратившееся в профессию. Максимов подчеркивает, что именно после 1861 года «нищенский промысел стал быстро возрастать».

Проникновенный максимовский рассказ о судьбах крестьянских вдов, мастерицах водить «плачки» на могилы, тоже подхватывается Некрасовым в «Пире на весь мир». А в истории старообрядца Кропильникова находит достойное продолжение и развитие оппозиционное отношение раскольников к правительству, в деталях и подробностях описанное в «Бродячей Руси».

В главе «Прошаки и запрошики» Максимов убедительно показывает побудительные причины, заставлявшие определенную часть крестьянства заниматься сбором средств на сельские храмы. Взяться за это дело в первую очередь подталкивала нужда и открывавшаяся для «прошака» возможность «подкормиться сытнее». В деревне такой «прошак» обычно оказывался «лишним человеком», мало приспособленным к тяжёлому крестьянскому труду вследствие врожденной убогости или неизбывной бедности. И потому он шёл в холод и ненастье бродить по Руси. А «прошаки» западных губерний России – «кубраки

и лаборы» – превратили это древнее занятие в «промысел самого грубого дела». Уже не религиозные мотивы, а «обман и своекорыстие» крылись за внешне религиозной фразеологией и всеми приёмами сбора на «святое дело». Глава «Богомолы и богомольцы» расцвечена у Максимова примерами ханжества, лицемерия со стороны как «знатных», так и «нищих» слоев общества пореформенной России. Не случаен эпиграф к этой главе: «Знают чудотворцы, где мы не богомольцы». Немало уродливых и тёмных сторон подмечает Максимов в религиозном мирозерцании крестьянства: есть тут и ханжество, и фанатизм, и откровенное изуверство. Но в то же время Максимов воссоздает в книге четкую социальную иерархию как в среде духовенства, так и в слоях богомольцев. Поразителен контраст между холёным епископом с его жадной канцелярией и бедным сельским священником, вспахивающим своё скудное поле крестьянской сохой, живущим в вечном страхе перед важным церковным начальством. Сочувственно изображает Максимов и тех богомольцев, которые идут в монастырь от нищеты и убогости с надеждой испросить милости у Бога. «Божий раб! он ходит, потому что это – путь ко спасению!» – думает доверчивый народ. «Долготерпеливый и мягкий сердцем», он «сохраняет в памяти имена строгих праведников», а «видимые и крупные грехи» не задерживаются в памяти народной:

Но видит в тех же странниках
И лицевую сторону народ...

Представление о творческой истории поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» будет недостаточно полным без учета того, что, собирая в течение многих лет «по словечку» материалы для своего итогового произведения, поэт неоднократно обращался к своему земляку, писателю-первопроходцу, исследователю новых, ещё не освоенных литературой явлений действительности.

Нельзя не обратить внимания и на заключительную главку «Пира на весь мир» – «Эпилог. Гриша Добросклонов».

Описание в ней жизни и быта бедного сельского духовенства несёт на себе очевидные следы знакомства Некрасова с последней главой книги Максимова «Бродячая Русь» – «Скрытники и христоролюбцы». История пономаря в максимовском рассказе предвосхищает историю некрасовского Трифона, отца Гриши Добросклонова: «Осталось сказать еще про пономаря, да лучше его самого не скажешь, – „слякохся от нищеты“, – говаривал он сам с полной откровенностью. В самом деле: сыновья его, ходившие в епархиальный город за 250 верст с вакации и на вакации всегда пешком, не уносили с собой больше 3–4 гривен медными деньгами, а чем жили – отец и думать боялся (ср.: „Дьячок хвалился детками, а чем они питаются – и думать позабыл“. – Ю. Л.). Стаивал он на перекрестках, выпрашивал у проходящих подавания, бродил по базарам между возами, собирая высыпавшиеся крохи, и не раз видели его в питейном доме пляшущим и поющим шаловливую песенку не за вино, а за те же медные деньги».

Максимовские темы и образы отзываются и в других произведениях Некрасова. Таков, например, тип рыжего целовальника Калистратушки в поэме «Коробейники». Впервые этот образ встречается в очерке Максимова «Колдун», опубликованном в ноябрьском номере «Библиотека для чтения» за 1857 год. Кстати, максимовские очерки о костромских и владимирских коробейниках предвосхищают тематику «Коробейников» Некрасова.

Дух скитальчества и правдоискательства искони жил в характерах костромских крестьян-отходников. «Из числа коренных костромичей, – писал Максимов, – вышли первые плотники, печники, маляры, каменщики, употребившие своё доморощенное умение и сметку на постройку большей части домов Петербурга». Да и в нравственном облике охотника Некрасова и путешественника Максимова жило это народное стремление искать правду в долгих жизненных странствиях с переметной сумой за плечами и дорожным посохом в руках.

С февраля 1868 года Максимов, обременённый семьей и материальными стеснениями, вынужден был вступить в должность редактора «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции». Служба в подобном официальном издании не приносила писателю ничего, кроме отвращения. К тому же по складу своего характера он был правдивым, не терпящим никакой лжи и фальши человеком. Вспоминали, что на одном из юбилеев редактора-издателя либеральной газеты, слушая льстивые речи ораторов, Максимов встал и заявил юбиляру во всеуслышание: «И ты веришь, что они говорят тебе правду! Неужели ты так глуп?»

Нередко эта правдивость переходила в ироническую дерзость, в склонность «шебаршить», по любимому словечку Максимова. Так, однажды на страницах его газеты, вскоре после 1 марта 1881 года, когда народовольцы убили Александра II, появилось крупное объявление о панихиде по «в Бозе почившем императоре Александре III», только что вступившем на престол. Трудно сказать, был ли то недосмотр или сознательно дерзкий поступок. Но лишь заступничество влиятельных друзей смягчило правительственный гнев: редактор отделался простой гауптвахтой.

В эти годы, наряду с доработкой «Сибири и каторги» и выполнением фундаментального труда «Бродячая Русь», Максимов работает над новым произведением. Начиная с 1883 года на страницах ежедневной газеты «Новости» появляются одна за другой его заметки под общей рубрикой «Не спуста слово молвится». Знаток русской истории и языка, Максимов даёт в них разъяснения многим идиоматическим выражениям типа: «бить баклуши», «кричать во всю ивановскую», «попасть впросак». В 1890 году очерки объединяются в книгу «Крылатые слова».

Тогда же Максимов вплотную приступает к работе над личными воспоминаниями, которым суждено оставить яркий след в истории отечественной мемуаристики. Воспоминания Максимова о Л. А. Мее, И. Ф. Горбунове,

П. И. Якушкине, А. Н. Островском, А. Ф. Писемском отмечены особым писательским подходом к освещению личностей центральных героев.

Любимое слово писателя «прислушливый» часто встречается в его сочинениях. Оно определяет наиболее ценимые писателем душевные качества человека. «Прислушливость» предполагает повышенную чуткость к другому, талант приветного отклика на все явления окружающего мира. В мемуарах писатель следует мудрому смыслу известной народной пословицы – «по товарищам и слава». Жизнь героев воспоминаний не замыкается в себе: за отдельным лицом Максимов видит «мир»: группу лиц. Лучшие, наиболее ценные черты Островского, Мея, Якушкина раскрываются именно в дружеских связях и общениях.

Мемуары Максимова напоминают многолюдную сходку разных людей, тесно связанных между собой узами духовного родства, человеческого братства, «приятельской семьи». Писатель остается верен наиболее существенным сторонам русской духовной культуры, которая всегда определяла ценность человеческой личности полнотою ее связей с окружающим миром, глубиной ее вхождения в народную жизнь. В самой широте симпатий Островского уже заключена высокая оценка личности и таланта национального русского драматурга, сдружившего уральского казака с оптовым торговцем из Ильинских рядов; знаменитого музыканта-виртуоза с кимровским мужиком, бывшим сапожником; учителя чистописания и рисования с известными критиками; землемера с актёром первой величины.

В центре внимания Максимова оказывается не только факт, но и сам процесс этих дружеских общений, включая его нравственный результат: взаимообогащение людей, «прислушливых» друг к другу. Мы видим влияние дружеского кружка на Островского и обратное воздействие одарённой личности драматурга на всё окружение. Именно общению с Островским обязаны И. Ф. Горбунов – пробуждением самобытного артистического таланта, уральский казак Железнов – писательского. Даже актёрский «талант

Садовского возрастал по мере того, как одновременно и параллельно развёртывался, постепенно мужая, необыкновенный талант нашего знаменитого драматурга». Максимов сравнивает эффект такого дружеского взаимообогащения с движением тока по проводникам: «...очевиден лишь конечный результат: вольтова дуга накалилась, и заблестал яркий ослепительный свет».

Такой творческой вспышкой, по Максиму, явилось рождение русского народного театра. «На самой сцене произошло нечто совершенно неожиданное и чрезвычайное. В том весёлом беззаботном комике, который игриво подплясывал в „Материнском благословении“ под песенку „За моей женой три су“, ярко блеснул художественный комический талант высшей пробы и высокого давления (как выразился А. А. Григорьев). Когда Сергей Васильевич Васильев обратился к Дунечке (Любови Павловне Косицкой) со словами: „Помни, Дуня, как любил тебя Ваня Бородкин!“ – театр разразился аплодисментами, в ложах и креслах замелькали белые платки».

В воспоминаниях об Островском Максимов подробно рассказывает о старой Москве, Замоскворечье, Серебряническом переулке, доме Островского в приходе церкви Николы в Воробине. По русской пословице: «Что город, то и норы, что деревня, то поверье, что изба, то обычай» – писатель бережно проясняет кровное родство Островского с атмосферой старой Москвы, с бесхитростной простотой и наивностью человеческих отношений в ней. Максимов даёт нам почувствовать демократические истоки наивной мудрости Островского, той мудрости, что сводит любую сложность к святой простоте, легко разоблачая нагую суть вещей, подноготную самых сложных интриг.

Максимов рассказывает о начальном периоде деятельности кружка «молодой редакции» «Москвитянина», когда разногласия внутри него ещё не определились, а демократические симпатии одерживали верх над консервативными тенденциями даже у Т. И. Филиппова, ставшего впоследствии рьяным защитником «официальной народности».

Писатель восстанавливает неповторимый колорит добродушия и добросердечия, царивший в среде молодых людей разных званий и сословий, искренне преданных народной песне, увлечённых русской историей. Воссоздается артистическая атмосфера кружка, притягивавшая в него молодых певцов и музыкантов от самодеятельных до профессионалов самой высокой пробы, мастеров устного рассказа и знатоков, ценителей живого великорусского языка.

Тёплые страницы воспоминаний посвящены подруге юности и молодости Островского: «Агафья Ивановна, простая по происхождению, очень умная от природы и сердечная в отношениях ко всем окружавшим... поставила себя так, что мы не только глубоко уважали её, но и сердечно любили. В её наружности не было ничего привлекательного, но её внутренние качества были безусловно симпатичны. Шутя приравнивали мы её к типу Марфы Посадницы, тем не менее наглядными фактами убеждались в том, что её искусному хлопотливому уряду обязана была семейная обстановка нашего знаменитого драматурга тем, что, при ограниченных материальных средствах, в простоте жизни было довольство быта. Всё, что было в печи, ставилось на стол с шутивными приветами, с ласковыми приговорами. Беззаботное и неиссякаемое веселье поддерживалось её деятельным участием: она прелестным голосом превосходно пела русские песни, которых знала очень много. Хорошо понимала она и московскую купеческую жизнь в её частностях, чем, несомненно, во многом послужила своему избраннику. Он сам не только не чуждался её мнений и отзывов, но охотно шёл к ним навстречу, прислушливо советовался и многое исправлял после того, как написанное прочитывал в её присутствии и когда она сама успевала выслушать разноречивые мнения разнообразных ценителей. Большую долю участия и влияния приписывают ей вероятные слухи при создании комедии „Свои люди – сочтемся“, по крайней мере, относительно фабулы и её внешней обстановки. Сколь ни опасно решать подобные неуловимые вопросы положительным образом, с полной вероятностью

впасть в грубые ошибки, тем не менее влияние на Александра Николаевича этой прекрасной и выдающейся личности – типичной представительницы коренной русской женщины идеального образца – было и бесспорно, и благотворно».

Максимов указывает в своих мемуарах на возможные прототипы многих героев Островского: «Среди счастливых, окружавших Островского в первые годы его литературной деятельности, был и тот Несчастливцев, который дал ему несколько черт для обрисовки симпатичного лица этого имени в известной, любимой публикою комедии „Лес“... <...> Это – Корнилий Полтавцев, несомненный благодетель меньшей актёрской братии, единоличный, скорый и умелый заступник и охранитель её при хищнических и безнаказанных поползновениях театральных антрепренёров».

Купцы Кошеверовы послужили для молодого Островского образцом для создания образа Русакова в комедии «Не в свои сани не садись». Торговец в Ильинских рядах Гостиного двора Иван Иванович Шанин сообщил драматургу основу «того рассказа о похождениях купеческого брата, предавшегося загулу и потерявшегося, на которой возник высокохудожественный образ Любима Торцова».

Ссылаясь на «живых комментаторов» комедии «Бедная невеста», Максимов утверждает, что главная героиня её «принадлежала к интеллигентной семье» и «находилась в очень схожих условиях жизни, как и дочь вдовы Незабудкиной». «Свидетельство Максимова, – пишет В. Я. Лакшин, – бросает неожиданный свет на историю создания комедии. Комментаторам нетрудно было установить, что речь идёт о семье Корш, об университетском профессоре Крылове...»

При всём тематическом многообразии статьи-воспоминания Максимова имеют внутреннюю цельность. Они группируются вокруг основного героя – Островского, находящегося в центре и окруженного яркой плеядой своеобразных «спутников», к числу которых можно отнести И. Ф. Горбунова, Л. А. Мея, П. И. Якушкина, А. Ф. Писемского, Е. Э. Дрянского, И. И. Железнова, М. А. Стаховича, А. А. Григорьева, Т. И. Филиппова, братьев Е. Н. и А. Н. Эдельсонов,

Б. Н. Алмазова, Н. В. Берга, А. А. Потехина, многочисленных участников «литературной экспедиции», включая и автора воспоминаний.

В статье «Литературная экспедиция» Максимов подробно рассказывает о трудностях с публикациями статей, подготовленных её участниками. Знакомство Максимова с черновыми записями и материалами Островского позволило выявить жизненную основу многих литературных замыслов драматурга: «Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новые темы для драм и комедий и вдохновила его на те из них, которые составляют честь и гордость отечественной литературы. С вечевых, некогда вольных, новгородских пригородов повеяло тем переходным временем, когда тяжелая рука Москвы сковала старую волю и наслала воевод в ежовых рукавицах на длинных загребистых лапах. Приснился поэтический „Сон на Волге“, и восстали из гроба живыми и действующими „воевода“ Нечай Григорьевич Шалыгин с противником своим вольным человеком, беглым удальцом посадским Романом Дубровиным, во всей той правдивой обстановке старой Руси, которую может представить одна лишь Волга, в одно и то же время и богомольная, и разбойная, сытая и малохлебная. Захудалый и опустелый за чужое злодеяние, Углич, неповинный, всегда смиренный город, охотно приносивший покорную и поклонную голову всякому наступавшему врагу, напомнил мимоходом путешественнику, изучавшему современное рыболовство и судоходство, кровавое событие, породившее Дмитрия Самозванца. Наружно красивый Торжок, ревниво оберегавший свою новгородскую старину до странных обычаев девичьей свободы и строгого затворничества замужних, вдохновил Островского на глубоко поэтическую „Грозу“ с шаловливой Варварой и художественно-изящною Катериной. На городском бульваре и на улицах по вечерам наш автор видал еще стройных новоторок в бархатных (теперь исчезнувших) шубейках рядком и обок с своими „предметами“ – добрыми молодцами, с которыми обычай разрешал открыто миловаться и целоваться.

В Нижнем Новгороде величественно восстал образ Минина. Случайная встреча с отказом в приюте на ночлег по пути из Осташкова во Ржев и с хозяином постоялого двора, имевшим разбойничий вид и торговавшим пятью дочерьми, напечатлелась в памяти и выработалась в комедии „На бойком месте“. Припомнилось и пригодилось всё: и обилие самоучек Кулигиных, и диких самодуров, и степенных Русаковых в торговых городах Поволжья, где ещё сильно распространён обычай свадеб убёгом, и т. п. Сюда с заветной любовью и неудержимой охотой и энергией устремилось творчество нашего знаменитого драматурга-художника, потратившего, к сожалению, много времени на исследование разницы между расшивой и баркой, между неводом и мережкой в гряде других сведений о разнообразных способах рыбной ловли, торговых и других прозаических промыслов. Родная автору река Волга, во всяком случае, подслужилась достаточным количеством свежих и живых впечатлений, сделалась ему родною и своею и в этом отношении влияла на его многоплодное творчество».

Подробно описывает Максимов заграничное путешествие драматурга, используя при этом не только дневник Островского, но и дневник спутника его – И. Ф. Горбунова. Более подробные параллельные записи, которые вёл Горбунов, корректируют лаконичные заметки Островского, выступают в виде развёрнутого комментария к страницам его дневника.

По личным воспоминаниям Максимов повествует о жизни Островского в милом и родном его Приволжье: «В Кинешме надо переехать Волгу, чтобы попасть на проселочную дорогу, идущую на Галич, на тот довольно бойкий проезжий тракт, по которому, в известные времена года, возвращается из столиц на побывку в родные деревни партиями рабочий люд, выходящий на отхожие промыслы из Галицкого, Чухломского и Кологривского уездов Костромской губернии. На 18-й версте находится поворот влево и через версту, по стоялому и хорошо сбережённому лесу, дорога приводит к глубокой долине, на дне которой бежит

речка с запрудой для мельницы, а на пологой горе противоположного берега высятся здания усадьбы Щельково, принадлежащей нашему знаменитому драматургу...»

Подобно перелётным птицам или мужикам-отходникам с наступлением весны прибывал Островский в землю отчую, которую любил бесконечно, считал своим домом, без которой не мыслил своего существования.

«Мы видели Александра Николаевича среди этих красот природы здоровым и жизнерадостным, – писал Максимов. – С необыкновенно ласковою улыбкою, которую никогда невозможно забыть и которую высказывалось полнейшее удовольствие доброю памятью и посещением, – радушно встречал он приезжих и старался тотчас же устроить их так, чтобы они чувствовали себя как дома. На деревенское угощение имелось достаточно запасов в погребе и на огороде, на котором сажалась и сеялась всякая редкая и нежная овощь и которым любил похвастаться сам владелец.

У него, как у опытного и прославленного рыбака, что ни занос уды, то и клёв рыбы – обычно щурят – в омуте речки перед мельничной запрудой, и в таком количестве при всякой ловле, что довольно было на целый ужин. Оставаясь таким же радушным и хлебосольным, как и в Москве, в деревне своей он казался упростившимся до детской наивности и полного довольства и благодущия. Несомненно, он отдохнул, повеселел и стал совершенно беззаботен, а чтобы не обратили ему всё это в упрек и обвинение, то вот, когда открывается съезд мировых судей, он, в качестве почётного судьи, каждый месяц ездит в город Кинешму, да и вообще её старается посещать: там у него есть где остановиться и с кем поговорить. А затем вот и газеты и журналы высылаются из Москвы: „Читаем, гуляем в своём лесу, ездим на Сендегу ловить рыбу, собираем ягоды, ищем грибы“. „Отправляемся в луга с самоваром – чай пьём. Соберём помочь, станем песни слушать; угощение жницам предоставим: всё по предписанию врачей и на законном основании“. Богатырь в кабинете с пером в руках, – в столовую к добрым гостям выходил настоящим ребёнком...»

Максимов преданно помогал Островскому в его переговорах с петербургскими издателями. Драматург доверял своему другу держать корректуру его сочинений, издававшихся в Петербурге. Поэтому Максимов был посвящён в тайны стеснённого материального положения, в котором находился Островский всю жизнь в отличие от многих его литературных собратьев: «Не от избытков средств теплился и светлел приветливый очажок у Серебряных бань... <...> Далеко было до того довольства совершенно обеспеченного в материальном отношении Тургенева и даже до того скромного, каким, например, успевал обставиться Писемский. В немногих и тесных комнатах Островского не нашлось бы места тем широким оттоманкам Тургенева (привычку к ним не покидал он и за границей), на которых спокойно велись литературные беседы и беззаботно валялись довольные своим настоящим: счастливый в денежных делах Некрасов, обеспеченные отцовскими наследствами: артиллерийский офицер, только что покинувший осаждённый Севастополь, граф Л. Н. Толстой, умеренный и аккуратный А. В. Дружинин, обеспеченный доходами с журнала И. И. Панаев, очень богатый от чайной торговли отца В. П. Боткин и другие».

Не обходит Максимов и деликатного вопроса о сложных денежных взаимоотношениях Островского с Некрасовым, духовное, творческое родство с которым драматург ставил всегда выше материальных расчётов: «В одном из писем он счёл нужным и сам откровенно сознаться: „... Некрасов несколько раз мне в глаза смеялся и называл меня бессребреником. Он говорил, что никто из литераторов не продаёт своих изданий так дёшево, как я“. „Я боюсь (прибавляет в конце письма уже совсем с полным простодушием), я боюсь, что Некрасов сообщит об этой моей слабости Звонарёву и тот станет прижимать“».

Впрочем, опасение было напрасным по обстоятельствам, неизвестным Островскому, но для всех не подлежащим сомнению. Звонарёв был лишь подставным лицом, за фирмой которого скрывался сам Некрасов, не пожелавший ставить своего имени на вывеске книжного магазина».

Когда весть о кончине Островского донеслась до невиских берегов, 4 июня 1886 года, Максимов послал в Щелыково такую телеграмму: «Великое горе отечества. Горе друзей неизмеримо».

14

На закате дней Максимов оставил должность редактора «Ведомостей», доставлявшую ему немало хлопот и огорчений. В 1898 году богатый меценат, князь Вячеслав Николаевич Тенишев создал в Петербурге Этнографическое бюро и разработал Программы этнографических сведений о крестьянах и городских жителях образованного класса. Бюро ставило задачу сбора сведений о поступках и поведении управляемых для администрации, а также изучение народных обычаев, обрядов и верований. В Программе этнографических сведений о крестьянах Центральной России, к исполнению которой был привлечён Максимов, содержалась строгая и чёткая система наводящих вопросов, на которые должен был отвечать сотрудник бюро, окончательно обрабатывавший этнографические сведения, полученные от местных корреспондентов из разных губерний, уездов и волостей средней России.

Судя по неопубликованным письмам Максимова, обнаруженным нами в одном из костромских архивохранилищ, работа «не собственным свободным порывом, а в путях чужой задачи, очень слабо выдержанной и очень темно выраженной», не приносила писателю желаемого удовлетворения. Система вопросов программы, по существу, исключала личную инициативу писателя, чрезмерно регламентируя его творческие возможности. Тенишевская работа была противна Максиму и тем, что «представляла собою на большую часть перепевы» давно известных и открытых этнографических сведений.

Сложность положения Максимова усугублялась и другими обстоятельствами. «Тенишев быстро охладил к этому делу, увидя, что оно не из таких, которые могли бы поднять его на желаемую высоту славы и почётной известности».

Проводя большую часть времени в Париже, он поручил заведование Этнографическим бюро своему секретарю А. А. Чарушину, с которым у Максимова возникали постоянные столкновения. В одном из писем своему костромскому другу А. Н. Макарову от 20 февраля 1899 года Максимов сообщал: «Скажу одно: Ваши взгляды на всё дело Тенишева совпадают с моими личными точка в точку, и если я не передаю их самому Тенишеву, то лишь по той причине, что не изготовил ещё самостоятельной работы, – стало быть, не закрепили твёрдого авторитета, который неустанно и самым назойливым образом старается оспаривать тот ловкий, завистливый и ревнивый „чинобрей“, который заведует бюро».

В 1899 году Максиму удалось «закрепить» этот «твёрдый авторитет». В письме к Макарову от 23 февраля 1899 года писатель сообщал: «За это время я успел ему [Тенишеву] сделать нижеследующие очерки: домовый-доможил, полевой, баенник, гуменник, кикимора, русалка, оборотень, леший, водяной, – и вот теперь сижу над чертями... На Фоминой полагаем приступить к печатанию этой брошюры листов в 7–8 печатных для рассылки в виде образца различных приёмов разработки материала и способов писания тем сотрудникам, которые могут задуматься над планом писания, и тем, которые не остыли желанием помочь или уже помогли в такой мере, что их следует только поблагодарить».

Так была подготовлена и опубликована отдельным изданием под названием «Нечистая сила» (СПб., 1899) третья часть взятой на себя Максимовым программы, посвященная народной демонологии. Два других раздела – «Неведомая сила» и «Крестная сила» – при жизни писателя не издавались. Дни Максимова были сочтены. За шесть месяцев до смерти в письме к Макарову от 6 декабря 1900 года писатель сообщал: «От меня, дорогой друг, не ждите ничего, о чём писал: ничего я не написал, что не печатано и, по случаю болезни, даже не успел кончить начатого («Крестная сила»). И это – вторая моя, нравственная болезнь, более тяжкая и менее выносимая, чем физические страдания».

В крайне напряжённой обстановке, когда у маститого писателя возникает желание «бросить всё дело, выместив получаемое от бюро содержание годовыми доходами», когда неизлечимая болезнь – горловая чахотка – подтачивает силы, приходит известие об избрании его почетным академиком Императорской академии наук. Кандидатуру Максимова предложил для избрания А. П. Чехов. Общественное признание заслуг писателя перед русской литературой пришло к нему слишком поздно. В письме к Макарову от 19 декабря 1900 года Максимов со свойственным ему и в трудные минуты жизни юмором писал: «С возведением меня в звание почетного академика Академии наук „по разряду изящной словесности, учрежденному в ознаменование столетия со дня рождения А. С. Пушкина“ (таков полный титул в дипломе) обязан надеть белый галстук и чёрный (чуть не красный, сенаторский) фрак, чтобы представиться Константину Константиновичу. И не знаю теперь, чем я буду говорить с ним: с разбитым вдребезги горлом придётся, видимо, обычаем московских купцов, подхватить обеими руками брюхо и кланяться в пояс – кланяться до тех пор, пока глаза не нальются кровью».

Преодолевая тяжелый недуг, к апрелю 1901 года Максимов завершил работу над «Крестной силой». В этой книге писатель дал живую картину народной жизни в опрае трудового крестьянского календаря, – годового цикла крестьянских праздников. Знакомство с работой Максимова убеждает, какой причудливой трансформации подвергались в сознании русского крестьянина жития святых, в какую безраздельную зависимость от основных сельскохозяйственных забот мужика они попадали: Тимофей-весновой, Прокоп – увяз в сугроб, Василий-капельник, Евдокия – замочи подол, Герасим-грачевник, Ирина – урви берега, Пётр-полукорм и т. п. Максимов как писатель-демократ всячески подчёркивает жизнелюбивую сторону народного мирозерцания, подчиненного ритмам годового круговорота природы, связанного с важными этапами годового крестьянского существования.

В последние годы жизни у Максимова было желание оставить Петербург и поселиться в Ялте рядом с А. П. Чеховым. 29 октября 1899 года он сообщал Макарову: «Наглотавшись досыта крымского винограда в Ялте и напившись эссенцуцкой воды в Кисловодске... снова попал в чудовищно-разрушительный климат мерзопакостного города, где теперь действительно нет ни неба, ни земли: одна зыбь поднебесная. А состояние здоровья таково, что врачи в одно слово, как бы сговорившись, советуют навсегда поселиться в Ялте в компании (уже и налаженной мною) с Антоном Чеховым, у которого лёгочные дела тоже тяжелы очень».

Прекратив в апреле 1901 года свои работы в Этнографическом бюро и с лёгкой душой собираясь в Крым, Максимов заехал в Варшаву к брату В. В. Максиму. Здесь он почувствовал себя так плохо, что по совету брата решился на операцию, которая прошла успешно, однако продлила его жизнь лишь на очень короткое время. Вернувшись в Петербург, признанный Чеховым «знаток русской коренной жизни, её духа, её форм, её юмора» скончался 3 июня на 70-м году жизни. Его похоронили на Волковом кладбище, на литераторских мостках, рядом с собратьями по перу, трудам и любви к народу.

Сочинения С. В. Максимова

Собрание сочинений: в 20 т. – СПб., 1908–1913.

Крылатые слова / послесл. и примеч. Н. С. Ашукина. – М., 1955.

Крылатые слова / вступ. ст. В. П. Астафьева; примеч. Н. С. Ашукина. – Красноярск, 1989.

Избранное / сост., вступ. ст. и примеч. С. Н. Плеханова. – М., 1981.

Куль хлеба и его походжения / предисл. Т. С. Мальцева; подгот. текста и примеч. С. Н. Плеханова. – М., 1982.

Литературные путешествия / сост., вступ. ст. и коммент. Ю. В. Лебедева. – М., 1986.

Избранные произведения: в 2 т. / вступ. ст., подгот. текста и коммент. Ю. В. Лебедева. – М., 1987.

Куль хлеба: рассказы и очерки / сост., вступ. ст. и примеч. А. Н. Мартыновой. – Л., 1987.

По русской земле / вступ. ст., подгот. текста С. Н. Плеханова; коммент. С. Н. Плеханова, Ю. В. Лебедева. – М., 1989.

Нечистая, неведомая и крестная сила / предисл. кн. В. Н. Тенишева; послесл. Н. В. Ушакова. – Репр. воспр. текста изд. 1903 г. – СПб.: ТОО «ПОЛИСЕТ», 1994. – Место вып. ориг. изд. и изд-во: СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг.

Собрание сочинений: в 7 т. – М., 2010.

Литература о творчестве С. В. Максимова

Пыпин А. Н. История русской этнографии / А. Н. Пыпин. – Т. 2. – СПб., 1891.

Касторский В. Писатели-костромичи (XVIII–XIX вв.) / В. Касторский. – Кострома, 1958.

Плеханов С. Охота за словом / С. Плеханов. – М., 1987.

Гуминский В. Путешествия и странники / В. Гуминский. – М., 1987.

Лебедев Ю. В. В середине века / Ю. В. Лебедев. – М., 1988 (гл. о С. В. Максимове).

Мартынова А. Бытописатель земли русской / А. Мартынова. – М., 1987.

Лощиц Ю. Слушание земли / Ю. Лощиц. – М., 1988.

Павлов А. В. К истории поездки на Амур / А. В. Павлов // Русская литература. – 1992. – № 2.

Лебедев Ю. В. О годах учения С. В. Максимова / Ю. В. Лебедев // Костромская земля. – Вып. 3. – Кострома, 1995.

Рекомендации по работе с материалом учебного пособия

1. По статье учебного пособия подготовьте сообщение о детстве и юности С. В. Максимова.

2. Выпишите из статьи примеры прямого обращения русских писателей, поэтов к очеркам С. В. Максимова при работе над своими художественными произведениями.

3. На основе статьи учебника составьте план-конспект по теме «Книги С. В. Максимова» или заполните таблицу:

Название книги	Годы работы писателя над книгой	География книги (области России, изучение которых стало основой книги)	Основное содержание книги (краткая аннотация)	Замечания, дополнения

4. Ответьте на вопросы:

Как связана литературная деятельность С. В. Максимова с идеями В. Г. Белинского и расцветом «натуральной школы» в русской литературе?

В чем произведения С. В. Максимова дополняют картину общенациональной жизни, созданную авторами великих романов второй половины XIX века: Тургеневым, Достоевским, Л. Толстым?

Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте очерки из книги С. В. Максимова «Лесная глушь». Подготовьте сообщение об одном из них, выпишите в тетрадь тезисы сообщения и план содержания выбранного очерка.

2. Выполните сопоставительный анализ рассказа А. Ф. Писемского «Питерщик» и очерка С. В. Максимова с тем же названием.

3. Прочитайте и проанализируйте несколько фрагментов из книги С. В. Максимова «Год на Севере» (по своему выбору). Как раскрывает писатель образ жизни и характер русских крестьян-поморов?

4. Подготовьте (по вариантам) сообщения о книгах С. В. Максимова «Сибирь и каторга», «Бродячая Русь Христа ради», включив в свое выступление выбранные цитаты из книги.

5. Разработайте систему уроков по творчеству С. В. Максимова для учащихся 10-го класса (3–4 часа).

6. Подготовьте презентацию, посвященную книге С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила».

7. Прокомментируйте отзыв А. В. Дружинина о писателе. Считаете ли вы справедливыми утверждения критика?

«Г. Максимов, с трудами которого хорошо знакомы читатели нашего журнала, соединяет в себе все условия и качества, нужные для русского путешественника. Он страстно любит всякие поездки и даже длинные переходы пешком по всем сколько-нибудь замечательным уголкам России. Он молод, здоров и имеет всё нужное, чтобы войти в доверие к лицам, его интересующим. Он сердцем любит народ, близок к народу и умеет сойтись с простым русским человеком, без неестественных усилий и презренного подлаживания к слабостям простолюдина. Он может неумоимо трудиться, никогда не торопясь, не сбиваясь и не путаясь в обильных материалах. Ни какой край для него не кажется бедным, никакой человек недостойным наблюдения. У этого писателя всегда под ногами твёрдая почва, он воспитан не на книгах и не на отвлечённых теориях. Тому, кто любит чтение здоровое и укрепляющее разум, мы смело советуем читать и перечитывать каждый труд Максимова...»

Темы докладов, рефератов, исследовательских работ

1. Особенности жанра очерка в творчестве С. В. Максимова.

2. С. В. Максимов-мемуарист.

3. Книга С. В. Максимова «Куль хлеба и его похождение» как материал для уроков русского языка и литературы.

4. Русские народные говоры в этнографической беллетристике С. В. Максимова.

Задания для организации проектной деятельности

1. Подготовьте адаптированное для детей 10–12 лет издание книги С. В. Максимова «Крылатые слова» (в сокращении): отберите наиболее интересные очерки, сделайте

необходимые сноски или комментарии к текстам, подберите иллюстративный материал, напишите предисловие, создайте электронный или рукописный макет книги.

2. Разработайте проект памятника С. В. Максимова: подготовьте обоснование необходимости установки памятника писателю, опишите, как примерно должен выглядеть памятник, определите возможное место его установки, проведите опрос населения или подготовьте заключения специалистов по поводу вашего проекта.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ КОСТРОМСКОГО КРАЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Мария Ивановна Готовцева (1793–1866)

М. И. Готовцева (псевдоним Авдотья Степановна Гульпинская) – сестра поэтессы А. И. Готовцевой и тётка Ю. В. Жадовской и П. В. Жадовского. Автор очерков о нравах костромского захолустья «Житьё-бытьё на Корёге. Записки Гульпинской Авдотьи Степановны», а также стихотворения, написанного в альбом М. А. Максимовича, «Как поздней осенью последние цветы...»:

Как поздней осенью последние цветы
Задумчивой душе весну напоминают;
Как пурпурной зари живые красоты
Ещё блестящий день глазам изображают;
Как древней надписи нестёртые черты
Утраченную жизнь из гроба вызывают:
Так книги памятной священные листы
Разрозненных друзей везде соединяют
И блага лучшие и лучшие мечты
В бывалых призраках отрадно воскрешают.

Последние годы жизни Мария Ивановна провела вместе с сестрой Анной Ивановной Корниловой-Готовцевой в усадьбе Подберезье, где и скончалась в 1866 году.

Василий Арсентьевич Дементьев (ок. 1825–1871)

В. А. Дементьев родился в селе Турлиево Кологривского уезда Костромской губернии в семье дьякона местной церкви. После Галичского духовного училища поступил в Костромскую духовную семинарию, но курса не кончил.

В 1848 году пешком отправился в Москву и поступил в секретари к профессору истории Московского университета и издателю журнала «Москвитянин» М. П. Погодину. Живя в доме Погодина, он составлял каталог его библиотеки, а потом стал техническим сотрудником журнала «Москвитянин».

На страницах этого журнала (1851. № 19–20) Дементьев опубликовал очерк «Лёвка Бобыль», в котором нарисовал идиллические картины из жизни крестьян Костромской губернии.

В 1852 году Дементьев сдал экзамены на звание народного учителя и уехал на родину. Здесь он вёл странническую жизнь, учительствуя в Галиче, Макарьево, посаде Парфентьево.

В 1857 году он перебрался в Иваново-Вознесенск, где возглавил литературно-общественный кружок начинающих писателей, в который входили Ф. Д. Нефёдов, В. А. Рязанцев и будущий революционер-нигилист С. Г. Нечаев.

В конце 1863 года Дементьев вернулся в Москву, где вёл беспорядочную жизнь и умер в больнице для бедных.

Павел Валерианович Жадовский (1825–1891)

П. В. Жадовский, русский писатель, поэт, очеркист, брат писательницы Юлии Жадовской, родился 13 (25) июня 1825 года в селе Субботино Любимского уезда Ярославской губернии. Как многие дети бедных дворян, он учился в Первом московском кадетском корпусе, который окончил в 1847 году.

По окончании кадетского корпуса П. В. Жадовский служил в Московском полку, участвовал в Венгерской кампании 1848–1849 годов и в Крымской войне 1853–1856 годов. Во время осады Севастополя публиковал в «Одесском вестнике» военные очерки, которые часто перепечатывались в центральной прессе того времени, особенно в газете «Русский инвалид».

Жадовский был трижды ранен и после контузии перешёл на гражданскую службу. В 1860–1863 годы он исполнял должность городничего в г. Кузнецке Саратовской губернии, а потом – полицейского исправника в Чухломском уезде Костромской губернии.

Как поэт П. В. Жадовский дебютировал в конце 1840-х годов. Он издал поэтические сборники «Стихотворения» (1859) и «Собрание стихотворений» (1872). Его стихи не отличались оригинальностью и часто подхватывали поэтические сюжеты его сестры, Ю. В. Жадовской, или мотивы и образы русских поэтов-современников.

Исторический интерес сохраняют его мемуары – «Отрывки из воспоминаний о Крыме 1855 и 1856 гг.» и «На бастионах Севастополя».

П. В. Жадовский писал рассказы, повести, очерки. Его роман «Житейские сцены» (М., 1859) был разрешён к печати, но после самовольной замены дозволенного цензурой текста запрещён к обращению.

Публикации Жадовского появлялись в «Москвитяине», «Современнике», «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках» и других журналах. Его Собрание сочинений было издано в 1886 году.

Выйдя в отставку, П. В. Жадовский жил в Санкт-Петербурге, где и скончался 24 июля (5 августа), по другим сведениям 24 октября (5 ноября) 1891 года. Погребён в Приморской Свято-Троицкой Сергиевской пустыни в Петербурге.

Николай Антипович Потехин (1836–1896)

Русский писатель-драматург, публицист, театральный критик, режиссёр и актёр, брат А. А. Потехина, Николай Антипович Потехин родился 28 ноября (10 декабря) 1836 года в городе Кинешме Костромской губернии в дворянской семье. Окончил Костромскую гимназию и юридический факультет Московского университета.

Служил чиновником особых поручений по акцизному ведомству. В молодости примыкал к революционно-демократическому движению. Был арестован и заключен в Петропавловскую крепость за связь с «лондонскими пропагандистами» (Герценом и Огарёвым), но вскоре освобождён.

Оставив службу, Потехин занялся литературной деятельностью. Его писательским дебютом была повесть «Бесталаный» (Русское слово. 1859. № 2), а затем очерк «Родительская суббота» (Русское слово. 1863. № 5).

Затем Потехин становится постоянным сотрудником журнала «Искра», где публикует цикл очерков («На нижегородской ярмарке», «Выборное начало», «Благотворитель», «Весенняя любовь», «Фигуры откупной колоды», «Наши в Париже»), которые издаёт потом отдельной книгой под названием «Наши безобразники. Сцены» (СПб., 1864).

Напечатав в «Отечественных записках» комедии «Кто лучше» (1860, № 12), «Быль молодцу не укор» (1861. № 1) и драму из простонародного быта «Доля-горе» (1863. № 6), а в журнале Ф. М. Достоевского «Эпоха» комедию «Врач-специалист» (1865. № 2), Потехин становится режиссёром и актёром сначала в Харькове, потом в Вильно.

В годы русско-турецкой войны (1877–1878) он отправляется на фронт в качестве военного корреспондента, а по окончании военных действий сотрудничает в качестве театрального рецензента в газете «Санкт-Петербургские ведомости», печатая свои статьи под псевдонимами «Рцы» и «Слово Твёрдо».

В 1870-х годах Потехин приобретает известность как автор бытовых мелодрам с сюжетами, взятыми из газетных фельетонов и судебной хроники. Наиболее известные из них «Злоба дня» (Дело. 1875. № 21), «Мёртвая петля» (Дело. 1876. № 1), «Нищие духом» (СПб., 1879) и др. Его пьесы идут в Малом и Александринском театрах, ставятся в провинции. Рассчитанные на внешний эффект, наполненные злободневными намеками, они пользуются большим успехом у зрителей.

Алексей Алексеевич Луговой (Тихонов) (1853–1914)

А. А. Тихонов (псевдоним – Луговой) родился 19 февраля (3 марта) 1853 года в уездном городе Варнавине Костромской губернии в культурной купеческой семье. После окончания гимназии он поступил в Петербургский технологический институт, но был вынужден оставить учебу, чтобы помочь тяжело заболевшему отцу. По торговым делам Тихонову пришлось много путешествовать по России. В этот период он исповедовал теорию «малых дел», мечтал о социальных преобразованиях, о подборе в купеческое сословие лучших людей из народа. Однако в конце 1880-х годов эти надежды рухнули, дела Тихонова пришли в полное расстройство, и он решил целиком отдаться литературной деятельности.

В 1890-х годах Тихонов (Луговой) несколько лет редактировал очень популярный в России еженедельный журнал для семейного чтения «Нива», в котором печатались романы повести, рассказы и поэтические произведения русских писателей. Начиная с 1891 года в качестве бесплатного приложения к журналу стали издаваться собрания сочинений русских и зарубежных писателей-классиков. Благодаря «Ниве» обширная библиотека классической литературы проникла в отдаленные и глухие углы России. Приложения способствовали широкому распространению «Нивы», тираж которой, повышаясь ежегодно, к 1917 году достиг 275 тысяч экземпляров.

Литературное наследие Тихонова (Лугового) разнообразно: стихи, романы, пьесы, рассказы, повести. Современники высоко ценили его «рассказы из народного быта»: «Не судил Бог» (1886), «На курином насесте» (1886), «За грозой – ведро» (1887), «Швейцар» (1889). Пользовались популярностью и романы Тихонова «Грани жизни» (1892), «Возврат. Роман колеблющихся настроений» (1898), «Тенёта» (1901), «Наши дни (Семейная

история)» (1907). Его пьесы «Озимь» (1887) и «Безумная» (1902) были поставлены на сцене Александринского театра. В 1896 году три тома Сочинений Тихонова были удостоены Пушкинской премии.

Умер А. А. Тихонов (Луговой) 25 октября (7 ноября) 1914 года в Петрограде.

Рекомендации по работе с материалом учебного пособия

1. Законспектируйте содержание раздела, самостоятельно определив форму и структуру записи.
2. Подберите фрагменты из произведений костромских писателей, представленных в этом разделе, для дополнения сведений о них, иллюстрации важнейших тезисов справочных статей.

Задание для самостоятельной работы

Прочитайте произведения авторов раздела, ответьте на вопросы:

Какие стороны провинциальной русской жизни XIX века раскрылись перед вами в сочинении М. И. Готовцевой? Сложился ли во время чтения у вас образ самой повествовательницы? Какой вы её представляете?

Какие приемы изображения народной жизни использует А. А. Дементьев?

Какие мотивы звучат в стихотворениях П. В. Жадовского? Чем его лирика перекликается с творчеством его сестры Ю. В. Жадовской?

К каким социально-бытовым проблемам обращается в своих произведениях Н. А. Потехин?

Как рассказы Лугового (Тихонова) вписываются в контекст литературного процесса в России второй половины XIX века?

Темы докладов, рефератов, исследовательских работ

1. Быт и нравы провинциального дворянства в очерках М. И. Готовцевой «Житьё-бытьё на Корёге».

2. Образы героев Севастополя в стихотворениях и прозе П. В. Жадовского.

3. Трансформация жанра физиологического очерка в произведениях малоизвестных писателей Костромского края 2-й половины XIX века.

Задание для организации проектной деятельности

Подготовьте сценарий радиопередачи, посвященной второстепенным, забытым писателям-костромичам 2-й половины XIX века.

РУССКИЕ КРИТИКИ, СВЯЗАННЫЕ С КОСТРОМСКИМ КРАЕМ

Варфоломей Александрович Зайцев (1842–1882)

В. А. Зайцев, русский публицист и литературный критик, родился в Костроме 30 августа 1842 года. Его отец, Александр Николаевич Зайцев, в 1841–1845 годах был смотрителем провиантских магазинов в Костроме. Со службы его уволили по болезни в чине коллежского советника в 1856 году. Он дал сыну хорошее домашнее образование. Имея редкие способности, Варфоломей Зайцев усвоил 6 иностранных языков.

В 1858–1859 годы он учился на юридическом факультете Петербургского университета, а в 1859–1861 годы – на медицинском факультете Московского университета, который не окончил, сдав «полулекарский» экзамен, чтобы содержать мать и сестру, так как отец оставил семью вследствие решительного несогласия с «нигилистическим» образом мыслей жены и старшего сына. Традиционный в 1860-х годах конфликт «отцов и детей» явился источником драмы в семье Зайцевых.

В 1862 году В. А. Зайцев переехал в Санкт-Петербург, где продолжил обучение в Медико-хирургической академии (1863), но курса не кончил. В 1863–1865 годы он становится активным сотрудником журнала «Русское слово», соратником и верным помощником Д. И. Писарева. Зайцев вёл в журнале специальный отдел – «Библиографический листок», где поместил около 130 рецензий. Они отличались прямой пропагандистской направленностью и политическим пафосом, что привлекало к журналу радикальную часть русской молодёжи 1860-х годов. Главные его статьи,

опубликованные в «Русском слове», следующие: «Перлы и алмазны русскаго журналистики» (1863. № 4), «Гейне и Берне» (1863. № 9), «Славянофилы победили» (1864. № 10), «Взбаламученный романист» (о романе А. Ф. Писемскаго «Взбаламученное море»).

В основе мировоззрения Зайцева – вера в естественно-научны знания как революционную силу современности и связанный с нею уклон в вульгарный материализм Л. Бюхнера, К. Фохта, Я. Молешотта. Зайцев отрицательно относился к немецкой классической философии (статья «Последний философ-идеалист» в журнале «Русское слово». 1864. № 12), не верил, подобно Писареву, в революционны возможности народа и считал революционной силой современности просвещённое естественно-научными знаниями интеллигентское меньшинство – «мыслящий пролетариат». Поэтому в 1870-х годах он примкнул к партии народолюбцев.

В области этики Зайцев – последователь «разумнаго эгоизма» Чернышевскаго (статья «Рассуждения и исследование Д. С. Милля» в журнале «Русское слово». 1865. № 5). В эстетике он более последовательный и прямолинейный её разрушитель, чем Писарев: «...искусство не является естественной потребностью человека и заслуживает полного и беспощаднаго отрицания». Эстетически наслаждения «только расслабляют и развращают» человека, «заставляют даром тратить время вместо того, чтобы заниматься им с пользой». Зайцев решительно отрицает изобразительны искусства, театр, музыку, лирическую поэзию: «всякий ремесленник полезнее любого поэта». На страницах журнала «Русское слово» он уничтожающе оценивает М. Ю. Лермонтова (1863. № 6), А. А. Фета (1863. № 8), А. С. Пушкина (1864. № 1), М. Е. Салтыкова-Щедрина (1864. № 2). Он ценит лишь поэзию, посвящённую общественным проблемам, в которой главным для него является не искусство, а «верная и честная мысль, выраженная при помощи его».

Поэтому Зайцев положительно отзывался о стихах Некрасова (Русское слово. 1864. № 10): Некрасов – народный поэт – «...не „поёт“ о крестьянстве, а *думает* о его судьбе

и мысли свои, глубокие и светлые, передаёт в прекрасных и свободных стихах, в которые без натяжки укладывается народная речь и которые чужды поэтических метафор и аллегорий».

Зайцев высоко оценил поэму Некрасова «Мороз, Красный нос». Однако и в ней его интересовал лишь обличительный пафос. Прочитывая отрывок из поэмы, рисующий предсмертный сон Дарьи, критик заметил, что этот сон бесконечно далёк от действительности: «...если бы в минуту смерти крестьянке грезилось её действительное прошлое, то она увидела бы побои мужа, не радостный труд, не чистую бедность, а смрадную нищету. Только в розовом чаду опиума или смерти от замерзания могли предстать перед нею эти чудные, но никогда не бывалые картины...» Тем самым Зайцев дал повод Н. Н. Страхову для остроумной полемики с ним: «Некрасов изобразил живущую в полном ладу чету мужа и жены. „Как можно! – возражает ему критик, – ваш Прокл непременно бил свою жену“. Г-н Некрасов представил картину радостного труда, чистой бедности. „Как можно! – возражает критик: всё это одна мечта, я знаю твёрдо, что они жили в смрадной нищете“. Г-н Некрасов изобразил счастливые минуты крестьянского семейства, полного взаимной любви. „Как можно! – восклицает критик: я ведь знаю, что ни любви, ни счастливых минут у них вовсе нет“. «Очень может быть, – иронически резюмирует Н. Н. Страхов, – что критику кажется одной фантазией, одним идеалом даже то, как Савраска „В мягкие добрые губы Гришухино ухо берет“. Вот если бы Савраска откусил ухо у Гришухи, тогда это было бы ближе к действительности и не противоречило бы некрасовской манере её изображать». (Эпоха. 1864. № 11).

В полемике «Современника» с «Русским словом» («раскол в нигилистах») Зайцев играл самую активную роль (см. его статьи в журнале «Русское слово»: «Белинский и Добролюбов». – 1864. № 1; «Глуповцы, попавшие в „Современник“». – 1864. № 2).

В октябре 1865 года Зайцев оставил журнал, вступив в конфликт с его редактором Г. З. Благодетелевым.

В апреле–августе 1866 года Зайцев находился под следствием в Петропавловской крепости в связи с покушением Каракозова на Александра II, а затем остался под полицейским надзором.

В 1869 году ему с трудом удалось выехать в Париж. В эмиграции он вел бедную, скитальческую жизнь, вступил в Интернационал, примкнув в нём к бакунистам. Умер он скоропостижно от апоплексического удара 20 января 1882 года.

Сочинения В. А. Зайцева

Избранные сочинения: в 2 т. – Т. 1.: 1863–1865. – М., 1934. (Т. 2 не вышел).

Шестидесятники. – М., 1984.

Литература о творчестве В. А. Зайцева

Кирпотин В. Я. В. Зайцев – соратник Писарева / В. Я. Кирпотин // *Радикальный разночинец Д. И. Писарев.* – М., 1933.

Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России / Б. П. Козьмин. – М., 1961.

Кузнецов Ф. Ф. Зайцев / Ф. Ф. Кузнецов // *Публицисты 1860-х гг. Круг «Русского слова».* – 2-е изд. – М., 1981. – (ЖЗЛ).

Зайцев А. Варфоломей Александрович Зайцев / А. Зайцев // *Вечные всходы: сб. очерков о писателях Костромского края.* – Ярославль, 1986.

Николай Николаевич Страхов (1828–1896)

Н. Н. Страхов, русский философ, публицист, литературный критик, родился 16 октября 1828 года в Белгороде, в семье магистра Киевской академии, протоиерея и преподавателя словесности Белгородской духовной семинарии. В возрасте 6–7 лет он лишился отца и был отдан матерью на воспитание её брату, ректору Каменец-Подольской, а затем Костромской духовной семинарии.

Страхов учился в Костромской духовной семинарии в 1840–1844 годах в классах риторики и философии на территории Богоявленского монастыря. «...Следует помянуть добром этот Богоявленский монастырь, где я прожил пять лет и где помещалась наша семинария, – вспоминал Страхов. – В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не было самой возможности сомнения в том, что она нас породила и она нас питает, что мы готовимся ей служить и готовимся оказывать ей повиновение, и всякий страх, и всякую любовь».

В 1845 году он поступил на математический факультет Петербургского университета, в 1848 году перешел на естественно-математический разряд Главного педагогического института, где и окончил курс в 1851 году. По окончании Страхов служил учителем физики и математики во Второй Одесской гимназии, затем преподавал естественную историю во Второй Петербургской гимназии. В 1857 году он защитил диссертацию на степень магистра зоологии. В 1858 году Страхов публикует в газете «Русский мир» «Физиологические письма» (впоследствии названные «Письма об органической жизни»), на которые обратил внимание Ап. Григорьев. Дружба с ним сыграла решающую роль в жизненной судьбе Страхова и его литературных воззрениях.

В 1861 году Страхов оставил службу и стал сотрудником журнала братьев Достоевских «Время». В статье «Нечто о полемике. Письмо в ред. «Времени»» (Время. 1861. № 8) он сформулировал два условия настоящей полемики: 1. «Нужно понимать мысль своего противника», 2. «Нужно понять мысль противника лучше, чем понимает её сам противник, потому что нужно отвечать на эту мысль, судить её». Этот принцип понимания чужд современной журнальной полемике, где «каждый хлопочет всеми средствами превратить своего противника в глупца».

Руководствуясь этими принципами, с позиции «почвеннического» миросозерцания Страхов ведёт на страницах «Времени» и других журналов решительную борьбу с «нигилизмом» как односторонней и оторванной от

органических начал русской жизни теорией. Этому посвящена его статья о романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (Время. 1862. № 4), о «Что делать?» Н. Г. Чернышевского (Библиотека для чтения. 1865. № 4).

В 1863 году, во время польского восстания, Страхов печатает статью «Роковой вопрос» (Время. 1863. № 4) о русско-польских отношениях, которая начинается с подробнейшего изложения враждебной ему системы взглядов на польский вопрос. Это вызвало возмущение правительственных кругов, и журнал «Время» закрыли навсегда. В 1864 году Ф. М. Достоевский добивается разрешения на издание журнала «Эпоха», в котором Страхов продолжил сотрудничество.

Одной из лучших его статей является разбор романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (Отечественные записки. 1867. № 3–4). Прежде всего, критик отметил в образе Раскольникова полемический подтекст, направленный против русского нигилизма. Полемика эта не лежит на поверхности романа именно потому, что она глубока, что она касается трагедии человека с «теоретически раздражённым сердцем» – родовым признаком русского нигилизма. Страхов обращает внимание, что тип Раскольникова глубоко национален, что в нём нашли отражение коренные черты русского характера. «Раскольников есть истинно русский человек именно в том, что дошёл до конца, до края той дороги, на которую его завёл заблудший ум. *Эта черта русских людей; черта чрезвычайной серьёзности, как бы религиозности, с которою они предаются своим идеям, есть причина многих наших бед.* Мы любим отдаваться целью, без уступок, без остановок на полдороге; мы не хитрим и не лукавим сами с собою, а потому и не терпим мировых сделок между своею мыслью и действительностью. Можно надеяться, что это драгоценное, великое свойство русской души когда-нибудь проявится в истинно прекрасных делах и характерах. Теперь же, при нравственной смуте, господствующей в одних частях нашего общества, при пустоте, господствующей в других, наше свойство доходить

во всём до краю – так или иначе – портит жизнь и даже губит людей» (курсив мой. – Ю. Л.)

После закрытия журнала Достоевского «Эпоха» Страхов занимается переводами, в 1867 году редактирует журнал «Отечественные записки», а в 1869–1871 годах – журнал «Заря», где публикует статьи о Л. Н. Толстом («Лучшим своим делом я считаю всё-таки мою критическую поэму в четырех песнях – критический разбор „Войны и мира“»). Здесь Страхов впервые попытался обрисовать во весь рост значение Толстого-писателя: он восстал как «богатырь и сверг либерально-европейские авторитеты, под которыми мы жмёмся и ёжимся».

В своих статьях он отметил зарождение русского культурно-исторического типа, который пользуется приобретениями европейского просвещения, но идёт своей дорогой: «В произведениях ряда поэтов и художников, начиная от Пушкина, после некоторого колебания в сторону западно-европейских типов духовной красоты человека, мы замечаем возвращение к самостоятельности и создание типов и характеров, в безусловной нравственной красоте которых мы не можем сомневаться, перед которыми преклоняются, как только узнают их, и западные писатели – и которые вместе с тем совершенно гармонируют с душевным складом, до сих пор живущим в нашем народе».

Формулу этого особого душевного склада русского человека дал, по Страхову, Л. Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир» в словах: «...для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды». В этой формуле Страхов видел указание иного, высшего типа для всемирной истории, по которому она ещё никогда не двигалась, за исключением, может быть, Отечественной войны 1812 года.

Впервые к воплощению этого идеала в литературе подошёл, по Страхову, Пушкин: «Он один есть полный образ русской души, но лишь в очерке без красок, которые потом являются в пределах его очертаний». Вся русская литература второй половины XIX века является «проложением

дорог, уже начатых или совершенно пробитых Пушкиным». Зерно романа-эпопеи Толстого «Война и мир», например, уже содержится в «Капитанской дочке».

В современной литературе Л. Н. Толстой играет ту же роль, какую в первой половине века играл Пушкин. В «Войне и мире» Страхов видел русский вариант героической эпопеи, Толстой в ней уловил истоки особого русского героизма: «„Мы сильны *всем народом*, сильны тою силою, которая живёт в самых простых и смиренных личностях“, – вот что хотел сказать гр. Л. Н. Толстой, и он совершенно прав». Истинным героем народной войны, олицетворением духовной силы её неслучайно стал у Толстого добрый, простой и правдивый Платон Каратаев. «В лице Каратаева Пьер видел то, как русский народ мыслит и чувствует при самых крайних бедствиях, какая великая вера живёт в его простых сердцах».

Страхов в истории русской критики второй половины XIX века явился единственным глубоким и тонким истолкователем «Войны и мира» Л. Н. Толстого. Сам Лев Толстой, считавший Страхова своим единственным духовным другом, сказал: «Одно из счастлих, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Н. Н. Страхов».

Страхов первым в нашей критике показал трагизм характера Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». «Базаров, – писал он, – это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою». Страхов же впервые указал на вечный смысл тургеневского романа: «Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей или не *тех* отцов и детей, каких хотелось бы другим, то *вообще* отцов и *вообще* детей, и отношения между этими двумя поколениями он изобразил превосходно» (Время. 1862. № 4).

В 1873 году Страхов поступил на должность библиотекаря юридического отдела Публичной библиотеки, в 1885 году несколько месяцев служил в комитете иностранной цензуры, в 1890-х годах он избран членом-корреспондентом

Академии наук. Страхов написал обширную биографию Достоевского для первого посмертного издания его Сочинений, подготовил Полное собрание сочинений А. Григорьева со вступительной статьёй, написал книгу «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб., 1888) и трёхтомный труд «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1882, 1883, 1886). Николай Николаевич Страхов умер в Петербурге 24 января 1896 года.

Сочинения Н. Н. Стрхова

Бедность нашей литературы. – СПб., 1869.

Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862–1885). – СПб., 1885.

Из истории нигилизма. – СПб., 1890.

Критические статьи (1861–1894). – Т. 2. – Киев, 1902.

Литературная критика / вступ. ст. Н. Н. Скатова. – М., 1984.

И. С. Тургенев. «Отцы и дети» // Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в русской критике / сост. и вступ. ст. И. Н. Сухих. – Л., 1986.

Сочинения гр. Л. Н. Толстого // Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» в русской критике / сост. и вступ. ст. И. Н. Сухих. – Л., 1989.

Литература о творчестве Н. Н. Стрхова

Гольцев В. А. Н. Н. Страхов как художественный критик / В. А. Гольцев // Гольцев В. А. О художниках и критиках / В. А. Гольцев. – М., 1899.

Радлов Э. Несколько замечаний о философии Н. Н. Стрхова / Э. Радлов. – СПб., 1900.

Розанов В. В. Литературная личность Н. Н. Стрхова / В. В. Розанов // Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития: литературно-эстетические работы разных лет / В. В. Розанов. – М., 1990.

Гуральник У. А. Н. Н. Страхов – литературный критик / У. А. Гуральник // Вопросы литературы. – 1972. – № 7.

Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» / В. С. Нечаева. – М., 1972.

Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха» / В. С. Нечаева. – М., 1975.

Чернец Л. В. Н. Н. Страхов и Д. И. Писарев о мотивах преступления Раскольникова / Л. В. Чернец // Русская словесность. – 1995. – № 1.

Николай Константинович Михайловский (1842–1904)

Н. К. Михайловский, выдающийся публицист и критик, виднейший теоретик русского народничества, родился 15 (27) ноября 1842 года в г. Мещовске Калужской губернии в обедневшей дворянской семье. Отец его рано умер, и Михайловский с ранних лет жил в Костроме вместе с младшей сестрой Елизаветой на воспитании у дальнего родственника А. И. Шипова, местного предводителя дворянства и владельца Костромских механических заводов.

Михайловский окончил Костромскую гимназию, а с 1856 года учился в Петербургском институте корпуса горных инженеров. В своих воспоминаниях он писал: «К сочинительству я чувствовал склонность с раннего детства. И в гимназии, и потом в горном институте я отличался „сочинениями“ на заданные или самостоятельно выбранные темы, каковые сочинения писал не только для себя, а и для других. Из этого выходили иногда забавные недоразумения, но расположением учителей русского языка я всегда и неизменно пользовался, несмотря на свое легкомысленное поведение. Помянем кстати добрым словом, кажется, исчезающий, если не исчезнувший тип учителя русского языка, который, благоговейя перед литературой и иногда робко тая в самом себе мечты о литературной деятельности, с особенным вниманием относился к зачаточным проблескам литературного дарования в своих учениках». Напомним, что русский язык и литературу преподавали в те годы в Костромской гимназии Александр Фёдорович Окатов и Павел Иванович Пермяков.

В мае 1862 года Михайловский принял участие в столкновении кадетов с начальством института и был исключен из последнего класса за несколько месяцев до получения звания инженер-поручика. Официальная формулировка была, однако, изменена, чтобы не закрыть путей к образованию способному юноше. В выданном свидетельстве отмечалось, что Михайловский был «поведения хорошего и обнаружил знания хорошие, очень хорошие и изрядные», а уволен «согласно просьбе брата».

Летом 1862 года Михайловский ездил в Кострому, где получил небольшое наследство, которое позволило ему открыть переплетную мастерскую в Петербурге, быстро проглотившую все его деньги. Костромские краеведы Е. В. Сапрыгина и П. Б. Корнилов отмечают, что «со второй родиной – Костромой – писатель не порывал связей до конца дней, регулярно навещал сестру и её семью в усадьбе Селище, находящейся в Заволжье, на правом берегу Волги (ныне Приречный проезд, д. 7)».

18 лет от роду Михайловский вступил на литературное поприще, в критическом отделе журнала «Рассвет», сотрудничал в изданиях «Книжный вестник», «Гласный суд», «Неделя», «Невский сборник», «Современное обозрение». Он перевёл на русский язык «Французскую демократию» Прудона (СПб., 1867).

С 1869 года Михайловский становится постоянным сотрудником журнала «Отечественные записки», а со смертью Некрасова (1877) – одним из трёх редакторов этого журнала (с Салтыковым и Елисеевым).

С начала 1890-х годов Михайловский стоит во главе журнала «Русское богатство», где ведёт ежемесячные литературные заметки под общим заглавием «Литература и жизнь».

Умер Михайловский 27 января (10 февраля) 1904 года в Петербурге.

В своих философско-социологических трудах Н. К. Михайловский наиболее глубоко разработал позитивную основу народнической идеологии. Его убеждения форми-

ровались в процессе решительной критики идей социал-дарвинизма и «теории органического прогресса» Герберта Спенсера.

Дарвинистская социология переносила законы биологического развития на общественную жизнь и утверждала, что царящая в обществе борьба за существование ведёт к естественной гибели неприспособленных индивидов и к выживанию приспособленных и сильных. Михайловский назвал такую социологию «забвением человека среди всеобщего ликования». В работе «Теория Дарвина и общественные науки» (1870–1873) Михайловский доказал, что эта мысль неверна. Сильный чаще всего является неприспособленным, а приспособленным – слабый. Активными деятелями исторического процесса являются неприспособленные индивиды.

Михайловский находил, что буржуазной идеологией проникнута не только дарвинистская социология, но и дарвинистская натурфилософия. Дарвин, по определению Михайловского, – «гениальный буржуа-натуралист». Его философия природы – сплошное мещанство: в научный принцип возводится у него отсутствие ярких индивидуальностей. «Сплочённая посредственность» губит всё, что так или иначе выходит из нормы. Выживают не одарённые, но наиболее приспособленные к среде. Торжествуют практические типы и гибнут идеальные. За всем этим Михайловский видит психологию мещанина-буржуа, так как именно мещанин умеет «приспосабливаться ко всякой обстановке, как бы она ни была узка и душна». Интересы мещанина всегда совпадают с интересами среды. «Идеальный тип, напротив, личный свой интерес укладывает не в ту или другую наличную общественную систему, а в общественный идеал, где личность свята и неприкосновенна».

Михайловский создаёт стройное мировоззрение, в основе которого лежит «цельный», «идеальный» тип личности. Дарвинистскому критерию приспособляемости к среде Михайловский противопоставляет закон русского физиолога Карла Бэра, который в своей «Истории развития

животных» (1828; 1837) считал эволюцией организма его дифференциацию, обособление и приспособление отдельных органов в нём. «Критерием совершенства живых существ» Карл Бэр признавал «степень разнородности их частей и степень разделения труда между этими частями». Такая дифференциация внутри человеческого организма приводит к всестороннему, гармоническому развитию личности.

Ошибкой Герберта Спенсера Михайловский считал механическое перенесение закона Бэра на развитие общества. Нельзя отождествлять «физиологическое разделение труда между органами» с экономическим разделением труда между индивидами. Чем экономическое разделение труда в обществе сильнее, тем физиологическое в индивидуе слабее и наоборот. Экономическое разделение труда внутри общества приводит к крайней специализации людей, в это общество входящих. Такое общество убивает личность, лишает её необходимой полноты, выражающейся в соразмерном упражнении всех способностей человека. В обществе, развивающемся по органическому типу, экономическое разделение труда торжествует, а личность деградирует. Идёт эволюция, но не осуществляется прогресс.

В работе «Что такое прогресс?» (Отечественные записки. 1869. № 2, 9, 11) Михайловский развивает своё учение о *типах* и *степенях* развития. Современный буржуазный общественный строй стоит на *высокой степени* развития, но это высокая степень *низшего типа*. Наоборот, первобытный строй находился на крайне низкой *степени развития*, зато представлял собою *высший тип*. Это же относится и к современной крестьянской общине, экономически отсталой по сравнению с формами капиталистического хозяйства, но являющей высший тип общественной организации. Задача русских интеллигентов, «критически мыслящих личностей», заключается в том, чтобы через слияние с народом перевести высокий тип общественной организации к столь же высокой степени его развития.

Вот ключевое место из работы Михайловского:

«Первобытное общество представляет в целом массу совершенно однородную. Все члены его занимаются одними и теми же сведениями, имеют одни и те же нравы и обычаи. Но каждый из них, отдельно взятый, вполне разнороден: он и охотник, и пастух, он и лодки умеет делать, и оружие, и жилище сам себе строит. Но вот происходит первое дифференцирование общества на управляющих и управляемых. Общество сделало шаг от однородности к разнородности, но входящие в его состав неделимые перешли, напротив, от разнородности к однородности. Мускульная система у одних стала развиваться в ущерб нервной системе, а у других наоборот. <...>

Цельность личности, её разнородность, полнота развития всех её сил и способностей – словом, все необходимые условия для счастья – уступили место экономической и общественной специализации, тому процессу, который превращает человека в „палец от ноги“, в колёсико бесконечно большой общественной и государственной машины». Например, в ряду поколений тульских оружейников переход от разнородности к однородности происходит следующим образом: «Предки их делали всё ружьё, и потому должны были принимать в соображение такие данные, которые совершенно не нужны и непригодны потомкам, только сверлящим стволы или делающим курки. Поэтому предки были разностороннее потомков».

Цивилизация развивается за счёт раздробления отдельного человека, уничтожения его личности. Чтобы использовать одну какую-либо его силу, один его орган, от него отнимаются другие. Так, древние спартанцы выкалывали глаза своим рабам, приставленным к ручным мельницам, чтобы эти несчастные не развлекались, а могли бы молотить и молотить без конца. Такой тип развития Михайловский не считает прогрессом, ибо он приводит к нарастающей деградации личности.

Прогресс возможен лишь на путях развития простых форм кооперации, в которых экономическое разделение

труда между индивидами заменяется физиологическим разделением труда между отдельными органами этих индивидов. Отсюда – знаменитая формула прогресса Михайловского: «прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно всё, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов».

К этому идеалу должна стремиться и наука, которая в современном обществе настолько раздробилась и специализировалась, что утратила целостный взгляд на мир. Михайловский пытается в своих работах снять это раздробление, объединить естественные науки с общественными. Свою позицию в научном мире он называет позицией «профана» (цикл «Записки профана» (Отечественные записки. 1875–1877)). «Как профаны, мы носим в себе начало свободы, независимости, неприспособленности к данной форме общества, задаток лучшего будущего, задаток успешной борьбы за индивидуальность. Поэтому, служа профанам, наука служит человечеству». Стремление преодолеть современное разделение труда в умственной сфере приводит Михайловского к оригинальной попытке синтеза науки и искусства, литературы, философии и публицистики в его цикле с характерным названием «Впережку» (Отечественные записки. 1876–1877).

Свой интеллектуальный труд Михайловский мыслит ещё и как синтез науки и религии. Под «религией» он подразумевает «...такое учение, которое связывает существующие в данное время понятия о мире с правилами личной жизни и общественной деятельности... Очевидно, что первые христиане обладали таким учением. Их понятия о прошедшем, настоящем и будущем Вселенной были самым тесным, неразрывным образом связаны с понятиями о нравственной жизни, и связь эта была такого возбуждающего

свойства, что давала им возможность действовать с полной определённой. Очевидно также, что мы такого учения не имеем; наши понятия о существующем стоят сами по себе, понятия о должнствующем существовать – тоже сами по себе, наконец, наши действия – опять сами по себе».

В основе «религии» Михайловского лежит идея «двуединой правды»: правды в смысле истины и правды в смысле справедливости. Первая объективна (наука и основанная на ней философия), вторая – субъективна (человеческие идеалы и всё, что подводится под категорию «должного»). Задача мыслителя – связать их так, чтобы они составляли одно нераздельное целое. Михайловский говорит: «Правда-истина, разлучённая с правдой-справедливостью, правда теоретического неба, отрезанная от правды практической земли, всегда оскорбляла меня. <...> И наоборот, благородная житейская практика, самые высокие нравственные и общественные идеалы представлялись мне всегда обидно-бессильными, если они отворачивались от истины, от науки».

Конечно, утверждаемый Михайловским «символ веры» был «религией» усечённой, ограниченной рамками позитивизма, лежавшего в основе убеждений демократа-семидесятника. Его представления о «правде-справедливости» обходили многие коренные вопросы религиозного мирозерцания и, в частности, основной из них – о преходящем и вечном, о смерти и бессмертии. Но с психологической точки зрения вероучение Михайловского претендовало на то, чтобы занять в душе интеллигента то место, которое прежде отводилось религии.

Об этом убедительно писал Д. Н. Овсяннико-Куликовский в своей «Истории русской интеллигенции»: «В таком синтезе *понятий о сущем и понятий о должном* Михайловский видит могущественное орудие *нравственного* оздоровления личности. Каждый мыслящий человек должен, путём изучения и размышления, стремиться к объединению своих знаний и своих моральных идей и при том так, чтобы это объединённое целое могло влиять на волю, на поведение человека. Вот именно эту *связь* идей, воздействующую

на волю, Михайловский и назвал *религией*. В этом психологическом смысле сам он был, бесспорно, натурой глубоко религиозною. <...> Он был не просто мыслитель, публицист, литературный критик, а – прежде всего – *проповедник*... И потому поколение 70-х годов видело в нём „властителя дум“, слово которого было „со властью“. К его голосу прислушивались с тем особенным вниманием и сочувствием, с каким люди, ищущие „своей веры“, прислушиваются к голосу признанного учителя-проповедника, который может научить не только *во что* веровать, но – что важнее – *как* веровать и *как* исповедовать»¹.

В идеализации общинного уклада Михайловский сходился с П. Л. Лавровым. Вслед за ним он считал также, что историю творят не народные массы, а отдельные «критически мыслящие личности». В работе «Герои и толпа» (Отечественные записки. 1882. № 1, 2) Михайловский утверждал, что народное сознание в современном обществе, изуродованном разделением труда, находится в состоянии пассивности и склонно к бессознательному подражанию. На массовую психологию «толпы» особое влияние оказывает «герой», сильная личность, способная увлечь её за собою на любое дело, как доброе, так и злое, как на подвиг, так и на преступление.

Призвание интеллигенции он видел в благотворительной опеке народного развития. Поэтому Михайловский терпимо и даже сочувственно оценивал умеренное культурничество. Он считал, что «коренные начала русской экономической жизни не требуют революции», но требуют «развития этих начал»: поддержки общины, организации различных форм кооперативного движения, поощрения кустарных промыслов, поддержки государством мелкой народной промышленности.

Видное место в творческом наследии Михайловского занимает литературная критика. Продолжая традиции «Современника», он решительно не принимал позицию

¹ Овсянко-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. – Т. 8. – СПб., 1911. – С. 174–175.

писателей школы «чистого искусства». «То, что понимается под всеми этими категориями, есть не более как замаскированное служение данному общественному строю», потому что «участие этого сорта искусства в социальной жизни ограничивается увлечением общества в безвоздушную область прекрасного, вследствие чего общество теряет возможность оценить, насколько прекрасна ближайшая к нему атмосфера» («Из литературных и журнальных заметок 1874 года»).

Столь же критически походил Михайловский к оценке уклона русских писателей к натурализму, наметившегося в эпоху 1870-х годов. «Раз человек взял в руки перо с целью живописать человеческую жизнь, он никогда анатомией и протоколами не ограничивается и ограничиться не может. Он непременно явится судьёй и проповедником, и разница между разными писателями состоит в этом отношении только в том, что для одних район явлений, подлежащих суду, и идей, нуждающихся в проповеди, шире, а для других уже. У „натуралистов“ нет нравственно-политического идеала, и они пишут протоколы и бесстрастно-анатомические трактаты» («Дневник читателя» 1887 года).

Вместе с тем, Михайловский отступает от традиций реальной критики Добролюбова, предъявляя жёсткие требования к идеологической позиции писателя. Критика Михайловского, как и всей плеяды критиков-семидесятников, более нормативна. Его интересует в первую очередь не то, что «сказалось» в произведении порою даже вопреки намерениям автора, а то, с какими намерениями автор создавал своё произведение. Акцентируя внимание на социальной позиции писателя, Михайловский нередко впадает в вульгарный социологизм. С его точки зрения, Пушкин, например, не является общенародным писателем: «Пушкин есть по преимуществу дворянский... Ни русский купец, ни русский мужик ему большой цены не дадут». «Кулацким» поэтом считает Михайловский И. С. Никитина: «Кулак, торгаш и вообще человек данной среды сидел в Никитине уже так сильно, что неопределённая проповедь добра,

красоты и истины не могла сделать в нём какую-нибудь радикальную перемену».

Михайловский оспорил добролюбовский взгляд на Тургенева как писателя, чуткого к общественным проблемам. В пристрастии Тургенева к любовной теме он не увидел ни глубины, ни серьезности – «только тешится картинками любви». Стремление Тургенева глубоко индивидуализировать своих героев, считает Михайловский, приводит к тому, что они теряют социально-типические черты. Таков, например, образ Нежданова в романе «Новь»: «Роман написан на тему современного движения в России, а между тем внимание читателя сосредоточивается главным образом на человеке, не верующем в то дело, которым он занимается, не имеющем ни политического темперамента, ни фанатической преданности своим убеждениям, ни холодной уверенности в торжестве своих идей» (Отечественные записки. 1877. № 2).

Обращаясь к Л. Н. Толстому, Михайловский оценивает в первую очередь не столько художественные произведения, сколько общественную позицию Толстого-мыслителя. Когда в 1874 году Толстой опубликовал в «Отечественных записках» статью «О народном образовании», Михайловский откликнулся на неё известной работой «Десница и шуйца Льва Толстого» (Отечественные записки. 1875. № 5, 7).

Критик принимает взгляды Толстого на современный прогресс, который «тем выгоднее для общества, чем не выгоднее для народа». Особый интерес Толстого к русскому патриархальному крестьянину Михайловский объясняет с точки зрения своей идеи о типах и степенях развития: «Лукашка и Илюшка составляют для гр. Толстого идеал не в смысле предела, его же не преjdeши, не в смысле высокой степени развития, а в смысле высокого *типа* развития, не имевшего до сих пор возможности подняться на высшую ступень». Такова, по Михайловскому, «десница» Льва Толстого.

«Шуйца» же его заключается в «фатализме», в недоверии к человеческому разуму, проявившемся, по мнению

Михайловского, в историософских страницах романа-эпопеи «Война и мир». «То вытягивается его десница, поднимается тот сильный, смелый, энергичный человек, который решился, во имя истины и справедливости, во имя интересов народа, померяться со всей историей цивилизации; то вылезает шуйца, тот слабый, нерешительный человек, который заявил о целесообразности, законности кровавого движения народов с запада на восток и обратно», объясняя это движение целями Провидения. Апелляцию Толстого к Божественной силе Михайловский объясняет комплексом дворянина, наделённого слабостью воли, лишённого энергии действия: «Мысль трусит, стремления замирают, энергия слабеет, и вся надежда возлагается на какое-то туманное целесообразное начало, которое без нас и наперекор нам устроит всё по-своему».

Отрицательное отношение Михайловского к «шуйце» Толстого нарастает в 1880-е годы, когда окончательно формируются религиозно-философские взгляды писателя, когда провозглашается идея непротивления злу насилием: «Я не понимаю этого, – говорит Михайловский. – Это какое-то колоссальное недоразумение, возможное только в такие мрачные, тусклые времена, какие переживаем мы. Пусть ломятся к вам в дом, пусть бьют отцов и детей ваших, – так надо, убийцы спасают ваших близких и кровных от вящих грехов, но горе вам, если вы сами пальцем коснётесь убийц!» («Дневник читателя» 1886 года).

Характерно полное неприятие Михайловским творчества Достоевского. В статье «Из литературных и журнальных заметок 1873 года», глава 2 (Отечественные записки. 1873. № 2), посвящённой разбору романа «Бесы», критик решительно оспаривает почвеннические взгляды писателя. Он твёрдо убеждён, что задача «критически мыслящей личности» заключается не в том, чтобы принимать народные мнения, а в том, чтобы отстаивать народные интересы, выполняя тем самым исторический долг перед народом. Не «Власы спасут нас», а мы призваны спасти Власов от того положения, в котором они ныне находятся.

Михайловский осуждает Достоевского за то, что для обличения радикальной молодёжи он избрал нечаевское дело – явную аномалию в революционном движении. Гораздо логичнее было бы искать «бесов» не в революционном, а в буржуазном мире: «Как! Россия, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, – и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира! Вы сосредоточиваете своё внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! В вашем романе нет беса национального богатства, беса, самого распространённого и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Свины, одолеваемые этим бесом, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их заметили, они составили бы украшение вашего романа. Вы не за тех бесов ухватились!»

После смерти Достоевского в статье «Жестокий талант» (Отечественные записки. 1882. № 9, 10) Михайловский не признал в писателе защитника «униженных и оскорблённых». Он вступил в полемику с Добролюбовым, отметившим гуманизм Достоевского в статье «Забитые люди» (1861). По мнению Михайловского, сочувствия к обездоленным у Достоевского никогда не было. Он всегда любил «травить овцу волком», только раньше его больше интересовала овца, потом стал больше интересоваться волк. Приписывая человеку страсть к мучительству, Достоевский сам был мучителем, ставящим своих героев в унижительные положения, которые он выбирал всегда с виртуозной изобретательностью.

Противоречиво оценивал Михайловский творчество Чехова. По сути дела, он приравнял чеховскую «беспартийность» к позиции писателя-натуралиста. В статье «Об отцах и детях и о г. Чехове» (Русские ведомости. 1890. 18 апр.) Михайловский писал: «Выбор тем г. Чехова поражает своей случайностью. Везут по железной дороге быков в столицу на убой. Г. Чехов интересуется этим и пишет рассказ под названием „Холодная кровь“, хотя даже понять трудно,

причём тут „холодная кровь“... Почту везут, по дороге тарантас встряхивает, почтальон вываливается и сердится. Это – рассказ „Почта“. Зачем он мне?.. И рядом, вдруг, „Спать хочется“, – рассказ о том, как тринадцатилетняя девочка Варька, состоящая в няньках у сапожника и не имеющая ни минуты покоя, убивает порученного ей грудного ребенка потому, что именно он мешает ей спать. И рассказывается это тем же тоном, с теми же милыми колокольчиками и бубенчиками, с тою же „холодной кровью“, как и про быков или про почту, которая выехала с одной станции и приехала на другую...»

Г. А. Бялый обратил внимание, что «эти строки Михайловского – не простое заблуждение, не элементарная неправда. Напротив, Михайловский разглядел в Чехове многое такое, чего не заметили дружественные ему позднейшие критики, поставившие Чехова по достоинству в один ряд с Тургеневым, Гоголем и Толстым, но зато и не увидевшие его своеобразного положения в этом ряду. Михайловский отметил принципиальную равноправность тем для Чехова, одинаковость тона, которым Чехов повествует о крупных и мелких несообразностях жизни, равно для Чехова неприемлемых. Только он увидел во всём этом не контуры новой художественной системы, не своеобразный максимализм Чехова, отвергающего любое нарушение жизненной „нормы“, как бы микроскопично это нарушение ни казалось на первый взгляд, – Михайловский увидел в этом проявление безыдейности, случайность жизненных наблюдений и отсутствие живого интереса к широким общественным вопросам».

Михайловский не хотел признать, что в свободе Чехова от узких общественных доктрин была не тенденциозная аполитичность, а совсем другое качество, пронизательно отмеченное В. Г. Короленко: «Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившийся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого „пересмотра“, чтобы пуститься в путь дальнейшей

борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличии большого таланта и большой искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом». Михайловский в пересмотре своей общественной доктрины не нуждался, а потому никакого преимущества в чеховской позиции не увидел.

Сочинения Н. К. Михайловского

Полное собрание сочинений. – Т. 1–8. – СПб., 1906–1909.
Последние сочинения. – Т. 1–2. – СПб., 1905.
Литературно-критические статьи. – М., 1957.

Литература о творчестве Н. К. Михайловского

Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. – 5-е изд. – Т. 1.

Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю / Г. В. Плеханов // Избранные философские произведения. – Т. 1. – М., 1956.

Горев Б. И. Н. К. Михайловский / Б. И. Горев. – М., 1931.

Кузьменков А. С. Методологические и эстетические основы литературной критики Н. К. Михайловского / А. С. Кузьменков // Уч. зап. Орехово-Зуевского пед. ин-та. – Т. 3, вып. 2. – 1956.

Бялый Г. А. Н. К. Михайловский / Г. А. Бялый // История русской критики. – Т. 2. – М.; Л., 1958.

История русской экономической мысли. – Т. 2, ч. 2. – М., 1960.

Седов М. Г. К вопросу об общественно-политических взглядах Н. К. Михайловского / М. Г. Седов // Общественное движение пореформенной России. – М., 1965.

Твардовская В. А. Н. К. Михайловский и «Народная воля» / В. А. Твардовская // Исторические записки. – Вып. 82. – М., 1968.

Хорос В. Г. Народническая идеология и марксизм (конец XIX в.) / В. Г. Хорос. – М., 1972.

Виленская Э. С. Н. К. Михайловский и его идейная роль в народническом движении 70-х – начала 80-х гг. XIX в. / Э. С. Виленская. – М., 1979.

Рак В. Д. Спор Достоевского с Н. К. Михайловским в 1875 г. / В. Д. Рак // Достоевский: Материалы и исследования. – Т. 5. – Л., 1983.

Михаил Алексеевич Протопопов (1848–1915)

Раскрыв январскую книжку «Отечественных записок» за 1877 год, читатели сразу заинтересовались статьёй «Литературная злоба дня», напечатанной рядом с «Последними песнями» Н. А. Некрасова и подписанной псевдонимом Н. Морозов. Немногие тогда знали, что её таинственного автора рекомендовал журналу сам Некрасов. Так состоялся дебют костромича Михаила Алексеевича Протопопова, решившего сменить инструменты инженера-землеустроителя на перо литературного критика. Статья была воспринята как манифест народнического социализма. Гражданская позиция критика, в котором увидели преемника Добролюбова и Писарева (так считал и сам Протопопов), снискала ему уважение.

Определим основные принципы подхода к личности Протопопова и его творчеству, чтобы соблюсти объективность оценки.

Во-первых, не следует укрупнять фигуру Протопопова: он был критиком «второго ряда», не более, но и не менее. Рискнём сказать: его устраивала роль эпигона «реальной критики». «Из всех современных критиков я более всех защищал принцип служебного, нравственно-утилитарного значения искусства», – гордо заявлял он в середине 1890-х годов. В этой роли вряд ли случайно он продержался в большой критике четверть века!

Трезво оценив свои возможности, Протопопов согласился выполнять черновую работу в библиографическом

отделе «Отечественных записок»: соперничать с уже признанными критиками Михайловским и Скабичевским не имело смысла. Но он получил свою трибуну в газете «Русская правда», читателей которой сумел заинтересовать талантливыми обзорами газет и журналов. Здесь он отточил перо критика-полемиста. Фактом возраставшей популярности критика стали приглашения в журналы «Русское богатство», «Слово», «Устой», «Дело». Уважение к Протопопову умножилось после расправы правительства с «Отечественными записками» и «Делом»: как и многие сотрудники, в 1884 году он был арестован и после полугодового заключения выслан на родину, в город Чухлому Костромской губернии. В вину была ему вменена связь с революционными народниками.

Вернувшись в 1887 году в Петербург, Протопопов сначала печатался в журнале «Северный вестник», а после разрыва с ним стал ведущим критиком «Русской мысли», где в 1890-е годы опубликовал около 50 (больше половины) своих статей. Воспоминания о Протопопове и остатки его архива свидетельствуют о том, что в лучшие свои годы он был интересным, остроумным, необходимым читателю критиком. Его уважали и противники. Например, Д. С. Мережковский, вытеснивший его из «Северного вестника», отмечал: «У Протопопова есть так называемое бойкое перо, остроумие и политический темперамент по призванию».

Во-вторых, необходимо видеть и понимать ошибки Протопопова, которые он допустил в полемической запальчивости, выступая, например, против «эстетической школы». Сегодня странными выглядят его попытки «зачеркнуть» поэзию Фета, А. Майкова, Полонского. Но ведь это было ответом на попытки дискредитировать Некрасова и поэтов «некрасовской школы»...

Протопопов владел весьма богатым арсеналом полемических приёмов, однако в ряде случаев применял и «недозволенные», например оскорбительные ярлыки, часто делая их заглавиями статей: «Кладбищенская философия» (о Н. Н. Страхове), «Пустоцвет» (об И. Ясинском),

«Жертва безвременья» (об А. П. Чехове), «Писатель-головотяп» (о В. В. Розанове).

«Ахиллесовой пятой» Протопопова стал взгляд на анализ художественного своеобразия произведения как на дело второстепенное, которым могут заниматься только «критики-эстетики», а то и вообще ненужное. Считая, вслед за Добролюбовым, что литература – «повод» для «разговора о жизни и её потребностях», Протопопов превращал литературную критику в критику «утилитарную»: «Мы всегда держались того мнения, что литературная критика есть не что иное как литературная публицистика...»

Чисто публицистические задачи в такой степени выдвигались им на первый план, что исключали эстетическую оценку разбираемого произведения, биографические сведения о писателе и т. д. По-видимому, в его статьях наиболее последовательно осуществлялась «мутация» «реальной критики» до уровня публицистики. В этом он пошёл дальше других представителей поздненароднической критики – как Михайловского, чьи статьи критиковал за наличие в них «литературной экспертизы», так и Скабичевского, которому выговаривал за попытки занять «срединную позицию» между «враждебными эстетическими теориями». Догматическая ориентация на эстетические принципы «реальной критики» и реалистического искусства середины XIX века не позволила Протопопову правильно разобраться в новой общественной и литературной ситуации конца XIX – начала XX веков и адекватно оценить творчество Чехова, Горького, Вересаева, Л. Андреева, поэтов-символистов.

В-третьих, надо учитывать, что многие качества критики Протопопова не поддаются однозначной оценке. Прежде всего, это относится к его пресловутой «прямолинейности». Неслучайно в работах и высказываниях о Протопопове это слово сопровождается уточнениями: «излишняя», «односторонняя», «ортодоксальная» и только в этом контексте приобретает отрицательный оттенок; сама же «прямолинейность» без этих «спутников» не так уж и плоха.

Сам Протопопов гордился своей «прямолинейностью», по поводу которой иронизировали как «свои», например В. Г. Короленко, так и «чужие», например неистовый противник революционно-демократической эстетики А. Волынский. Для Протопопова защита «прямолинейности» являлась частью его борьбы за сохранение «заветов» славного прошлого: «Эпоха 1860-х годов была эпохой полного, хотя и непродолжительного торжества прямолинейности. Умы и сердца были настроены по одному камертону, идеалы казались не только осуществимыми, но и близкими к осуществлению, стыд за прошлое, только что разоблачённое тяжёлым уроком истории (критик имел в виду поражение России в Крымской войне. – Б. К.), вместе с надеждой на скорое возрождение, одушевлял всех и каждого».

Он отвергал направленные против него обвинения в попытках унифицировать искусство: «Нет, я не требовал нигде и никогда от поэзии и поэтов „служения идеям и стремлениям эпохи во что бы то ни стало“, нет, я не посягал на „свободу и простор“ творчества». Но здесь же он отстаивал своё право по-разному оценивать «полёт» «синицы», то есть Фета, – и «орла» – Некрасова.

Очень важно замечание Протопопова, высказанное им по поводу эволюции взглядов В. Г. Белинского: «...изменчивость убеждений и отсутствие убеждений не одно и то же. В течение всей литературной деятельности Белинского не было ни одного момента, когда бы его можно было по праву упрекнуть в отсутствии убеждений...» Это имеет отношение и к самому Протопопову. Его невозможно уличить в беспринципности, но конкретная и изменчивая, живая литературная ситуация заставляла критика корректировать свои «постулаты». На деле «верность заветам» часто не выглядела «каменно-неподвижной».

Сошлемся на ряд примеров.

Протопопов одним из первых пробил брешь в стене отчуждения, воздвигнутой демократической общественностью вокруг имени Н. С. Лескова. Поборник «литературной злобы дня», критик считал ошибкой писателя

не только создание «антинигилистических» романов, но и само вмешательство в политическую борьбу. «Выздоровление» «больного таланта» он увидел в обращении писателя к «многочисленным моральным сказаниям, новеллам и притчам, совершенно чуждым какой бы то ни было злобы дня». Критик помог Лескову в «пересоздании репутации».

Ещё пример. Статью о П. Д. Боборыкине Протопопов назвал «Беллетрист-публицист». Кажется, «критик-публицист» должен сказать о таком писателе похвальное слово? Не будем торопиться: ожидания обмануты. Протопопов указывает, что, кроме «партийных требований», любой писатель обязан соблюдать и «чисто литературные, художественные»: 1) «уметь выбирать явления... внутренне значимые... которые отличаются типичностью»; 2) «вполне овладеть ими... понять их»; 3) «уметь координировать явления, т. е. соотносить их к... общему принципу». При этом два последних требования «предъявляются одинаково и со стороны литературного утилитаризма, и со стороны чистой эстетике». Что же Боборыкин? Оказывается, лишь «первому требованию г. Боборыкин удовлетворяет лучше, нежели двум остальным. У него есть то чутьё жизни, которое позволяет писателю многое верно угадывать... г. Боборыкин всегда *au courant*¹ жизни». Но в «погоне за самыми животрепещущими общественными темами г. Боборыкину, разумеется, совсем не до того, чтобы „вынашивать“ свои образы. Второе основное требование, поставленное нами выше, слишком стеснительно для г. Боборыкина...». Главная же беда Боборыкина, по мнению критика, заключается в том, что «массу живых фактов... ему нечем мерить, не к чему соотносить, за отсутствием какого-нибудь общего принципа». Эти два примера говорят о гибкости критика, умении его почувствовать индивидуальность писателя, увидеть достоинства и недостатки его творчества.

Ко многим писателям отношение Протопопова оставалось неизменным, порой несправедливым. Однако он умел и признать свои ошибки, если этого требовала

¹ в курсе (*фр.*)

объективность, особенно в случае явных изменений в творческой эволюции писателей и поэтов. Например, он иначе стал оценивать поэзию Полонского: «Г. Полонский не только не чуждается, но разыскивает веяния и течения общественной жизни, тогда как... Фет, в качестве поэта... не тревожился никакими вопросами и знать ничего не хотел, кроме соловья и розы». Считая объединение в одну группу А. Майкова, Фета и Полонского «ошибкой», он признался: «К сожалению, тут и моего капля яда есть...»

Критик-публицист мог предложить оппонентам мир на определённых условиях: «В старом споре эстетиков с утилитаристами пора бы уж окончательно разобраться... остановиться на каком-нибудь обоюднo-безобидном решении... Усердные жрецы эстетики (Григорьев, Страхов и проч.) пишут неэстетично, некрасиво; разрушители эстетики (Писарев, Добролюбов) пишут так, что некоторые их страницы представляют собою настоящие „стихотворения в прозе“. Собственно говоря, что же можно сказать против красоты как явления и против эстетики как учения о красоте? Красота сама по себе отнюдь не зло, а несомненное благо, но благо второстепенное, имеющее только служебное значение. Вот в этой-то последней оговорке, в этом большом-то и заключается центр... спора между утилитаристами и эстетиками...»

В-четвертых, Протопопов в среде литературного родничества выглядит как критик парадоксальный и оригинальный в силу этой парадоксальности. Суть её определил он сам таким образом: «Никто, кажется, не обнаружил столько усердия в борьбе с нашим народничеством, сколько я...» Эта борьба выразилась в его многочисленных статьях о писателях-народниках в форме протеста против «обсахаривания», идеализации народа и «принижения» интеллигенции, которой он отводил роль «сеятеля разумного, доброго, вечного», то есть «просветителя» масс. На наш взгляд, это «антинародничество» критика объясняется именно его связями с «заветами» революционных просветителей 1860-х годов. Но как «семидесятник», Протопопов не мог избежать влияния на-

роднической идеологии, и его колоритная фигура лишней раз свидетельствует о многоликости русского народничества. Через «очки» поздненароднической критики он рассматривал творчество многих писателей.

Например, Протопопов пристроился к сонму критиков, много писавших о «безыдейности» Чехова, «нищестеанстве» Горького. Заметим, однако, что ошибочные концепции не мешали критику сказать много верного об этих писателях и сказать раньше других – о нравственном противостоянии Чехова «лжи жизни», об «идейном лиризме» Горького и «священном безумии» его героев, их «пропадающих силах».

Как народник, Протопопов встал в ряды противников марксизма, обвинив его в стремлении «выварить русский народ в фабричном котле».

В начале 1900-х годов Протопопов расстался с большой критикой по ряду причин. Новое в литературном процессе для него (да и только ли для него!) становилось всё более непонятным, и ведущие журналы отказались от его услуг. Наступала нищета, к которой прибавилось одиночество. Поля двух сборников своих статей он покрыл записями отчаявшегося человека. Вот одна из них: «Ожесточение – вот я. Говорю и записываю: будь проклят день и час моего рождения! А мой талант – трижды будь проклят!!! Ах, зачем я не чиновник, не купец, не поп и пр.! 30 сентября, суббота 1900». Ровно через 8 лет: «30 сентября 1908. Муки мои идут, но не проходят. Будет ли конец? Смерть на носу, но всё ещё как-то надеюсь...» «Последний из могикан» «публицистической критики» умер в одной из петроградских психиатрических лечебниц в 1915 году. Авторы некрологов, посмертных статей и воспоминаний воздали должное его таланту и тому вкладу, который он внёс в историю русской критики.

Сочинения М. А. Протопопова

Литературно-критические характеристики. – СПб., 1896;
2-е изд. – СПб., 1898.

Критические статьи. – М., 1903.

Литература о творчестве М. А. Протопопова

Гиппиус З. Н. Г. Протопопов и красота. Краткое возражение на длинную статью / Зинаида Гиппиус // Собр. соч. – Т. 7: Мы и они. Литературный дневник. Публицистика 1899–1916 гг. – М., 2003.

Бельчиков Н. Ф. М. А. Протопопов / Н. Ф. Бельчиков // Народничество в литературе и критике. – М., 1934.

Рекомендации по работе с материалом учебного пособия

Подготовьте по вариантам сообщения о каждом из представленных в данном разделе критиков по плану:

- 1) основные факты биографии;
- 2) эстетическая позиция, принадлежность к одному из литературно-критических направлений;
- 3) пример 1–2 статей, в которых ярко выразились взгляды автора на современную литературу;
- 4) значение литературной деятельности критика.

Задания для самостоятельной работы

Проанализируйте одну из критических статей, посвященную писателям-классикам второй половины XIX века. Покажите, как в ней выразилась позиция критика, его связь с тем или иным идейным движением. Определите, какие приемы полемики характерны для данного автора, дайте им оценку. Считаете ли вы возможным применение подобных приемов в современной литературной критике?

Темы докладов, рефератов, исследовательских работ

1. Н. Н. Страхов как публицист и литературный критик.
2. Достоевский и Страхов о «польском вопросе».
3. Poleмика В. А. Зайцева и Н. Н. Страхова о поэзии Некрасова.

4. А. Ф. Писемский в оценке критиков-земляков.
5. Н. К. Михайловский – мыслитель и литературный критик.
6. «Прямолинейность» как творческий прием в статьях М. А. Протопопова.

Задания для организации проектной деятельности

Подготовьте проект хрестоматии «Литературные критики-костромичи во второй половине XIX в.» Напишите краткие биографические справки о В. А. Зайцеве, Н. Н. Страхове, Н. К. Михайловском, М. А. Протопопове; выберите наиболее яркие статьи критиков для включения в хрестоматию, при необходимости сделайте сокращения в текстах статей. Подготовьте сжатый историко-литературный комментарий к каждой статье: в связи с чем она была написана, где и когда впервые опубликована, какое место занимает в творчестве автора, как была воспринята современниками. Разработайте макет хрестоматии в рукописном или электронном варианте.

З а к л ю ч е н и е

Писатель и философ начала XX века Василий Васильевич Розанов в книге «Опавшие листья» с горечью вспоминал: «Я учился в Костромской гимназии, и в 1-м классе мы учили: „Я человек, хотя и маленький, но у меня 32 зуба и 24 ребра“. Потом – позвонки.

Только доучившись до VI класса, я бы узнал, что „был Сусанин“, какие-то стихи о котором мы (дома и на улице) распевали ещё до поступления в гимназию:

...не видно ни зги!

...вскричали враги.

И сердце замирало от восторга о Сусанине, умирающем среди поляков.

Но до VI класса (т. е. в Костроме) я не доучился. И очень многие гимназисты до VI класса не доходят: все они знают, что у человека „32 позвонка“, и не знают, как Сусанин спас царскую семью.

Потом Симбирская гимназия (II и III классы) – и я не знал ничего о Симбирске, о Волге (только учили – „3 600 верст“, да и это в IV классе). Не знал, куда и как протекает прелестная местная речка, любимица горожан – Свияга.

Потом Нижегородская гимназия. Там мне ставили двойки по латыни, и я увлекался Боклем! Даже странно было бы сравнивать „Минина и Пожарского“ с Боклем: Бокль был подобен „по гордости и славе“ с Вавилоном, а те, свои князья, – скучные мещане „нашего закоулка“.

Я до тошноты ненавидел „Минина и Пожарского“, – и, собственно, за то, что они не написали никакой великой книги вроде „Истории цивилизации в Англии“.

Потом университет. „У них была реформация, а у нас нечёсанный поп Аввакум“. Там – римляне, у русских же – Чичиковы.

Как не взять бомбу: как не примкнуть к партии „ни-спровержения существующего строя“».

«У нас слово „отечество“ узнаётся одновременно со словом „проклятие“... И все „жалят“ Россию. „Как бы и куда ей запустить яда“.

Дивиться ли, что она взбесилась.

Жалит её немец. Жалит её еврей. Жалит армянин, литовец. Разворачивая челюсти, лезет с насмешкой хохол.

И в середине всех, распоясавшись, „сам русский“ ступил сапожищем в лицо бабушки-Родины».

Причины этого очевидны. «В основе всё просто, – говорит Розанов. – Учась в Симбирске, – ничего о Свяиге, о городе, о родных (тамошних) поэтах – Аксаковых, Карамзине, Языкове; о Волге – там уже прекрасной и великой.

Учась в Костроме – не знал, что это имя – ещё имя языческой богини; ничего – о Ипатьевском монастыре. О чудотворном образе (местной) Феодоровской Божией Матери – ничего.

Учась в Нижнем – ничего о „Новгороде низовые земли“, о „Макарии, откуда ярмарка“, об Унже (река) и её старовегах».

В «Письмах о добром и прекрасном» Д. С. Лихачев говорил, что «воспитание любви к родному краю, к родной природе, к родному селу» начинается в детстве на просторах малой родины. «Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к её истории, её прошлому и настоящему». И огромную роль в этом играет родная литература, глубинными корнями своими связанная с провинциальной Россией.

На исходе XIX века русский поэт и философ В. С. Соловьев заметил, что наша литература выростала не на гранитных набережных Петербурга, не на Красной площади в Москве, –

А там, среди берёз и сосен неизменных,
Что в сумраке земном на небеса глядят,

Где праотцы села в гробах уединенных,
Крестами венчаны, сном утомлённым спят, –
Там на закате дня, осеннею порою,
Она, волшебница, явилась на свет,
И принял лес её опавшею листвою,
И тихо шелестил печальный свой привет...

Там, в глубине России, в тишине деревень, усадеб,
уездных городков, наша литература напитывалась живой
водой народной речи, просвечивалась лучами вечной на-
родной правды.

Приложение

Из истории Костромской гимназии

1840–50-е годы – золотое двадцатилетие в истории Костромской гимназии. 8 декабря 1828 года в России был введён новый гимназический устав, по которому четырёхлетнее образование заменялось семилетним. Первые три года все гимназии имели одни и те же предметы, а начиная с 4-го класса они разделялись на гимназии с греческим языком и без него. В Костромской гимназии греческий язык не изучался, поэтому её выпускники, проявлявшие писательский талант, испытывали особые трудности при поступлении на филологические факультеты, где приходилось по этому предмету сдавать обязательный экзамен. Многие из костромских выпускников, будущих писателей, волей-неволей вынуждены были получать математическое или медицинское образование. И тем не менее, из Костромской губернской гимназии тех лет вышли в свет писатели, оставившие заметный след в истории отечественной литературы XIX века.

По новому уставу в помощь директору гимназии, Порфирию Ивановичу Величковскому, назначался инспектор из числа старших учителей для наблюдения за порядком в классах и ведением хозяйства в пансионах. Должность инспектора в Костромской гимназии долгое время занимал Г. К. Виноградов. Нил Петрович Колюпанов¹, окончивший

¹ Колюпанов Нил Петрович (1827–1894) – публицист, историк литературно-общественной мысли, мемуарист, сын видного костромского губернского чиновника, друга П. А. Катенина. В 1850 году окончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата. Занимался историей славянофильства, написав «Биографию А. И. Кошелева». Мемуары Колюпанова «Из прошлого», опубликованные в «Русском обозрении» (1895. № 1–6), содержат богатые сведения о жизни Костромы, писателях-костромичах. Его перу принадлежит также «Очерк истории русского театра до 1812 года» («Русская мысль». 1889. № 5, 7, 8). Он прославился как выдающийся знаток крестьянского дела и автор многочисленных работ по крестьянскому вопросу и земскому самоуправлению.

Костромскую гимназию в 1844 году, писал в автобиографии «Из прошлого»: «Инспектор, по закону, занимал место почему-либо не явившегося в класс преподавателя. Гавриил Киприянович Виноградов в старших классах не продолжал преподавание замещаемого им учителя, но занимал воспитанников какую-нибудь серьёзной и интересной беседой. Я ещё теперь помню, как раз в шестом классе Гаврило Киприянович принёс с собою рисунки Флаксмана к „Божественной комедии“ Данте и объяснял значение Данте и содержание его произведения. Беседа эта была так интересна, что, по окончании класса, ученики окружили инспектора и просили дозволения собраться в неурочное время, чтобы дослушать заинтересовавший всех рассказ».

Инспектору гимназии помогал надзиратель Николай Алексеевич Никольский. В его обязанности входило наблюдение за поведением и прилежанием вольноприходящих учеников. Власти гимназии строго следили за выбором квартир для таких учеников. Требовали, чтобы они определялись к какому-нибудь учителю. Так, поступивший в октябре 1842 года в первый класс гимназии Сергей Максимов до перехода в 1843 году в пансион жил на квартире у учителя Костромского уездного училища Ивана Матвеевича Богословского. Директор гимназии поощрял повышением жалования тех учителей, которые брали к себе гимназистов. Надзиратель имел список всех вольноприходящих учеников с указанием места их жительства. Он был обязан как можно чаще навещать их, чтобы выяснить:

- не имеют ли хозяева дурного влияния на учеников;
- находятся ли ученики в условиях, приличных благородным детям;
- что думают хозяева о поведении гимназистов: каков круг их знакомств, как часто они отлучаются без нужды из дому.

В учебные дни надзиратель гимназии находился при сборе учеников, на переменах и при роспуске. Он следил за формой, опрятностью, чистотой, за приличием во взаимном общении учащихся. Надзиратель выяснял причину

отсутствия учеников на занятиях, требуя уведомления от родителей или хозяев. При болезни гимназистов он периодически справлялся о состоянии их здоровья. В воскресные дни он наблюдал за поведением учеников в церкви. На увеселительных собраниях – театрах, маскарадах, балах – надзиратель проверял, находятся ли ученики с родителями, есть ли у них письменное разрешение инспектора.

По новому уставу учреждалось также звание почётного попечителя для общего с директором надзора за гимназией. В Костроме таким попечителем был избран А. А. Лопухин.

Учителя гимназии при вступлении в должность давали клятвенное обещание, которое принимал законоучитель в присутствии директора, инспектора и старших учителей. Примером может служить «присяжный лист» П. И. Пермякова при вступлении его в должность младшего учителя русского языка и географии Костромской губернской гимназии, зачитанный им 3 августа 1843 года и напоминающий древнерусское «плетение словес»:

«Я, нижепоименованный, обещаю и клянусь Всемогущим Богом перед Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемиловитейшему Великому государю императору Николаю Павловичу, Самодержцу Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского престола наследнику, Его Императорскому Высочеству Царевичу и Великому князю Александру Николаевичу, верно и нелицемерно служить и во всём повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и все к высокому Его Императорского Величества Самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять, и притом, по крайней мере, стараться споспешествовать всё, что к Его Императорского Величества верной службе и пользе Государственной во всяких случаях касаться может. О ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро в том уведу, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами

отвращать и не допускать тщаться, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне чин, как по сей (генеральной, так и особой) определённой и от времени до времени Его Императорского Величества именем от предустановленных надо мною начальников определяемым инструкциям, и регламентам, и указам надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать, и таким образом себя вести и поступать, как верному Его Императорского Величества подданному благопристойно есть и надлежит, и как я перед Богом и Судом Его Страшным в том всегда ответ дать могу, как суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь.

По сему присяжному листу присягал младший учитель Костромской губернской гимназии Павел Пермяков.

К присяге приводил Законоучитель священник Василий Малиновский.

При присяге находился директор Величковский

Инспектор Виноградов

Старшие учителя: Ал. Окатов

С. Шереметевский».

В конце 1837 года при гимназии был утверждён благородный пансион. В официальном документе Костромского дворянского собрания на этот счёт значилось: «Принимая в уведомление, что в здешней губернии, как собранию известно, находится много дворян до того бедных, что детям своим они вовсе не в состоянии передать самых первоначальных сведений, дворянство признаёт необходимым принимать таких детей в благородный пансион, где и учредить для них приуготовительный класс на счёт экономических сумм пансиона».

Министр внутренних дел утвердил решение Дворянского собрания в конце 1837 года. Но возникла проблема с помещением. Начатое при гимназии строительство затянулось, и конца ему не было видно. Тогда в 1838 году

попечитель гимназии А. А. Лопухин отдал на неограниченное время для пансиона свой дом на Ивановской улице, недалеко от гимназии. Экономом пансиона был назначен поручик И. Я. Заболоцкий, комнатным надзирателем – О. Е. Сирициус, врачом – М. С. Ходорович. Закуплены железные кровати, тюфяки, пуховые подушки, медные умывальники. Для каждого воспитанника пансиона в течение года поставлялось по три пары сшитых чисто и прочно сапог. Обувь поставлял в пансион костромской сапожный мастер Александр Петрович Корягин. Выдавалась пансионеру шинель с курткой и брюками. Форму на каждого пансионера шил цеховой мастер портных дел, дворовый человек госпожи В. П. Налётовой Гермоген Николаевич Соколов. Учителем танцев при благородном пансионе был «искусный и усердный в этом деле» Адольф Мейер. Были заказаны сальные свечи и ламповое масло на 11 ламп. Были изготовлены столы и скамейки. За каждым столом помещалось 8 человек и 4 чернильницы.

В августе 1838 года было объявлено о приёме. По рассмотрении поступивших документов была объявлена баллотировка. В назначенный губернским предводителем дворянства день в губернской гимназии, в присутствии почётного попечителя, директора училищ, родителей именна претендентов, написанные на одинаковых бумажках, свёртывались в трубочку и клались в специальный сосуд. Один из присутствовавших детей доставал трубочки из сосуда. Имена зачитывались и вносились в протокол. Число избираемых было объявлено заранее. Из числа трубочек, оставшихся в урне, вынимали ещё пять. Записанные на них имена ставились в очередь. Остальные проходили баллотировку в следующем году ещё один раз.

1 января 1839 года пансион был открыт. Подготовительного класса не потребовалось: все дети сдали вступительный экзамен и были зачислены в 1-й класс гимназии.

Воспитанники накануне воскресения и праздничных дней присутствовали при служении всенощных в помещении пансиона. В самые праздничные дни – на литургии

в смежной с гимназией приходской церкви Всех Святых. А в высокочтоужественные дни они молились на литургии в соборе.

На 1 января 1847 года в благородном пансионе было 30 воспитанников, находящихся на полном обеспечении за счёт суммы, отпускаемой костромским дворянством; 7 пансионеров на счёт Государственного казначейства; 1 пансионер Его Высочества Государя Наследника; 1 частный пансионер; 10 полупансионеров¹ за счёт суммы, отпускаемой костромским дворянством. Итого 49 человек, из которых 39 были на полном содержании. Пансион обслуживали:

штатный комнатный надзиратель,
два комнатных надзирателя,
врач,
учитель пения,
учитель танцев,
эконом,
кастелянша,
швейцар,
повар,
хлебопека,
два служителя для чёрной работы,
буфетчик,
четыре служителя при воспитанниках,
фельдшер при лазарете.

Таким образом, обслуга пансиона состояла из 19 человек.

Экзамены в гимназии проходили, как правило, с 22 мая по 24 июня ежедневно, кроме праздников, среды и субботы, в свободное от уроков послеобеденное время с 17 часов. По основным предметам курса экзамен проходил несколько дней. Экзамен по истории длился, например, 4 дня: 22 мая – древняя история, 23 мая – история средних веков, 25 мая – новая история, 26 мая – русская история.

¹ Полупансионеры обеспечивались одеждою, обувью и бельём за счёт родителей.

По русскому языку и словесности экзамен растягивался на 3 дня: 15 июня – грамматика славянская, русская и логика, 16 июня – риторика и упражнение в сочинении, 19 июня – пиитика и история литературы.

В гимназии существовала пятибалльная система оценок со следующими характеристиками:

- 5 – отличные успехи;
- 4 – хорошие;
- 3 – достаточные;
- 2 – посредственные;
- 1 – слабые.

Для возбуждения соревнования к учению имена отличившихся успехами и поведением гимназистов записывались на голубых досках. В конце каждого месяца родителям рассылались печатные свидетельства об успехах учеников. Нерадивые из них вызывались на педсоветы. Применялись телесные наказания розгами. Причём наказания учеников первых трёх классов не должны были превышать десяти ударов, «чтобы не ожесточить ребёнка». При телесном наказании был обязан присутствовать директор гимназии или её инспектор.

В 1835 году попечителем Московского учебного округа был назначен граф Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882). Время его управления (1835–1847) было блестящей эпохой в истории русского просвещения. Он много сделал для улучшения университетского и гимназического преподавания. В своих воспоминаниях о студенческих годах Б. Н. Чичерин писал о Строганове так: «При нём университет весь обновился свежими силами. Всё старое, запоздавшее, рутинное устранялось. Главное внимание просвещённого попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры были замещены людьми со знанием и талантом. Он отыскивал их всюду, и в Москве, и в Петербурге, куда он сам ездил с целью приобрести для университета подававших надежды молодых людей. Он послал Грановского за границу, а Евгения Корша перевёл библиотекарем в Москву. При нём вернулись из Германии посланные уже прежде Редкин,

Крылов, Крюков, Иноземцев, а затем постепенно вступили на кафедры Кавелин, Соловьёв, Кудрявцев, Леонтьев, Буслаяв, Катков».

Костромская гимназия подвергалась тогда периодическим проверкам. Так, в декабре 1845 года в течение трёх дней её ревизовал сам попечитель, С. Г. Строганов, который вошёл во все подробности учебного процесса и содержания воспитанников пансиона. Попечитель остался очень доволен, высказав благодарность директору гимназии, инспектору и учителям. В результате этой ревизии вышел следующий указ: «По представлению г. попечителя Московского учебного округа г. министр народного просвещения разрешает Костромской гимназии пользоваться преимуществом, предоставленным прежде сего некоторым гимназиям Московского учебного округа, по которому оканчивающие курс с отличными успехами принимаются в университет студентами, не подвергаясь вторичному испытанию».

Н. П. Колюпанов вспоминал в 1893 году: «Блестящее положение Московского университета во время попечительства графа Строганова отражалось и на гимназиях той эпохи: они стояли далеко выше теперешних. Это, между прочим, объясняется тем, что звание учителя в то время было привилегированное: учитель гимназии получал высший оклад¹ сравнительно с другими членами губернской администрации и приобретал гораздо ранее право на высший пенсионный оклад. Оттого в учителя гимназии шли охотно люди самые способные, тем более что для исполнения учительского штата при Московском университете учреждены были казённые стипендии...» В результате педагогические коллективы гимназий пополнились тогда одарёнными молодými педагогами из разночинцев, получивших образование на казённый счёт.

К их числу принадлежал в Костроме учитель математики Никита Павлович Самойлович, ученик выдающегося

¹ Зарплата учителей гимназии при Строганове была повышена в 2,5 раза.

математика и астронома Д. М. Перевощикова. Н. П. Колупанов вспоминал: «...он усвоил ясный и художественно последовательный способ преподавания своего учителя. Ни один из учителей не способствовал столько развитию самобытности и строгой логики в ученике: Самойловича нельзя было подкупить никакой зубрёжкой, и он гораздо более ценил ответ не совсем удачный, но отличавший работу головы, нежели беглый и верный, но усвоенный одною памятью. Самойлович ещё в то время был убеждённый и ярый демократ, он снисходительно и покровительственно относился к воспитанникам из разночинцев, а всю строгость и придирчивость, иногда даже до несправедливости, распространял на сыновей местной аристократии. Бывало, вызовет кого-нибудь из последних и после неудовлетворительного ответа обращается к лучшему воспитаннику из разночинцев: „Вот, ваше превосходительство или ваше сиятельство, как там вас величают, – говорил он аристократу, – вы ведь в карете приехали, а он пешком пришёл, а куда вам до него! Вы-с попросите, чтобы он вас подучил-с, ведь урок-то выучить-с, это не то, что конфеты кушать или ножкой шаркнуть“. Этот демократизм учителя остался не без последствий и сильно сбавил аристократические замашки у тех, кто приносил их с собою в гимназию».

Не исключено, что, создавая в романе «Крушинский» (1855) тип гордого и умного разночинца, своеобразного предтечи тургеневского Базарова, А. А. Потехин держал в уме образ своего гимназического учителя Самойловича. Влюблённый в девушку из дворян полковой лекарь Крушинский говорит: «О, я докажу им, твоим родителям, что достоинство и величие человека не в богатстве и не в происхождении, а в том, что он человек в полном смысле слова, в его нравственном могуществе».

Из разночинцев вышел и молодой учитель Павел Иванович Пермяков. Он родился в 1820 году в Костроме в мещанской семье, в 1839 году окончил Костромскую гимназию и поступил на словесное отделение философского факультета Московского университета казённокоштным

студентом. В июне 1843 года Пермяков окончил университет со званием Действительного студента и определён младшим учителем русского языка и географии в Костромскую гимназию.

Географию он преподавал по-новому. Вслед за немецкими географами и натурфилософами Гумбольдтом и Риттером, Пермяков видел в земной поверхности нечто одушевлённое, а в отдельных континентах – живые организмы с присущими каждому характерными признаками и качествами. Так, на одном из торжественных актов его ученик Павел Божков прочёл рассуждение «О влиянии географических условий на развитие народов применительно к отечественной истории». А на торжественном акте 30 августа 1846 года сам Пермяков произнёс речь «О современном значении географии как науки».

С географическими особенностями страны П. И. Пермяков связывал своеобразие национального характера, скептически оценивая старую географическую науку, в которой ничего нет, кроме перечисления рек и гор, сёл и городов, фабрик и заводов. Он рекомендовал ученикам изучать географию не только по научным трудам, но и по красочным описаниям путешественников. Поклонник Белинского, он любил цитировать известный его призыв к русским писателям: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, Остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь, – всё это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам, и по наречиям, и по нравам и обычаям, и, особенно, по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему! Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя – от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым – всё равно, что переезды из одного мира в другой».

Старшим учителем русской словесности и логики был в эти годы Александр Фёдорович Окатов. В 1833 году он поступил на словесный факультет Московского университета. Здесь он учился вместе с И. С. Тургеневым, К. С. Аксаковым, О. М. Бодянским, С. М. Строевым и др. В «Учёных записках» университета того времени был опубликован труд А. Ф. Окатова «О синтетическом и аналитическом методе познания», получивший золотую медаль. Этот труд вошёл в книгу его учителя, профессора И. И. Давыдова «Чтения о словесности» (М., 1837), которую Окатов, окончив университет кандидатом, использовал на уроках в гимназии. Окатов знакомил учащихся с только что вышедшей в свет «Историей поэзии» С. П. Шевырёва (М., 1835), а когда появился Белинский, одним из первых указал на него гимназистам.

В августе 1844 года А. Ф. Окатов обратился к директору гимназии П. И. Величковскому со следующим прошением: «Постоянно следя за современным ходом науки об отечественном слове, я в настоящее время остановил своё особенное внимание на изучении славянских наречий; с этой целью я выписал некоторые руководства, относящиеся к славянскому языкознанию; но одни мёртвые пособия не в состоянии ответить тем требованиям, какие необходимо выполнить для основательного знания славянской филологии и отечественных древностей. А потому для достижения этой цели я почёл бы необходимым личное и, так сказать, живое знакомство с преподаванием славянских наречий в Императорском Московском университете профессором О. М. Бодянским. С другой стороны, я бы желал личным образом познакомиться и с методами преподавания отечественного языка и словесности в московских гимназиях, особенно с методикою г. Буслаева. Думаю, что наглядность и самые приёмы, допускаемые сим последним в деле преподавания, были бы практической стороною того внимательного чтения, какое я посвятил его книге „О преподавании отечественного языка“¹».

¹ Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка: в 2 ч. – М.: Университет. тип., 1844.

А. Ф. Окатов был знаком с Фёдором Ивановичем Буслаевым ещё по Московскому университету. Они вместе учились на словесном отделении, только Буслаев шёл годом моложе. Окатов просит 28-дневный отпуск. Попечитель Московского учебного округа утверждает его. Окатов едет в Москву и знакомится с методикой Буслаева, посещая проводимые им уроки русского языка и словесности в 3-й Московской гимназии.

С этого времени русский язык и словесность изучаются в Костроме по Буслаеву. Директор гимназии постоянно на этом настаивает, советуя устранять сухое заучивание грамматики наизусть. В 1845 году на публичном акте Окатов произносит речь «О содействии современного способа преподавания отечественного языка и словесности развитию душевных сил вообще и в особенности нравственного чувства питомцев гимназии».

Буслаев различал два способа изучения языков: филологический и лингвистический. При филологическом изучении в грамматике видят искусство правильно писать и говорить. Педагог ограничивается книжной речью и не обращает внимания на живой народный язык, считает его неправильным, грубым, недостойным науки. Лингвистический способ, напротив, видит язык в полноте его движения и формирования. Он заставляет педагога развивать и упражнять творческие способности учащихся. Изучается не только литературный, но и народный язык, включая его диалекты. А в старших классах изучение грамматики превращается в науку, опирающуюся на сравнительное историческое языкознание, на чтение церковнославянской, древнерусской и новой литературы.

Вслед за Буслаевым Окатов и Пермяков показывали, что язык отражает историю народа, является ценным источником для изучения народной жизни. Через язык осуществляется знакомство с религиозным, семейным, воинским бытом наших предков. Изучая язык, педагоги знакомили гимназистов с мифологией, языческой поэзией, христианской символикой, народной мудростью. Изучение

языка открывало окно в историческое развитие народа. Более того, обнажалась глубинная индоевропейская основа русского языка. Показывались общие корни его с немецким, французским и английским языками. Открывалось духовное родство этих народов между собою, так как все они вышли из одной колыбели.

Пермяков и Окатов доказывали, что чем древнее формы языка, тем они богаче, полнее, гибче, одушевлённые. Язык древних памятников превосходит современную речь своей изобразительностью. По мере исторического развития эта образная сила теряется. Язык, как медный пятак, начинает стираться от долгого употребления. Обращение к истории языка возвращает ощущение его образной силы. С этой точки зрения, областные наречия, диалекты – клад: в них отражается древний период жизни языка. Они сохранили в большей чистоте и первозданности его образный строй, его свежесть, его художественную энергию.

Такое изучение языка, столь непохожее на современное, принятое в наших школах, казалось, было специально направлено на воспитание и выращивание мастеров слова, писателей и поэтов. Думается, что демократизм, интерес к живому народному языку и крестьянскому быту у Писемского и Чаева, у Потехина и Максимова проснулись именно в Костромской гимназии под влиянием её педагогов. Язык здесь изучался не как мёртвый свод грамматических правил и форм. В языке, в слове учили видеть художественный образ, вобравший в себя многовековые наблюдения народа над самим собой и окружающим миром. В слове видели кладовую исторической памяти. Язык рассматривался как плод тысячелетнего творчества народа, как художественная летопись народного духа, в которой запечатлелись в поэтических образах народные представления о божестве, мире и человеке.

До Буслаева древнерусская литература рассматривалась исключительно в церковном ключе, враждебном языковой почве, языческой старине. Древнерусскую литературу считали принадлежностью высших классов общества. В ней

видели течение, несущееся поверх народной жизни. Сама же народная жизнь была этому течению чужда и хранила в фольклоре первозданные языческие элементы. Отсюда возник очень устойчивый, доживший до наших времён миф о русском «двоеверии», согласно которому христианство не охватило в России народную жизнь, а сохранилось в качестве верхушечной надстройки над нею.

Но, когда Буслаев погрузился в поэтическую стихию древнерусского языка, которым были написаны многочисленные произведения, включая жития святых, он обнаружил в этом языке мотивы и образы чисто народного происхождения. Открылось большое влияние народных поверий, мифов, понятий и обычаев на древнерусскую письменность. Оказалось, что христианское течение, шедшее как будто бы поверх старой, дохристианской русской жизни, в действительности не было с ней разобщено. Более того, оно питалось языческими излучениями, не уничтожая, не погашая, а одухотворяя и христиански просветляя их. Была восстановлена связь древнерусской письменности с глубинной народной культурой, с русским фольклором.

Буслаев помирил древнерусскую письменность с устным творчеством народа. Он показал, что языческая первооснова языка оплодотворялась и одухотворялась духовной энергией христианской веры. По словам замечательного русского историка В. О. Ключевского, Буслаев соединил древнерусскую литературу и фольклор «в единый, цельный, неисчерпаемый источник русской народной жизни, мысли и художественной фантазии».

Костромские гимназисты под руководством опытных наставников изучали не русский язык сам по себе и не литературу саму по себе, как это принято в наших школах. Они изучали *словесность*, в которой история литературы была живым продолжением истории языка.

И так было не только на уроках по русской словесности. Французский и немецкий языки, обязательные в классической гимназии, тоже изучались в историческом освещении. Рассматривалась их древняя образная первооснова,

её эволюция, жизнь во времени. От истории языка органически переходили к истории литературы – немецкой и французской. Современной специализации, где язык и литература народа оторваны друг от друга и изучаются порознь, в классической гимназии не было.

Воскрешали и «мёртвую латынь». В 1840 году из Московского университета прибыл в Костромскую гимназию молодой учитель латинского языка Семён Александрович Шереметевский. Н. П. Колюпанов вспоминал: этот учитель «...сумел оживить свой мёртвый предмет рассказами из римской истории, объяснением литературного и исторического значения классических произведений ознакомлением со всем строем римской жизни. „Сенечка – золотое семечко“, – так мы его называли с детски-наивной признательностью. Нравственно чистый, скромный до застенчивости, для всех равно доступный, приветливый, беззаветно преданный своему делу, С. А. Шереметевский из аудитории известного профессора римской словесности Д. Л. Крюкова вынес основательное и живое знание не только римского языка и литературы, но всего строя римской жизни. <...> Мы познакомились не только с государственным устройством римской республики и с судебными её установлениями, но со значением театра, с положением актёра в древнем Риме. Перешли мы в шестой класс с Овидиевыми „Метаморфозами“, и картина переменялась. Комментарии обратились в целый курс сравнительной греческой и римской мифологии. И после этого говорят, что обучение латинскому языку только притупляет способности: как это неверно! Я по два, по три раза в неделю просиживал у Семёна Александровича долгие вечера с 6 до 11 часов; со мной часто посещал его мой сверстник-товарищ М. Ф. Окатов, брат учителя. И чего только не было переговорено в это время: классическая и русская литература, университетская жизнь, аудитории, театр, сборища в Британии, вечера казённых студентов... Благодаря Семёну Александровичу университет представлялся мне не чем-то страшным и неизвестным, а светлым и праздничным, где в общем деле служения науке слились профессора и студенты».

Далеко не случайно, что «золотое двадцатилетие» Костромской гимназии дало России целый букет замечательных дарований, часть из которых вошла в классику отечественной литературы:

Алексей Феофилактович Писемский – вышел из гимназии в 1840 году;

Николай Александрович Чаев – в 1842-м;

Нил Петрович Колюпанов – в 1844-м;

Александр Васильевич Иванов – в 1845-м;¹

Алексей Антипович Потехин – в 1846-м;

Сергей Васильевич Максимов – в 1850-м;

Николай Антипович Потехин – в 1852-м;

Николай Константинович Михайловский – в 1856-м.

¹ Иванов Александр Васильевич (ок.1828, Кострома – не ранее 1868), прозаик и драматург. Из дворян. Сын учителя русской словесности. Окончил Костромскую гимназию (1845) и два курса философского факультета Московского университета. Вернувшись в Кострому, преподавал русский язык в уездном училище и училище детей канцелярских служащих (1849–1851). В 1852–1853 годах служил в канцелярии губернского правления. В 1854–1855 годах – редактор неофициальной части «Костромских губернских ведомостей», где печатал свои очерки по истории и текущей жизни города и края. Благодаря знакомству с Писемским и его поддержке, входит в круг авторов столичных журналов. Первая публикация – бытовой очерк «Капустница» (Москвитянин. 1852. № 23). Повести «Великан» (Библиотека для чтения. 1859. Т. 157) и «Барышня» (Библиотека для чтения. 1860. Т. 160), пьесы «Заговенье» (Русский вестник. 1857. Дек. Кн. 2) и «Труженик из канцелярских служащих» (Атеней. 1858. № 50) рисуют быт мелких провинциальных чиновников, их бедность, бесправие, пьянство. Цикл сатирических очерков «Артисты» (Искра. 1859. № 9, 16, 35; 1860. № 2, 15; 1861. № 10, 12, 25) о злоупотреблениях и произволе губернской полиции. Пьеса «Самосторатели» (Библиотека для чтения. 1854. Авг.), в которой богатая вдова, крестьянка и злая раскольница губит своего сына, принадлежащего к официальной церкви, а потом убивает и второго сына, решившего покинуть раскол. (Эта пьеса имела в библиотеке Островского.) Предположительно принадлежит Иванову комедия «Голенький ох, а за голеньким – Бог» из жизни чиновничьей бедноты, запрещённая цензурой. Жил в крайней бедности, в 1861 и 1863 годах, по ходатайству А. Ф. Писемского и П. В. Анненкова, получал пособия лит. фонда. Попытка его в 1867 году добиться разрешения на издание газеты «Костромская речь» не удалась. По словам Н. П. Колюпанова, в конце жизни он спился и погиб в самом отвратительном обществе.

О г л а в л е н и е

Предисловие	3
Алексей Феофилактович ПИСЕМСКИЙ	7
Юлия Валериановна ЖАДОВСКАЯ	46
Николай Александрович ЧАЕВ	94
Алексей Антипович ПОТЕХИН	112
Сергей Васильевич МАКСИМОВ	162
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ КОСТРОМСКОГО КРАЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА	
Мария Ивановна Готовцева	243
Василий Арсентьевич Дементьев	243
Павел Валерианович Жадовский	244
Николай Антипович Потехин	245
Алексей Алексеевич Луговой (Тихонов)	247
РУССКИЕ КРИТИКИ, СВЯЗАННЫЕ С КОСТРОМСКИМ КРАЕМ	
Варфоломей Александрович Зайцев	250
Николай Николаевич Страхов	253
Николай Константинович Михайловский	259
Михаил Алексеевич Протопопов	273
Заключение	282
Приложение. Из истории Костромской гимназии	285

Учебное издание

Лебедев Юрий Владимирович,
Романова Алена Николаевна

ЛИТЕРАТУРА
КОСТРОМСКОГО КРАЯ
Вторая половина XIX века

Учебное пособие

Редактор и корректор *Н. А. Невская*
Компьютерная верстка *И. М. Ивановой*

Подписано в печать 12.04.2018

Формат 60×90/16

Усл. печ. л. 19,0

Тираж 50 экз.

Заказ № 91

Издательско-полиграфический отдел
Костромского государственного университета
156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17.
Тел.: 49-80-84. E-mail: rio@kstu.edu.ru

